

Об авторе

Австралийский писатель Маркус Зузак родился в 1975 году и вырос на рассказах родителей — эмигрантов из Австрии и Германии, переживших ужасы Второй мировой войны. Австралийские и американские критики называют его «литературным феноменом» неспроста: он признан одним из самых изобретательных и поэтичных романистов нового века. Маркус Зузак — лауреат нескольких литературных премий за книги для подростков и юношества. Живет в Сиднее.

Веб-сайт автора: www.markuszusak.com

Мировая пресса о романе «Книжный вор»

«Книжного вора» будут превозносить за дерзость автора... Книгу будут читать повсюду и восхищаться, поскольку в ней рассказывается история, в которой книги становятся сокровищами. А с этим не поспоришь.

New York Times

«Книжный вор» берedit душу. Это несентиментальная книга, но глубоко поэтичная. Ее мрачность и сама трагедия пропускаются сквозь читателя, будто черно-белое кино, из которого украдены краски. Зузаку, быть может, и не довелось жить под пятой фашизма, но его роман заслуживает места на полке рядом с «Дневником Анны Франк» и «Ночью» Эли Визеля. Похоже, роман неизбежно станет классикой.

USA Today

Зузак ничего не подслащивает, но ощутимую мрачность его романа можно вынести так же, как «Бойню номер 5» Курта Воннегута — здесь тоже как-то сурово утешает чувство юмора.

Time Magazine

Элегантная, философская и трогательная книга. Прекрасная и очень важная.

Kirkus Reviews

Этот увесистый том — немалое литературное достижение. «Книжный вор» бросает вызов всем нам.

Publisher's Weekly

Роман Зузака — туго натянутый трос канатоходца, сплетенный из эмоциональной пластичности и изобретательности.

The Australian

Триумф писательской дисциплины... один из самых необычных и убедительных австралийских романов нового времени.

The Age

Стремительная, поэтичная и великолепно написанная сказка.

Daily Telegraph

Литературная жемчужина.

Good Reading

Блистательная причудливая сказка. Превосходная книга, которую вы будете

рекомендовать всем, кого встретите.

Herald-Sun

Блестяще и амбициозно... Такие книги способны изменить жизнь, потому что, не отрицая внутренне присущей аморальности и случайности естественного порядка вещей, «Книжный вор» предлагает нам с таким трудом завоеванную надежду. А она непобедима даже в нищете, войне и насилии. Юным читателям нужны такие альтернативы идеологическим догматам и такие открытия важности слов и книг. Да и взрослым они не помешают.

The New York Times Review of Books

Одна из самых долгожданных книг последних лет.

The Wall Street Journal

Эта книга действует на читателя, как графический роман.

The Philadelphia Inquirer

Изумительно написанная и населенная запоминающимися героями, книга Зузака — пронзительная дань словам, книгам и силе человеческого духа. Этот роман можно не только читать — в нем стоит поселиться.

The Horn Book Magazine

Маркус Зузак создал произведение, заслуживающее самого пристального внимания не только изодранных подростков, но и взрослых, — гипнотическую и оригинальную историю, написанную поэтическим языком, который заставляет читателей упиваться каждой строкой, даже если действие неумолимо тащит их вперед. Необычайное повествование.

School Library Journal

Подростков толщина книги, ее темы и подход автора могут, пожалуй, отпугнуть, но книга несомненно увлекает своим вдохновенным повествованием.

The Washington Post's Book World

Эта история разобьет сердце как подросткам, так и взрослым.

Bookmarks Magazine

Потрясающие людские характеры, выписанные без лишней сентиментальности, хватают читателя за душу.

Booklist

Маркус Зузак Книжный вор

Элизабет и Хельмуту Зузакам с любовью и восхищением

ПРОЛОГ
ГОРНЫЙ ХРЕБЕТ ИЗ БИТОГО КАМНЯ
где наш рассказчик представляет:
себя — краски — и книжную воришку

СМЕРТЬ И ШОКОЛАД

Сначала краски.

Потом люди.
Так я обычно вижу мир.
Или, по крайней мере, пытаюсь.

*** * * ВОТ МАЛЕНЬКИЙ ФАКТ * * ***
Когда-нибудь вы умрете.

Ни капли не кривлю душой: я стараюсь подходить к этой теме легко, хотя большинство людей отказывается мне верить, сколько бы я ни возмущался. Прошу вас, поверьте. Я еще *как* умею быть легким. Умею быть дружелюбным. Доброжелательным. Душевным. И это на одну букву Д. Вот только не просите меня быть милым. Это не ко мне.

*** * * РЕАКЦИЯ НА ВЫШЕПРИВЕДЕННЫЙ ФАКТ * * ***
Это вас беспокоит?
Призываю вас — не бойтесь.
Я всего лишь справедлив.

Ах да, представиться.
Для начала.
Где мои манеры?

Я мог бы представиться по всем правилам, но ведь в этом нет никакой необходимости. Вы узнаете меня вполне близко и довольно скоро — при всем разнообразии вариантов. Достаточно сказать, что в какой-то день и час я со всем радушием встану над вами. На руках у меня будет ваша душа. На плече у меня будет сидеть какая-нибудь краска. Я осторожно понесу вас прочь.

В эту минуту вы будете где-то лежать (я редко застаю человека на ногах). Тело застынет на вас коркой. Возможно, это случится неожиданно, в воздухе разбрызгается крик. А после этого я услышу только одно — собственное дыхание и звук запаха, звук моих шагов.

Вопрос в том, какими красками будет все раскрашено в ту минуту, когда я приду за вами. О чем будет говорить небо?

Лично я люблю шоколадное. Небо цвета темного, темного шоколада. Говорят, этот цвет мне к лицу. Впрочем, я стараюсь наслаждаться всеми красками, которые вижу, — всем спектром. Миллиард вкусов или около того, и нет двух одинаковых — и небо, которое я медленно впитываю. Все это сглаживает острые края моего бремени. Помогает расслабиться.

*** * * НЕБОЛЬШАЯ ТЕОРИЯ * * ***

Люди замечают краски дня только при его рождении и угасании, но я отчетливо вижу, что всякий день с каждой проходящей секундой протекает сквозь мириады оттенков и интонаций.

Единственный *час* может состоять из тысяч разных красок.

Восковатые желтые, синие с облачными плевками.

Грязные сумраки. У меня такая работа, что я взял за правило их замечать.

На это я и намекаю: меня выручает одно умение — отвлекаться. Это спасает мой разум. И помогает управляться — учитывая, сколь долго я исполняю эту работу. Сможет ли хоть кто-нибудь меня заменить — вот в чем вопрос. Кто займет мое место, пока я провожу отпуск в каком-нибудь из ваших стандартных курортных мест, будь оно пляжной или горнолыжной разновидности? Ответ ясен — никто, и это подвигло меня к сознательному и добровольному решению: отпуском мне будут отвлечения. Нечего и говорить, что это отпуск по кусочкам. Отпуск в красках.

И все равно не исключено, что кто-то из вас может спросить: зачем ему вообще нужен отпуск? *От чего* ему нужно отвлекаться?

Это будет второй мой пункт.

Оставшиеся люди.

Выжившие.

Это на них я не могу смотреть, хотя во многих случаях все-таки не удерживаюсь. Я намеренно высматриваю краски, чтобы отвлечь мысли от живых, но время от времени приходится замечать тех, кто остается, — раздавленных, повергнутых среди осколков головоломки осознания, отчаяния и удивления. У них проколоты сердца. Отбиты легкие.

Это, в свою очередь, подводит меня к тому, о чем я вам расскажу нынче вечером — или днем, или каков бы ни был час и цвет. Это будет история об одном из таких вечно остающихся — о знатоке выживания.

Недлинная история, в которой, среди прочего, говорится:

— об одной девочке;

— о разных словах;

— об аккордеонисте;

— о разных фанатичных немцах;

— о еврейском драчуне;

— и о множестве краж.

С книжной воришкой я встречался три раза.

У ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Сначала возникло что-то белое. Слепящей разновидности.

Некоторые из вас наверняка верят во всякую тухлую дребедень: например, что белый — толком и не цвет никакой. Так вот, я пришел, чтобы сказать вам, что белый — это цвет. Без всяких сомнений цвет, и лично мне кажется, что спорить со мной вы не захотите.

*** * * ОБНАДЕЖИВАЮЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ * * ***

Пожалуйста, не волнуйтесь, пусть я вам только что пригрозил.

Все это хвастовство — я не свирепый.

Я не злой.

Я — итог.

Да, все белое.

Мне показалось, что весь земной шар оделся в снег. Натянул его на себя, как натягивают свитер. У железнодорожного полотна — следы ног, утонувших по щиколотку. Деревья под ледяными одеялами.

Как вы могли догадаться, кто-то умер.

И его не могли просто взять и оставить на земле. Пока это еще не такая беда, но скоро путь впереди восстановят, и поезду нужно будет ехать дальше.

Там было двое кондукторов.

И мать с дочерью.

Один труп.

Мать, дочь и труп — упрямы и безмолвны.

— Ну чего ты еще от меня хочешь?

Один кондуктор был высокий, другой — низкий. Высокий всегда заговаривал первым, хоть и не был начальником. Теперь он посмотрел на низкого и кругленького второго. У того было мясистое красное лицо.

— Ну, — ответил он, — мы не можем их просто здесь бросить, правильно?

Терпение высокого кончалось.

— Почему нет?

Низкий разозлился как черт. Он уперся взглядом в подбородок высокого:

— Spinnst du? Ты дурной?

Омерзение сгущалось на его щеках. Кожа натянулась.

— Пошли, — сказал он, оступившись в снегу. — Отнесем обратно в вагон всех троих, если придется. Сообщим на следующую станцию.

А я уже совершил самую элементарную ошибку. Не могу передать вам всю степень моего недовольства собой. Сначала я все делал правильно:

Изучил слепящее снежно-белое небо — оно стояло у окна движущегося вагона. Я прямо-таки *вдыхал* его, но все равно дал слабину. Я дрогнул — мне стало интересно. Девочка. Любопытство взяло верх, и я разрешил себе задержаться, насколько позволит мое расписание, — и понаблюдать.

Через двадцать три минуты, когда поезд остановился, я вылез из вагона за ними.

У меня на руках лежала маленькая душа.

Я стоял чуть справа от них.

Энергичный дуэт кондукторов направился обратно к матери, девочке и трупiku мужского пола. Точно помню, в тот день дышал я шумно. Удивляюсь, как кондукторы меня не услышали. Мир уже провисал под тяжестью всего этого снега.

Метрах в десяти слева от меня стояла и мерзла бледная девочка с пустым животом.

У нее дрожали губы.

Она сложила на груди озябшие руки.

А на лице книжной воришки замерзли слезы.

ЗАТМЕНИЕ

Следующий — черный закорючки, чтобы показать, если угодно, полюса моей многогранности. Был самый мрачный миг перед рассветом.

В этот раз я пришел за мужчиной лет двадцати четырех от роду. В каком-то смысле это было прекрасно. Самолет еще кашлял. Из обоих его легких сочился дым.

Разбиваясь, он взрезал землю тремя глубокими бороздами. Крылья были теперь словно отпиленные руки. Больше не взмахнут. Эта маленькая железная птица больше не полетит.

* * * ЕЩЕ НЕКОТОРЫЕ ФАКТЫ * * *

Иногда я прихожу раньше времени.

Я тороплюсь, а иные люди цепляются за жизнь дольше, чем ожидается.

Совсем немного минут — и дым иссяк. Больше нечего отдавать.

Первым явился мальчик: сбивчивое дыхание, в руке — вроде бы чемоданчик с инструментами. Ужасно волнуясь, подошел к кабине и взгляделся в летчика — жив ли; тот еще был жив. Книжная воришка прибежала где-то через полминуты.

Прошли годы, но я узнал ее.

Она тяжело дышала.

* * *

Мальчик вынул из чемоданчика — что бы вы думали? — плюшевого мишку.

Просунув руку сквозь разбитое стекло, он положил мишку летчику на грудь. Улыбающийся медведь сидел, нахохлившись, в куче обломков человека и луже крови. Еще через несколько минут рискнул и я. Время пришло.

Я подошел, высвободил душу и бережно вынес из самолета.

Осталось лишь тело, тающий запах дыма и плюшевый медведь с улыбкой.

Когда собралась толпа, все, конечно, изменилось. Горизонт начал угольно сереть. От черноты вверху остались одни каракули — и те быстро исчезали.

Человек в сравнении с небом стал цвета кости. Кожа скелетного оттенка. Мягкий комбинезон. Глаза у него были холодные и бурые, как пятна кофе, а наверху последняя загогулина превратилась во что-то для меня странное, однако узнаваемое. В закорючку.

Толпа занималась тем, чем занимается толпа.

Пока я пробирался в ней, каждый, кто стоял там, как-то подыгрывал этой тишине. Легкое сгущение несвязных движений рук, приглушенных фраз, безмолвных беспокойных оглядок.

Когда я обернулся на самолет, мне показалось, что летчик улыбается открытым ртом.

Грязная шутка под занавес.

Еще одна человеческая острота.

Человек лежал в пеленах комбинезона, а сереющий свет мерялся силой с небом. И как бывало уже много раз, стоило мне двинуться прочь, быстрая тень словно бы набежала опять — последний миг затмения, признание того, что еще одна душа отлетела.

Знаете, в какой-то миг, несмотря на краски, что ложатся и цепляются на все, что я вижу в мире, я часто ловлю затмение, когда умирает человек.

Я видел миллионы затмений.

Я видел их столько, что лучше уж и не помнить.

ФЛАГ

Последний раз, когда я видел ее, был красным. Небо напоминало похлебку, размешанную и кипящую. В некоторых местах оно пригорело. В красноте мелькали черные крошки и катышки перца.

Раньше дети играли тут в классики — на улице, похожей на страницы в жирных пятнах. Когда я прибыл, еще слышалось эхо. По мостовой топали ноги. Смеялись детские голоса, присоленные улыбками, но разлагались быстро.

И вот — бомбы.

В этот раз все опоздало.

Сирены. Кукушка визжит по радио. Все опоздало.

За какие-то минуты выросли и взгромоздились холмы из бетона и земли. Улицы стали разорванными венами. Кровь бежала по дороге, пока не высыхала, а в ней увязали тела, как бревна после наводнения.

Приклеенные к земле, все до единого. Целая уйма душ.

Судьба ли это?

Невезение?

Оттого ли они все так приклеивались?

Конечно, нет.

Не глумитесь.

Наверное, дело, скорее, было в ударах бомб — их сбрасывали те люди, что прятались в облаках.

Да, небо теперь было опустошительной необъятно-красной домашней стряпней. Немецкий городок опять разметали на куски. Снежинки пепла кружили с такой *прелестностью*, что подмывало их ловить высунутым языком, пробовать на вкус. Но эти снежинки опалили бы губы. Сварили бы сам рот.

Так и стоит перед глазами.

Я уже собирался двинуться прочь, когда увидел ее на коленях.

Вокруг был написан, оформлен и возведен горный хребет из битого камня. Она цеплялась за книжку.

Помимо остального, книжной воришке отчаянно хотелось обратно в подвал — писать или перечитать свою историю еще раз, последний. Вспоминая, я так отчетливо вижу это на ее лице. Ей до смерти туда хотелось — там надежно, там дом, — но она не могла пошевелиться. А еще и подвала-то больше не было. Он слился с искалеченным пейзажем.

И снова прошу вас — пожалуйста, поверьте.

Я хотел задержаться. Наклониться.

Я хотел сказать:

«Прости, малышка».

Но такое не позволено.

Я не наклонился. Не заговорил.

Я просто еще немного поглядел на нее. И когда она смогла двинуться с места, пошел за нею.

Она уронила книгу.

Упала на колени.

Книжная воришка завывала.

Когда началась расчистка, на ее книгу несколько раз наступили, и хотя команда была расчищать только бетонную кашу, самую драгоценную вещь девочки закинули в грузовик с мусором, и тут я не удержался. Залез в кузов и взял ее в руки, вовсе не догадываясь, что оставлю ее себе и буду смотреть на нее много тысяч раз за все эти годы. Буду рассматривать места, где мы пересекаемся, изумляться тому, что видела эта девочка и как она выжила. Лучше я сделать все равно ничего не смогу — тут можно лишь смотреть, как все встраивается в общую картину того, что я тогда видел.

Когда я ее вспоминаю, то вижу длинный список красок, но сильнее всего отзываются те три, в которых я видел ее во плоти. Бывает, мне удается воспарить высоко над теми тремя мгновениями. Я зависаю на месте, а гниlostная истина кровит, пока не приходит ясность.

Вот тогда я и вижу, как они встают в формулу.

Они накладываются друг на друга. Черная небрежной закорючки на белую слепящего земного шара и на густую похлебочную красную.

Да, часто я вынужден вспоминать ее, и в одном из бесчисленных своих карманов я носил ее историю — чтобы пересказать. Это одна из небольшого множества историй, которые я ношу с собой, и каждая сама по себе исключительна. Каждая — попытка, да еще какая попытка — доказать мне, что вы и ваше человеческое существование чего-то стоите.

Вот эта история. Одна из горсти.

Книжная воришка.

Если есть настроение, пошли со мной. Я расскажу вам ее.

Я кое-что вам покажу.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ «НАСТАВЛЕНИЕ МОГИЛЬЩИКУ»

**с участием:
химмель-штрассе — искусства свинюшества — женщины с утюжным кулаком — попытки поцелуя — джесси оуэнза — наждачки — запаха дружбы — чемпиона в тяжелом весе — и всем трепкам трепки**

ПРИБЫТИЕ НА ХИММЕЛЬ-ШТРАССЕ

Последний раз.
То красное небо...
Отчего вышло так, что книжная воришка стояла на коленях и выла рядом с рукотворной грудой нелепого, засаленного, кем-то состряпанного битого камня?
Много лет назад началось снегом.
Пробил час. Для кого-то.

*** * * ВПЕЧАТЛЯЮЩЕ ТРАГИЧЕСКИЙ МИГ * * ***

**Поезд шел быстро.
Он был набит людьми.
В третьем вагоне умер шестилетний мальчик.**

Книжная воришка и ее брат ехали в Мюнхен, где их скоро должны передать приемным родителям. Теперь мы, конечно, знаем, что мальчик не доехал.

*** * * КАК ЭТО СЛУЧИЛОСЬ * * ***

**Внезапный порыв сильного кашля.
Почти *вдохновенный* порыв.
А за ним — ничего.**

Когда прекратился кашель, не осталось ничего, кроме ничтожества жизни, что, шаркая, скользнула прочь, или почти беззвучной судороги. Тогда внезапность пробралась к его губам — они были ржаво-бурого цвета и шелушились, как старая покраска. Нужно срочно перекрашивать.

Их мать спала.
Я вошел в поезд.
Мои ноги ступили в загроможденный проход, и в один миг моя ладонь легла на губы мальчика.
Никто не заметил.
Поезд неся вперед.
Кроме девочки.

Одним глазом глядя, а другим еще видя сон, книжная воришка — она же Лизель Мемингер — без вопросов поняла, что младший брат Вернер лежит на боку и мертвый.
Его синие глаза смотрели в пол.
И не видели ничего.

Перед пробуждением книжная воришка видела сон о фюрере — Адольфе Гитлере. Во сне она была на митинге, где выступал фюрер, смотрела на его пробор цвета черепа и на идеальный квадратик усов. И с удовольствием слушала бурный поток слов, изливавшийся из его рта. Его фразы сияли на свету. В спокойный момент фюрер взял и наклонился — и улыбнулся ей. Она ответила ему улыбкой и сказала: «Guten Tag, Herr Führer. Wie geht's dir heut?» Она так и не научилась красиво говорить, и даже читать, потому что в школу она ходила редко. Причину этому она узнает в свое время.

И едва фюрер собрался ответить, она проснулась.

Шел январь 1939 года. Ей было девять лет, скоро исполнится десять.
У нее умер брат.

Один глаз открыт.

Один еще во сне.

Наверное, лучше бы она совсем спала, но на такое я, по правде, влиять не могу.

Сон слетел со второго глаза, и она меня застигла, тут нет сомнений. Как раз когда я встал на колени, вынул душу мальчика и она обмякла в моих распухших руках. Дух мальчика быстро согрелся, но в тот миг, когда я подобрал его, он был вялым и холодным, как мороженое. Начал таять у меня на руках. А потом стал согреваться и согрелся. И выздоровел.

А у Лизель Мемингер остались только запертая скованность движений и пьяный наскок мыслей. *Es stimmt nicht.* Это не на самом деле. Это не на самом деле.

И встряхнуть.

Почему они всегда их трясут?

Да, знаю, знаю — я допускаю, что это как-то связано с инстинктами. Запрудить течение истины. Сердце девочки в ту минуту было скользким и горячим, и громким, таким громким, громким.

Я сглупил — задержался. Посмотреть.

И теперь мать.

Лизель разбудила ее такой же очумелой тряской.

Если вам трудно представить это, вообразите неловкое молчание. Вообразите отчаяние, плывущее кусками и ошметками. Это как тонуть в поезде.

Стойко сыпал снег, и мюнхенский поезд остановили из-за работ на поврежденном пути. В поезде выла женщина. Рядом с ней в оцепенении застыла девочка.

В панике мать распахнула дверь.

Держа на руках трупик, она выбралась на снег.

Что оставалось девочке? Только идти следом.

Как вам уже сообщили, из поезда вышли и два кондуктора. Они решали, что делать, и спорили. Положение неприятное, чтобы не сказать больше. Наконец постановили, что всех троих нужно довести до следующей станции и там оставить, пусть сами разбираются.

Теперь поезд хромал по заснеженной местности.

Вот он оступился и замер.

Они вышли на перрон, тело — на руках у матери.

Встали.

Мальчик начал тяжелеть.

Лизель не имела понятия, где оказалась. Кругом все бело, и пока они ждали, ей оставалось только разглядывать выцветшие буквы на табличке. Для Лизель станция была безмянной, здесь-то через два дня и похоронили ее брата Вернера. Присутствовали священник и два закоченевших могильщика.

*** * * НАБЛЮДЕНИЕ * * ***

Пара кондукторов.

Пара могильщиков.

Когда доходило до дела, один отдавал приказы.

Другой делал, что ему говорили.

И вот в чем вопрос: что если *другой* — гораздо больше, чем один?

Промахи, промахи — иногда я, кажется, только на них и способен.

Два дня я занимался своими делами. Как всегда, мотался по всему земному шару, поднося души на конвейер вечности. Видел, как они безвольно катятся прочь. Несколько раз я предостерегал себя: нужно держаться подальше от похорон брата Лизель Мемингер. Но не внял своему совету.

Приближаясь, я еще издали разглядел кучку людей, стило торчавших посреди снежной пустыни. Кладбище приветствовало меня как старого друга, и скоро я уже был с ними. Стоял, склонив голову.

Слева от Лизель два могильщика терли руки и ныли про снег и неудобства рытья в такую погоду.

— Такая тяжесть врубаться в эту мерзлоту... — И так далее.

Одному было никак не больше четырнадцати. Подмастерье. Когда он уходил, из кармана его тужурки невинно выпала какая-то черная книжка, а он не заметил. Успел отойти, может, шагов на двадцать.

Еще несколько минут, и мать пошла оттуда со священником. Она благодарила его за службу.

Девочка же осталась.

Земля подалась под коленями. Настал ее час.

Все еще не веря, она принялась копать. Не может быть, что он умер. Не может быть, что он умер. Не может...

Почти сразу же снег вгрызся в ее кожу.

Замерзшая кровь трескалась у нее на руках.

Где-то среди всего снега Лизель видела свое разорванное сердце, две его половинки. Каждая рдела и билась в этой белизне. Лишь ощутив на плече костлявую руку, девочка поняла, что за ней вернулась мать. Девочку оттаскивали куда-то волоком. Теплый вопль наполнил ее горло.

*** * * КАРТИНКА, МЕТРАХ В ДВАДЦАТИ * * ***

Волок завершился, мать и дочь остановились отдышаться.

В снегу торчал какой-то черный прямоугольник.

Его увидела только девочка.

Нагнулась и подняла его и крепко зажала в пальцах.

На книге были серебряные буквы.

Они держались за руки.

Отпустили последнее, насквозь вымокшее «прости», повернулись и ушли с кладбища, еще несколько раз оглянувшись.

Я же задержался еще на несколько секунд.

И помахал.

Никто не махнул мне в ответ.

Мать и дочь покинули кладбище и отправились к следующему мюнхенскому поезду.

Обе худые и бледные.

У обеих на губах язвы.

Лизель заметила это в грязном запотевшем стекле вагона, когда незадолго до полудня они сели в поезд. По словам, написанным самой книжной воришкой, путешествие продолжалось, будто *все* уже произошло.

Поезд прибыл на Мюнхенский вокзал, и пассажиры заскользили наружу, будто из порванного пакета. Там были люди всех сословий, но бедные узнавались быстрее прочих. Обездоленные стараются всегда быть в движении, словно перемена мест может чем-то

помочь. Не понимают, что в конце пути их будет ждать старая беда в новом обличье — родственник, целовать которого претит.

Полагаю, мать вполне это сознавала. Своих детей она везла не в высшие слои мюнхенского общества, но, видимо, приемную семью уже нашли, и новые родители, по крайней мере, могли хотя бы кормить девочку и мальчика получше и нормально выучить.

Мальчика.

Лизель не сомневалась, что память о нем мать несет, взвалив на плечи. Вот она его уронила. Его ступни, ноги, тело шлепнулись на платформу.

Как эта женщина могла ходить?

Как вообще могла двигаться?

Мне этого никогда не узнать и не понять до конца: на что способны люди.

Мать подняла его и пошла дальше, а девочка съежилась у нее под боком.

* * *

Состоялась встреча с чиновниками, свои ранимые головы подняли вопросы об опоздании и о мальчике. Лизель выглядывала из угла тесного пыльного кабинета, а мать ее, сцепив мысли, сидела на самом жестком стуле.

Потом — суматоха прощания.

Прощание вышло слюнявым, девочка зарывалась головой в шерстяные изношенные плёсы маминого пальто. И опять куда-то волоком.

Далеко за окраиной Мюнхена был городок под названием *Molching* — таким, как мы с вами, правильнее всего произносить его как *Молькинг*. Туда и повезли девочку — на улицу под названием Химмель-штрассе.

* * * ПЕРЕВОД * * *

Himmel = Небеса

Кто бы ни придумал это название, у него имелось здоровое чувство юмора. Не то чтобы там была суцая преисподняя. Нет. Но и никак не рай.

Как бы там ни было, Лизель ждали новые родители.

Хуберманы.

Они ожидали девочку и мальчика, и на этих детей им должны были выделить небольшое пособие. Никто не хотел оказаться тем вестником, которому придется сообщить Розе Хуберман, что мальчик поездки не пережил. Сказать по правде, Розе никто вообще ничего не хотел говорить. В том, что касается характеров, Розе достался не самый ангельский, хотя у нее имелись успехи в воспитании приемных детей. Нескольких она явно перевоспитала.

Для Лизель это была поездка на машине.

Прежде на машине она не ездила ни разу.

Желудок ее непрерывно подскакивал и проваливался, к тому же трепетала тщетная надежда, что они заблудятся или передумают. А помимо прочего она не могла не возвращаться мыслями к матери, которая осталась на вокзале, собираясь уехать снова. Дрожит. Кутается в свое бесполезное пальто. Дожидаясь поезда, она будет грызть ногти. Перрон длинный и неудобный — ломоть холодного цемента. Будет ли она высматривать на обратном пути в том районе место, где похоронен ее сын? Или навалится слишком крепкий сон?

Машина катила дальше, и Лизель в ней с ужасом ждала последнего, смертельного поворота.

День стоял серый — цвета Европы.

Вокруг машины задвинули шторы дождя.

— Почти приехали. — Фрау Генрих, дама из государственной опеки, обернулась к девочке и улыбнулась. — Dein neues Heim. Твой новый дом.

Лизель протерла кружок на слезящемся окне и выглянула.

*** * * ФОТОСНИМОК ХИММЕЛЬ-ШТРАССЕ * * ***

Дома будто склеены между собой, большей частью крохотные коттеджи и длинные жилые блоки — эти, похоже, нервничают.

Замусоленный снег стелется ковром.

Бетон, голые деревья — вешалки для шляп — и серый воздух.

С ними ехал еще один мужчина. Он остался с девочкой, когда фрау Генрих скрылась в доме. Ни разу не заговорил. Лизель решила: его приставили, чтоб она не сбежала или чтобы затащить ее внутрь, если она вдруг заупрямится. Но при этом, когда позже она таки заупрямилась, мужчина просто сидел и смотрел. Может, был крайним средством, окончательным решением.

Через несколько минут вышел очень высокий человек. Ганс Хуберман, приемный отец Лизель. Рядом с одной стороны шла фрау Генрих, среднего роста. С другой виделся приземистый силуэт Розы Хуберман, которая напоминала комод в наброшенном сверху пальто. На ходу она заметно переваливалась. Почти симпатично, когда б не лицо — будто из мягкого картона и раздосадованное, словно Роза с трудом выносила происходящее. Ее муж шел прямо, с сигаретой, тлеющей между пальцев. Курил он самокрутки.

А дело вот в чем:

Лизель не желала выходить из машины.

— Was ist los mit dem Kind? — осведомилась Роза Хуберман. Затем повторила: — Что такое с ребенком? — Сунулась в машину лицом и сказала: — Na, komm. Komm.

Переднее сиденье сложили. Коридор холодного света приглашал девочку выйти. Двигаться она не собиралась.

Снаружи сквозь протертый кружок Лизель видела пальцы высокого мужчины — они все еще держали самокрутку. С кончика оступился пепел, несколько раз взлетел и нырнул, пока не рассыпался на земле. Только минут через пятнадцать смогли выманить Лизель из машины. Это сделал высокий человек.

Спокойно.

Потом была калитка, за которую она уцепилась.

Она держалась за столбик и отказывалась войти, а слезы стойкой тащились у нее из глаз. На улице начали собираться люди, пока Роза Хуберман не обругала их и они не убрались восвояси.

*** * * ПЕРЕВОД ЗАЯВЛЕНИЯ РОЗЫ ХУБЕРМАН * * ***

— Чего вылупились, засранцы?

В конце концов Лизель Мемингер робко вошла в дом. За одну руку ее держал Ганс Хуберман. За другую — ее маленький чемодан. В этом чемодане под сложенным слоем одежды лежала маленькая черная книга, которую, как можно предположить, четырнадцатилетний могильщик из безымянного городка, наверное, разыскивал последние несколько часов. Представляю, как он говорит своему начальнику: «Клянусь, понятия не имею, куда она делась. Я везде искал. *Везде!*» Уверен, он никогда бы не заподозрил эту девочку, однако вот она — черная книга с серебряными словами, выведенными под самым потолком девочкиной одежды.

*** * * НАСТАВЛЕНИЕ МОГИЛЬЩИКУ * * ***

**Двенадцатишаговое руководство по успешному рытью могил.
Издано Баварской ассоциацией кладбищ**

Первая добыча книжной воришки — начало впечатляющей карьеры.

ПРЕВРАЩЕНИЕ В СВИНЮХУ

Да, впечатляющая карьера.

Впрочем, спешу признать, что между первой и второй украденной книгой был немалый разрыв. Еще одно следует упомянуть — первая книга украдена у снега, вторая — у огня. И не умолчим о том, что некоторые книги ей дарили. Всего у нее было четырнадцать книг, но своей историей она считала главным образом десять. Из этих десяти шесть было краденых, одна возникла на кухонном столе, две сделал для нее потайной еврей, одну принес тихий, одетый в желтое вечер.

Решив записать свою историю, она задалась вопросом, в какой момент книги и слова стали не просто что-то значить, а значить все. Не в тот ли миг, когда она впервые увидела комнату, где книг были полки за полками? Или когда на Химмель-штрассе появился Макс Ванденбург и принес в горстях многие беды и «Майн кампф» Гитлера? Или виновато чтение в бомбоубежищах? Последняя прогулка в Дахау? Или «Отрясательница слов»? Может, точного ответа, где и когда это началось, так и не будет. Во всяком случае, я не стану забегать вперед. Прежде чем мы доберемся до какого-нибудь ответа, нам нужно приобщиться к первым дням Лизель Мемингер на Химмель-штрассе и к искусству свинюшества.

Когда она появилась, с ее ладоней еще не сошли снежные укусы, а с пальцев — кровавый иней. Все в ней было какое-то недокормленное. Проволочные ножки. Руки как вешалки. На улыбку она была не скоро, но если та все же появлялась, была заморенная.

Волосы у нее были сорта довольно близкого к немецкому белокурому, а вот глаза — довольно опасные. Темно-карие. В те времена в Германии мало кто хотел бы иметь карие глаза. Может, они достались Лизель от отца, но знать наверное она не могла, ведь отца Лизель не помнила. Об отце она хорошо помнила только одно. Ярлык, которого не могла понять.

*** * * СТРАННОЕ СЛОВО * * ***

Коммунист

Она не раз слышала его за последние несколько лет.

«Коммунист».

Пансионы, набитые людьми, комнаты, полные вопросов. И это слово. Это странное слово всегда было где-то поблизости, стояло в углу, глядело из сумрака. Носило пиджаки, мундиры. Куда бы ни поехали они с матерью, слово оказывалось там, едва разговор заходил об отце. Девочка чуяла его и знала его вкус. Не могла только разобрать по буквам или понять. А когда спросила у матери, что оно значит, та ответила, что это неважно, ни к чему ломать голову над такими вещами. В одном пансионе была женщина здоровее прочих, она пробовала учить детей писать, чертя углем на стене. Лизель так и подмывало спросить ее, что значит слово, но до этого так и не дошло. Ту женщину однажды увели на допрос. Она не вернулась.

Когда Лизель попала в Молькинг, она все-таки догадывалась, что ее спасают, но это не утешало. Если мама любит ее, зачем бросила на чужом крыльце? Зачем? Зачем?

Зачем?

И то, что ответ был ей известен — пусть на самом простом уровне, — казалось, не имело значения. Мать все время болела, а денег на поправку никогда не находилось. Это Лизель знала. Но отсюда не следовало, что она должна с этим мириться. Сколько бы ни говорили ей, что ее любят, Лизель не верила, что бросить ее — доказательство любви. Ничто не меняло того факта, что она — потерянный исхудавший ребенок, опять в каком-то чужом месте, опять с чужими людьми. Одна.

Хуберманы жили в одном из домиков-коробок на Химмель-штрассе. Пара комнат, кухня и общая с соседями уборная во дворе. Плоская крыша и неглубокий подвал для припасов. Считалось, что подвал — не *достаточной глубины*. В 1939-м беда невелика. Позже, в 42-м и 43-м — уже проблема. Когда начались воздушные налеты, Хуберманам приходилось бежать по улице до нормального укрытия.

Поначалу самым сильным ударом была ругань. Такая *неистовая* и такая обильная. Каждое второе слово было или Saumensch, или Saukerl, или Arschloch. Для людей, незнакомых с этими словами, надо объяснить. Sau, ясное дело, означает свинью. В случае Saumensch оно служит для того, чтобы уязвить, выбранить или просто унижить женщину. Saukerl (произносится «заукэрл») — это для мужчин. Arschloch можно точно перевести словом «засранец». Но это слово не имеет половой принадлежности. Оно просто есть.

— Saumensch, du dreckiges! — орала приемная мать в тот первый вечер, когда Лизель отказалась принимать ванну. — Грязная свинья! Почему не раздеваешься?

Она здорово умела злобствовать. Вообще-то можно сказать, что лицо Розы Хуберман украшала непроходящая злоба. Именно от этого появлялись морщины в картонной ткани ее физиономии.

Лизель, разумеется, уже купалась — в тревоге. Никакими судьбами она не собиралась ни в какую ванну — да и ни в какую постель, если уж на то пошло. Она забилась в угол тесной, как чулан, умывальни, цепляясь за несуществующие ручки стен в поисках хоть какой-то опоры. Но не было ничего, кроме сухой краски, сбивчивого сопения и потока Розиной брани.

— Отстань от нее. — В потасовку вмешался Ганс Хуберман. Его мягкий голос пробрался к ним, будто протиснувшись сквозь толпу. — Дай я.

Он подошел ближе и сел на пол, привалившись к стене. Кафель был холодным и недобрым.

— Умеешь сворачивать самокрутки? — спросил он Лизель — и следующий час или около того они сидели в поднимавшемся омуте потемок, забавляясь листками папиросной бумаги и табаком, который скуривал Ганс Хуберман.

Прошел час, и Лизель уже могла довольно прилично свернуть самокрутку. Купание так и не случилось.

*** * * НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГАНСЕ ХУБЕРМАНЕ * * ***

Любит курить.

Главное удовольствие от курения для него состоит в сворачивании самокруток.

По профессии он маляр, играет на аккордеоне. Это бывает кстати, особенно зимой, когда можно кое-что заработать, играя в пивнушках Молькинга вроде «Кноллера».

На одной мировой войне он уже надул меня, но позже его отправят на вторую (такая извращенная награда), где он опять как-то сумеет со мной разминуться.

Для большинства людей Ганс Хуберман был едва заметен. Не-особенный человек. Разумеется, маляр он был отличный. Музыкальные способности — выше среднего. И все же как-то — уверен, вам встречались такие люди — он умел всегда сливаться с фоном, даже когда стоял первым в очереди. Всегда был *вон там*. Не видный. Не важный и не особенно ценный.

Как вы можете представить, самым огорчительным в такой наружности было ее полное, скажем так, несоответствие. Несомненно, в Гансе Хубермане имелась ценность, и для Лизель Мемингер это не прошло незамеченным. (Человеческое дитя иногда гораздо пронизательнее до одури занудных взрослых.) Лизель обнаружила это сразу.

Как он держался.

Это его спокойствие.

Когда Ганс Хуберман в тот вечер зажег свет в маленькой черствой умывальне, Лизель обратила внимание на странные глаза своего приемного отца. Они были сделаны из доброты и серебра. Будто бы мягкого серебра, расплавленного. Увидев эти глаза, Лизель сразу поняла, что Ганс Хуберман многого стоит.

*** * * НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О РОЗЕ ХУБЕРМАН * * ***

**В ней пять футов и один дюйм росту, она собирает каштановые с сединой пряди
упругих волос в узел.**

**В дополнение к Гансовым заработкам она стирает и гладит для пяти зажиточных семей
Молькинга.**

Готовит она ужасно.

**И обладает уникальной способностью разозлить едва ли не любого, с кем когда-либо
встречалась.**

Но она *по правде* любит Лизель Мемингер.

**Просто выбрала странный способ это показывать. Включая затрешины деревянной
ложкой и слова, чередующиеся с разной частотой.**

Когда Лизель, прожив на Химмель-штрассе две недели, наконец выкупалась, Роза стиснула ее в мощнейшем травмоопасном объятии. Едва не задушив девочку, она сказала:

— Saumensch, du dreckiges — и то, пора уж!

*** * ***

Через несколько месяцев они перестали быть господином и госпожой Хуберман. Обойдясь обычной пригоршней слов, Роза объяснила:

— Слушай-ка, Лизель, — теперь будешь называть меня Мамой! — Задумалась на миг. — Как ты звала свою настоящую мать?

Лизель тихо сказала:

— Auch Mama. Тоже мама.

— Ладно, я, значит, буду мама номер два. — Роза оглянулась на мужа. — И этого, там. — Казалось, она собирает слова в кулак, комкает их и швыряет через стол. — Этого свинуха, грязного борова — будешь звать его папой, verstehst? Поняла?

— Да, — легко согласилась Лизель. В этом доме любили быстрые ответы.

— «Да, Мама », — поправила ее Мама. — Свинюха. Называй меня Мамой, когда со мной говоришь.

В этот миг Ганс Хуберман как раз закончил сворачивать самокрутку, лизнул край бумажки и заклеил. Поглядел на Лизель и подмигнул. Его она будет звать Папой без усилий.

ЖЕНЩИНА С УТЮЖНЫМ КУЛАКОМ

Те первые месяцы были, конечно, самыми трудными.

Каждую ночь Лизель снились страшные сны.

Лицо брата.

Как он смотрит в пол вагона.

Просыпаясь, она плыла в кровати, кричала, тонула в полове простыней. Напротив у стены кровать брата, как лодка, дрейфовала в темноте. Лизель приходила в себя, и кровать

медленно тонула — видимо, в полу. И в этом видении радости было немного, и обычно крики девочки стихали не сразу.

Пожалуй, единственное благо страшных снов было в том, что в комнату Лизель тогда приходил Ганс Хуберман, новый Папа — с утешением и любовью.

Он приходил каждую ночь и сидел с нею. Первые раз-другой просто приходил — другой человек, истреблявший ее одиночество. Через несколько ночей он прошептал:

— Ш-ш, я тут, все хорошо.

Через три недели он обнял ее. Доверие росло быстро, и причиной была прежде всего грубая сила нежности этого человека, его *здесьность*. С самого начала девочка знала, что он придет с полукриком и не покинет ее.

*** * * ОПРЕДЕЛЕНИЕ, НЕ НАЙДЕННОЕ В СЛОВАРЕ * * ***

Не-покидание — проявление доверия и любви, часто распознаваемое детьми.

Ганс Хуберман, сонно щурясь, сидел на кровати, а Лизель плакала ему в майку и глубоко дышала им. Каждую ночь сразу после двух она снова засыпала под этот запах: смесь умерших сигарет, человеческой кожи и десятилетия краски. Поначалу она всасывала все это, затем вдыхала, пока не шла на дно сама. А наутро Ганс был в нескольких шагах от нее — скрючившись едва ли не пополам, спал на стуле. На вторую кровать никогда не ложился. Лизель выбиралась из постели и осторожно целовала его щеку, а он просыпался и улыбался ей.

В иные дни Папа просил ее вернуться в постель и минутку подождать, возвращался с аккордеоном и играл ей. Лизель садилась и мычала в такт, от возбуждения поджав озябшие пальцы на ногах. Прежде никто не дарил ей музыки. Она глупо сама себе ухмылялась, наблюдая, как рисуются линии на Папином лице, глядя в мягкий металл его глаз, — пока из кухни не доносилась брань:

— КОНЧАЙ ПИЛИКАТЬ, СВИНУХ!

Папа играл еще немного.

Подмигивал девочке, и она неумело подмигивала в ответ.

Несколько раз, только чтобы чуть больше позлить Маму, он приносил инструмент на кухню и играл, пока все завтракали.

Папин хлеб с джемом лежал недоеденным на тарелке, выгнувшись по форме откусов, а музыка смотрела Лизель прямо в лицо. Я знаю, это странно звучит, но так ей виделось. Папина правая рука бродила по клавишам цвета зубов. Левая тискала кнопки. (Лизель особенно нравилось, когда он нажимал серебряную, искрящую — до мажор.) Поцарапаннные, но все же блестящие черные бока аккордеона ходили туда-сюда, когда Папины руки сжимали пыльные меха, заставляя их всасывать воздух и выталкивать его обратно. В такие утра на кухне Папа давал аккордеону жизнь. По-моему, если как следует задуматься, эти слова имеют смысл.

Как мы определяем, живое ли перед нами?

Смотрим, дышит ли.

Музыка аккордеона, если разобраться, еще и провозглашала надежность. Дневной свет. Днем не мог присниться страшный сон о брате. Лизель вспоминала его и тайком часто плакала в тесной умывальне, но все равно радовалась, что не спит. В первую ночь у Хуберманов Лизель спрятала свою последнюю память о брате — «Наставление могильщику» — под матрасом и теперь доставала книгу иногда, просто подержать в руках. Разглядывая буквы на обложке и трогая текст на страницах, она и знать не знала, что все это значит. На самом деле ей было все равно, о чем эта книга. Важно было то, что она значит.

*** * * ЗНАЧЕНИЕ КНИГИ * * ***

Последний раз, когда она видела брата.

Последний раз, когда она видела мать.

Бывало, Лизель шептала слово «мама» и вспоминала лицо матери сотню раз за один день. Но это мелкие горести в сравнении с ужасом ее сновидений. Там, в необъятных просторах сна, она была, как никогда, беспросветно одинока.

Не сомневаюсь, вы уже заметили: других детей в доме не было.

Хуберманы родили двоих собственных, но те уже выросли и жили отдельно. Ганс-младший работал в центре Мюнхена, а Труды подрабатывала домработницей и няней. Вскоре они оба окажутся на войне. Одна будет лить пули. Другой — ими стрелять.

Школа, как вы можете представить, оказалась сокрушительным провалом.

Хотя она была государственной, там имелось сильное католическое влияние, а Лизель была лютеранка. Не самое благоприятное начало. Затем выяснилось, что девочка не умеет ни читать, ни писать.

К вящему унижению, ее отправили к младшим детишкам, которые только начали учить азбуку. И хотя Лизель была худенькой и бледной, она казалась себе великаншей среди карликов и не раз думала: хорошо бы стать такой бледной, чтобы вовсе исчезнуть.

Даже дома ей особо некому было помочь.

— Нечего у него спрашивать, — назидательно говорила Мама. — Этот свинух. — Папа сидел уставившись в окно — привычка такая. — Он бросил школу в четвертом классе.

Не поворачиваясь, Папа отвечал спокойно, однако с ехидством:

— Ага, и ее тоже не спрашивай! — Он стряхивал пепел за окно. — Она бросила школу в *третьем*.

Книг в доме не водилось (кроме той, спрятанной у Лизель под матрасом), и Лизель только и могла, что бормотать азбуку про себя, пока в недвусмысленных выражениях ей не прикажут умолкнуть. Весь этот бубнеж. Но домашние занятия чтением начались потом, уже после кошмара обмоченной постели. Неофициально это звалось полуночными уроками, хотя обычно начинались они в два часа пополуночи. Об этом дальше.

В середине февраля, когда Лизель исполнилось десять, ей подарили старую куклу без одной ноги и с желтыми волосами.

— Все, что мы смогли, — виновато сказал Папа.

— Что ты мелешь? Да ей за счастье и *это* получить, — вразумила его Мама.

Ганс разглядывал уцелевшую кукольную ногу, а Лизель пока примеряла новую форму. Десять лет означало «Гитлерюгенд». «Гитлерюгенд» означал детскую коричневую форму. Лизель как девочку записали во что-то под названием БДМ.

*** * * РАСШИФРОВКА СОКРАЩЕНИЯ * * ***

Оно означает Bund Deutscher Mädchen — Союз немецких девушек.

Первым делом там заботились, чтобы ты как следует исполняла «Хайль Гитлер». Затем учили стройно маршировать, накладывать повязки и зашивать одежду. Кроме того водили в походы и на другие такие же занятия. Среда и суббота были установленные дни сборов — с трех до пяти.

Каждую среду и субботу Папа провожал Лизель в штаб БДМ, а через два часа забирал. Об этом они почти не разговаривали. Просто шли, взявшись за руки, и слушали свои шаги, и Папа выкуривал самокрутку-другую.

Только одно тревожило Лизель в Папе — он часто уходил. Нередко вечером он заходил в гостиную (которая заодно служила Хуберманам спальней), вытягивал из старого буфета

аккордеон и протискивался через кухню к выходу.

Он шел по Химмель-штрассе, а Мама открывала окно и кричала вслед:

— Поздно не возвращайся!

— Не так громко, а? — оборачивался и кричал в ответ он.

— Свинух! Поцелуй меня в жопу! Хочу — и кричу!

Отзвуки ее брани катились за Папой по улице. Он больше не оглядывался — если только не был уверен, что жена ушла. В такие вечера, остановившись в конце улицы с футляром в руке, он оборачивался, немного не дойдя до лавки фрау Диллер на углу, и видел фигуру, сменившую Розу в окне. На миг его длинная призрачная ладонь взлетала вверх, потом он поворачивался и медленно шел дальше. В следующий раз Лизель увидит его в два часа ночи, когда он будет осторожно вытаскивать ее из страшного сна.

* * *

На маленькой кухне вечера неизменно проходили бурно. Роза Хуберман непрерывно говорила, а для нее говорить, значит — schimpfen.¹ Постоянно что-то доказывала и жаловалась. Спорить вообще-то было не с кем, но Мама умело использовала любой подвернувшийся случай. У себя на кухне она могла спорить с целым миром — и почти каждый вечер спорила. После ужина и Папиного ухода Лизель с Розой обычно оставались на кухне, и Роза принималась за глажку.

Несколько раз в неделю Лизель, вернувшись из школы, отправлялась с Мамой на улицы Молькинга — по состоятельным домам, собирать вещи в стирку и разносить стираное. Кнаупт-штрассе, Хайде-штрассе. Еще пара улиц. Мама принимала и отдавала стирку с дежурной улыбкой, но лишь дверь закрывалась, Роза, уже уходя, начинала поносить этих богатеев со всеми их деньгами и бездельем.

— Совсем *g'schtinkerdt*, не могут себе одежду постирать, — ворчала она, хотя сама зависела от этих людей. — Этому, — обличала она герра Фогеля с Хайде-штрассе, — все деньги достались от отца. Вот и проматывает на дамочек и выпивку. Да на стирку с глажкой, конечно!

Это было что-то вроде позорной переклички.

Герр Фогель, герр и фрау Пфаффельхурфер, Хелена Шмидт, Вайнгартнеры. Все они были хоть *в чем-нибудь*, но виноваты.

Эрнст Фогель, по словам Розы, помимо пьянства и дорогостоящего распутства, постоянно чесал в обсыженных гнидами волосах, лизал пальцы и только потом подавал деньги.

— Их надо стирать, прежде чем нести домой, — подводила черту Роза.

Пфаффельхурферы пристально разглядывали работу.

— «Пожалуйста, на этих рубашках никаких складок! — передразнивала их Роза. — На пиджаке чтоб ни одной морщинки!» И вот стоят и все рассматривают прямо передо мной. Прямо у меня под носом! *G'sindel!*² Ну и отребье!

Вайнгартнеры были, очевидно, «дурачком с постоянно линяющей кошачьей свинойхой».

— Ты знаешь, сколько я вожусь, очищаю всю это шерсть? Она везде!

Хелена Шмидт была богатая вдова.

— Старая рухлядь — сидит там и чахнет. Ей за всю жизнь ни дня не пришлось работать.

Однако самое злое презрение Роза приберегала для дома номер 8 по Гранде-штрассе.

¹ Браниться (нем.). — Здесь и далее прим. переводчика.

² Зд.: завонялись (нем.).

Большого дома на высоком холме в верхней части Молькинга.

— Это вот, — показала она, когда первый раз привела туда Лизель, — дом бургомистра. Жулика этого. Жена его целый день сидит сложа руки, сквалыга, огонь развести жалеет — у них вечно холодрыга. Чокнутая она. — И Роза повторила с расстановкой: — Полностью. Чокнутая. — А у калитки махнула девочке рукой. — Иди ты.

Лизель перепугалась до смерти. На невысоком крыльце громоздилась гигантская коричневая дверь с медным молотком.

— Что?

Мама пихнула ее.

— Не чтокай мне, свинюха! Тащи!

Лизель потащила. Прошла по дорожке, взошла на крыльцо и, помедлив, постучала.

Дверь открыл банный халат.

А внутри халата оказалась женщина с испуганными глазами, волосами как пух и в позе забитого существа. Увидав Маму у калитки, она подала Лизель узел с бельем.

— Спасибо, — сказала Лизель, но безответно. Только дверь. Она закрылась.

— Видишь? — спросила Мама, когда Лизель вернулась к калитке. — Вот что мне приходится терпеть. Этих богатых гнусов, свиней ленивых...

Уже уходя с узлом в руках, Лизель оглянулась. С двери ее провожал пристальным взглядом медный молоток.

Закончив распекать людей, на которых работала, Роза Хуберман обычно переходила к своему излюбленному предмету поношения. Собственному мужу. Глядя на мешок со стиркой и на ссутулившиеся дома, она все говорила, говорила и говорила.

— Если бы твой Папа хоть на что-нибудь годился, — сообщала она Лизель *каждый* раз, пока они шли по Молькингу, — мне бы не пришлось этим заниматься! — И насмешливо фыркала — Маляр! И чего я вышла за этого засранца? Мне же так и говорили — родители то есть! — Их шаги хрустели по дорожке. — И что я теперь — таскаюсь по улицам и гну спину на кухне, потому что у этого свинуха вечно нет работы. Настоящей, по крайней мере. Только жалкий аккордеон и каждый вечер по этим грязным притонам!

— Да, Мама.

— Это все, что ты можешь сказать? — Мамины глаза стали как две бледно-голубые заплатки на лице.

Лизель с Розой шагали дальше.

Мешок с бельем несла Лизель.

Дома белье стирали в титане рядом с плитой, развешивали вокруг камина в гостиной, потом гладили на кухне. Вся работа шла на кухне.

— Ты слышала? — почти каждый вечер спрашивала ее Мама. В кулаке она держала утюг, нагретый на плите. Свет во всем доме был тусклый, и Лизель сидела за столом, уставившись в провалы между языками пламени.

— Что? — спрашивала она. — Что там?

— Это была Хольцапфель! — Мама уже срывалась с места. — Эта свинюха только что снова плюнула нам на дверь!

Такая традиция была у одной их соседки, фрау Хольцапфель — плевать им на дверь, всякий раз проходя мимо. От двери до калитки было всего несколько метров, а фрау Хольцапфель обладала, скажем так, нужной дальнобойностью — и меткостью.

Причина плевков заключалась в том, что фрау Хольцапфель и Роза Хуберман уже лет десять состояли в какой-то словесной войне. Никто не знал истоков этой вражды. Они и сами, должно быть, ее забыли.

Фрау Хольцапфель была сухопарая женщина и, как видим, так и брызгала злобой. Замужем она никогда не бывала, но имела двух сыновей, несколькими годами старше Хуберманова отпрыска. Оба ушли в армию, и оба еще появятся в эпизодических ролях,

прежде чем наш рассказ закончится, это я вам обещаю.

Ну а про плевки мне следует добавить, что плевалась фрау Хольцапфель еще и добросовестно. Никогда не манкировала обязанностью харкнуть и сказать «Свинья!», проходя мимо двери дома номер 33. Вот что я понял про немцев:

Похоже, они без ума от свиней.

* * * МАЛЕНЬКИЙ ВОПРОС И ОТВЕТ НА НЕГО * * *

И кого, по-вашему, каждый вечер заставляли вытирать с двери плевков?

Точно — угадали.

Когда женщина с утюжным кулаком велит тебе пойти и стереть с двери плевков, хочешь не хочешь, а пойдешь. Особенно если утюг горячий.

Вообще-то это стало обычным делом.

Каждый вечер Лизель выходила на крыльцо, вытирала дверь и смотрела на небо. Обычно небо было как помой — холодное и густое, скользкое и серое, — но время от времени несколько звезд набирались духу показаться и посветить, пусть и несколько минут. В такие вечера Лизель задерживалась подольше и ждала.

— Привет, звезды.

Ожидание.

Крика из кухни.

Или пока звезды опять не пойдут ко дну, в хляби немецкого неба.

ПОЦЕЛУЙ

(Малолетний вершитель)

Как и в большинстве маленьких городков, в Молькинге было полно чудаков. Несколько жило на Химмель-штрассе. Фрау Хольцапфель была лишь одним из таких персонажей.

Среди остальных имелись и такие:

• Руди Штайнер — соседский парнишка, помешанный на чернокожем американском спортсмене Джесси Оуэнзе.³

• Фрау Диллер — истинная арийка, хозяйка лавки на углу.

• Томми Мюллер — мальчик с хроническим воспалением среднего уха, которое обернулось несколькими операциями, розовым ручейком кожи, нарисованным поперек лица и постоянными подергиваниями.

• И мужчина, известный главным образом как «Пфиффикус», — сквернослов, рядом с которым Роза Хуберман покажется златоустом и праведницей.

В общем-то, люди на улице жили довольно бедные, несмотря на ощутимый подъем немецкой экономики при Гитлере. Бедные районы города никуда не делись.

Как уже упоминалось, соседний с Хуберманами дом занимала семья по фамилии Штайнер. У Штайнеров было шестеро детей. Один, пресловутый Руди, скоро станет лучшим другом Лизель, позже — ее товарищем, а иногда и подстрекателем в преступлениях. Лизель познакомилась с ним на улице.

Через несколько дней после первой ванны Мама разрешила Лизель выйти погулять с другими детьми. На Химмель-штрассе дружбы завязывались под открытым небом, невзирая на погоду. Дети редко ходили друг к другу в гости: дома были тесными и в них обычно мало

³ Джесси Оуэнз (1913–1980) — американский чернокожий спортсмен, четырехкратный чемпион Олимпийских игр 1936 г. в Мюнхене (бег 100 м, 200 м, эстафета 4x100 м; прыжки в длину), посрамивший гитлеровскую идею превосходства белой расы.

что содержалось. Кроме того, дети предавались любимому занятию, как профессионалы, на улице. Футболу. Команды были хорошо сыгранны. Ворота обозначали мусорными баками.

Лизель была новенькая, и ее тут же впахнули между этими баками. (Освободив наконец Томми Мюллера, даром что он был самый никчемный футболист, какого только знала Химмель-штрассе.)

Поначалу все шло очень мило, пока Томми Мюллер не сбил в снег Руди Штайнера, отчаявшись отобрать у него мяч.

— Чё такое?! — заорал Томми. Его лицо дергалось от возмущения. — А чё я сделал?!

За пенальти высказались все в команде, и вот Руди Штайнер вышел против новенькой Лизель Мемингер.

Он установил мяч на кучку грязного снега, уверенный в обычном исходе дела. В конце концов, Руди забивал пенальти уже восемнадцать раз подряд, даже когда соперники позаботились выдворить из ворот Томми Мюллера. Кем бы его ни заменили, Руди забьет.

В этот раз Лизель тоже попытались выгнать из ворот. Как вы можете догадаться, она уперлась, и Руди ее поддержал:

— Не, не. — Он улыбался. — Пусть стоит! — И потер руки.

Снег перестал падать на грязную улицу, и между Руди и Лизель насобиралось мокрых следов. Руди подвололся к мячу, ударил, Лизель бросилась и как-то сумела отбить мяч локтем. Затем поднялась, ухмыляясь, но ей в лицо тут же врезался снежок. Его наполовину слепили из грязи. И вlepили дико больно.

— Что, нравится? — Мальчишка ослабил и побежал догонять мяч.

— Свинух, — прошептала Лизель. Язык новой семьи усваивался быстро.

*** * * НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О РУДИ ШТАЙНЕРЕ * * ***

Он на восемь месяцев старше Лизель, и у него худые ноги, острые зубы, выпученные синие глаза и волосы лимонного цвета.

Один из шести детей в семье Штайнеров, вечно голодный.

На Химмель-штрассе его считают немного того. Из-за одного происшествия, о котором редко говорят, но все слышали, — «Происшествия с Джесси Оуэнзом», когда Руди вымазался углем и как-то ночью пришел на местный стадион бежать стометровку.

Пусть даже чокнутому, Руди изначально было суждено стать лучшим другом Лизель. Снежок в лицо — беспорно идеальное начало верной дружбы.

Уже через несколько дней Лизель стала ходить в школу вместе со Штайнерами. Мать Руди Барбара заставила его пообещать, что он будет провожать новую девочку, — заставила прежде всего потому, что прослышала о том снежке. К чести Руди, он с удовольствием послушался. Он вовсе не был юным женоненавистником, как многие мальчики. Девочки ему очень нравились — и Лизель нравилась (отсюда и снежок). Вообще-то Руди Штайнер был из тех юных нахальных засранцев, которые спят и видят себя с женщинами. Наверное, посреди персонажей и миражей каждого детства отыщется такой ранний малыш. Мальчуган, который решительно не боится противоположного пола — исключительно потому, что эта боязнь свойственна остальным; личность того типа, что не страшится принимать решения. И в нашем случае Руди Штайнер насчет Лизель Мемингер уже все решил.

По дороге в школу он старался показать ей городские достопримечательности — или, по крайней мере, успел позатыкать ими паузы между покрякиванием на своих младших, чтоб захлопнули варежку, и окриками старших, которые велели захлопнуться ему. Первым интересным местом у него было небольшое оконце на втором этаже многоквартирного дома.

— Тут живет Томми Мюллер. — Руди понял, что Лизель не помнит, кто это. — Дергунец, ну? В пять лет потерялся на рынке в самый холодный день зимы. Его нашли через три часа — так он замерз в ледышку, и от холода у него жутко болело ухо. Потом в ушах у него стало ужасное воспаление, ему сделали три или четыре операции и порезали все нервы. Вот он и дергается.

— И плохо играет в футбол, — вставила Лизель.

— Хуже всех.

Следующее место — лавка на углу в конце Химмель-штрассе. Лавка фрау Диллер.

*** * * ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ О ФРАУ ДИЛЛЕР * * ***

У нее есть золотое правило.

Фрау Диллер была угловатая женщина в толстенных очках и со злодейским взглядом. Такой злобный вид она выработала, чтобы ни у кого даже мысли не возникло стащить что-нибудь из ее лавки, где фрау восседала со своей солдатской выправкой и леденящим голосом — и даже изо рта у нее пахло «хайльгитлером». Сама лавка была белая, холодная и совершенно бескровная. Прижавшийся к ней сбоку домишко дрожал более крупной дрожью, чем остальные дома на Химмель-штрассе. Дрожь эту вселяла фрау Диллер — раздавала ее как единственный бесплатный товар в своем заведении. Она жила ради своей лавки, а лавка ее жила ради Третьего Рейха. И даже когда в том же году ввели карточки, было известно, что она продает кое-какие труднодоступные товары из-под прилавка, а деньги жертвует фашистской партии. На стене над тем местом, где она обычно сидела, у нее висел снимок фюрера в рамочке. Если, войдя в лавку, ты не сказал «Хайль Гитлер!», тебя никто не стал бы обслуживать. Когда они проходили, Руди показал Лизель пуленепробиваемые глаза, злобно зырявшие из окна лавки.

— Говори «Хайль!», когда туда заходишь, — сухо предупредил он. — Если не хочешь гулять оттуда.

Они уже прилично отошли, и Лизель оглянулась, а увеличенные глаза по-прежнему вперились в окно.

За углом была Мюнхен-штрассе (главная дорога в Молькинг и из Молькинга), вся залитая жижей.

Как часто бывало в те дни, по улице промаршировали строем солдаты на учениях. Шагали прямые шинели, черные сапоги пуще прежнего пачкали снег. Лица сосредоточенно уставлены вперед.

Проводив взглядами солдат, Лизель со Штайнерами двинулись мимо каких-то витрин и величественной ратуши, которую позже обрубят по колено и заруют в землю. Некоторые магазины были заброшены, и на них еще красовались желтые звезды и ругань на евреев. Дальше по улице в небо целилась кирха, ее крыша — этюд подогнанных друг к другу черепиц. Вся улица сплошь была длинным тоннелем серого — коридор сырости, где ежатся на холоде люди и хлюпают мокрые шаги.

В одном месте Руди бросился бегом вперед, потянув за собой Лизель.

И постучал в витрину портновской мастерской.

Умей Лизель прочесть вывеску, она поняла бы, что хозяин здесь — отец Руди. Мастерская еще не открылась, но внутри человек уже раскладывал на прилавке какую-то одежду. Он поднял взгляд и помахал.

— Мой папа, — сообщил Руди, и тут же они оказались в толпе разнокалиберных Штайнеров, где каждый махал, или посылал отцу воздушный поцелуй, или стоял и просто кивал (как самые старшие), а потом двинулись дальше к последней достопримечательности перед школой.

*** * * ПОСЛЕДНЯЯ ОСТАНОВКА * * ***

Улица желтых звезд

Тут никто не хотел задерживаться, но почти все останавливались и озирались. Улица — как длинная переломленная рука, на ней — несколько домов с рваными стеклами и контуженными стенами. На дверях нарисованы звезды Давида. Дома эти — будто какие-то прокаженные. По самой меньшей мере — гноящиеся болячки на израненной немецкой

земле.

— Шиллер-штрассе, — сказал Руди. — Улица желтых звезд.

Вдалеке по улице брели какие-то прохожие. Из-за мороси они казались призраками. Не люди, а кляксы, топчущиеся под тучами свинцового цвета.

— Эй, пошли давайте, — окликнул Курт (старший из Штайнеров-детей), и Руби с Лизель поспешили за ним.

В школе Руби настойчиво разыскивал Лизель на каждой перемене. Ему было начхать, что другие фыркают над тупицей новенькой. Он стал помогать ей с самого начала, он будет рядом и потом, когда ее тоска перельется через край. Но он будет это делать не бескорыстно.

*** * * ХУЖЕ МАЛЬЧИШКИ, КОТОРЫЙ ТЕБЯ НЕНАВИДИТ, ТОЛЬКО ОДНО * * ***
— мальчишка, который тебя любит.

Раз в конце апреля после уроков Руди с Лизель шатались по Химмель-штрассе, собираясь, как обычно, играть в футбол. Было рановато, остальные игроки пока не вышли. На улице они увидели одного сквернослова Пфиффикуса.

— Смотри, — махнул Руди.

*** * * ПОРТРЕТ ПФИФФИКУСА * * ***

Хлипкая фигура.

Белые волосы.

Черный дождевик, бурые штаны, разложившиеся ботинки и язык — да еще какой.

— Эй, Пфиффикус!

Силуэт вдалеке обернулся, и Руди тут же засвистал.

Выпрямившись, старик тут же пошел браниться с такой лютостью, в какой нельзя было не признать редкостного таланта. Его настоящего имени, похоже, никто не знал, а если кто и знал, то им его никогда не звали. Только «Пфиффикус» — так зовут того, кто любит свистеть, а Пфиффикус это явно любил. Он постоянно насвистывал мелодию под названием «Марш Радецкого»,⁴ и все городские детишки, окликнув его, начинали выводить тот же мотивчик. Пфиффикус тотчас забывал свою обычную походку (наклон вперед, крупные циркульные шаги, руки за спиной в дождевике) и, выправившись, начинал изрыгать брань. Тут-то всякая благостность разлеталась в пух и прах, поскольку голос его кипел от ярости.

В этот раз Лизель повторила подначку почти машинально.

— Пфиффикус! — подхватила она, мигом усваивая подобающую жестокость, которой, судя по всему, требует детство. Свистела она из рук вон плохо, но совершенствоваться было некогда.

Старик с воплями погнался за ними. Начав с «гешайссена»,⁵ он быстро перешел к словам покрепче. Сперва он метил только в мальчишку, но дело скоро дошло и до Лизель.

— Шлюха малолетняя! — заорал он. Слово шибануло Лизель по спине. — Я тебя тут раньше не видел!

Представьте — назвать шлюхой десятилетнюю девочку. Таков был Пфиффикус. Все единодушно соглашались, что они с фрау Хольцапфель составили бы милую парочку.

— А ну иди сюда! — Это были последние слова, которые услышали на бегу Лизель и

⁴ Сочинение австрийского скрипача, дирижера и композитора Иоганна Штрауса-отца (1804–1849) — марш, написанный в честь чешского полководца Вацлава Радецкого (1766–1858).

⁵ От нем. Geh scheissen — зд.: высерок.

Руди. Не останавливались они до самой Мюнхен-штрассе.

— Пошли, — сказал Руди, когда они немного отдышались. — Вон туда, недалеко!

Он привел ее к «Овалу Губерта», где произошла история с Джесси Оуэнзом, и они молча встали, руки в карманы. Перед ними тянулась беговая дорожка. Дальше могло быть только одно. И Руди начал.

— Сто метров! — подначил он Лизель. — Спорим, я тебя перегоню!

Лизель такого не стерпела:

— Спорим, не перегонишь!

— На что ты споришь, свинюха малолетняя? У тебя что, есть деньги?

— Откуда? А у тебя?

— Нет. — Зато у Руди возникла идея. В нем заговорил донжуан. — Если я перегоню, я тебя поцелую! — Он присел и стал закатывать брюки.

Лизель встревожилась, чтоб не сказать больше.

— Ты зачем это хочешь меня поцеловать? Я же грязная!

— А я нет? — Руди явно не понимал, чем делу может помешать капелька грязи. У каждого из них период между ваннами был примерно на середине.

Лизель подумала об этом, разглядывая тощие ножки соперника. Почти такие же, как у нее. Никак ему меня не перегнать, подумала она. И серьезно кивнула. Уговор.

— Если перегонишь — поцелуешь. А если я перегоню, я на ворота не встаю на футболе.

Руди подумал.

— Нормально.

И они ударили по рукам.

Вокруг все было темно-небесным и смутным, сыпались мелкие осколки дождя.

Дорожка оказалась грязнее, чем с виду.

Бегуны приготовились.

Вместо стартового выстрела Руди подбросил в воздух камень. Когда упадет — можно бежать.

— Я даже не вижу, где финиш, — пожаловалась Лизель.

— А я вижу?

Камень врезался в грязь.

Они побежали — рядом, толкаясь локтями и пытаясь забежать вперед другого. Скользящая дорожка чавкала под ногами, и метров за двадцать до конца оба разом повалились на землю.

— Езус, Мария и Йозеф! — заскулил Руди. — Я весь в говне!

— Это не говно, — поправила Лизель, — это грязь, — хотя не была так уж уверена. Они проехали еще метров пять к финишу. — Ну что, ничья?

Руди оглянулся — сплошь острые зубы и выпученные синие глаза. Пол-лица раскрашено грязью.

— Если ничья, мне же все равно положен поцелуй?

— Еще чего! — Лизель поднялась и стала отряхивать грязь с курточки.

— Я тебя не поставлю на ворота.

— Подавись своими воротами.

На обратном пути на Химмель-штрассе Руди предупредил:

— Когда-нибудь, Лизель, ты сама до смерти захочешь со мной целоваться.

Но Лизель знала другое.

Она дала клятву.

Никогда в жизни она не станет целовать этого жалкого грязного свинуха, и уж точно не станет сегодня. Сейчас надо заняться делами поважнее. Она оглядела свои доспехи из грязи и огласила очевидное:

— Она меня убьет.

«Она» — это, конечно, была Роза Хуберман, известная также как Мама, — и она впрямь едва не убила. Слово «свиноуха» по ходу свершения наказания звучало без продыху. Роза измесила ее в фарш.

ПРОИСШЕСТВИЕ С ДЖЕССИ ОУЭНЗОМ

Как знаем мы оба, Лизель на Химмель-штрассе еще не было, когда Руди свершил свой детский позорный подвиг. Но стоило оглянуться в прошлое, и ей казалось, будто она все видела своими глазами. Ей почти удавалось узнать себя в толпе воображаемых зрителей. О подвиге ей не рассказывал никто, но Руди компенсировал с лихвой, поэтому, когда Лизель наконец решила вспомнить свою историю, происшествие с Джесси Оуэнзом стало такой же ее главой, как и все, что девочка наблюдала сама.

То был 1936 год. Олимпийские игры. Олимпиада Гитлера.

Джесси Оуэнз только что выиграл четвертую золотую медаль, завершив эстафету 4x100 метров. По миру пошли толки о том, что он недочеловек, потому что чернокожий, и Гитлер отказался пожать ему руку. В Германии даже самые отъявленные расисты дивились успехам Оуэнза, и слава о его рекорде просочилась сквозь щели. Никто не впечатлился сильнее Руди Штайнера.

Пока вся семья толкалась в гостиной, Руди выскользнул за дверь и двинулся на кухню. Нагребши из печи угля, наполнил им всю невеликость своих горстей.

— Вот! — Руди улыбнулся. Приступим.

Он мазал уголь ровно и толсто, пока не выкрасился в черное весь. Даже волосам досталось.

Руди полубезумно улыбнулся своему отражению в окне, а потом в одних трусах и майке тихонько умыкнул братнин велик и покатил к «Овалу Губерта». В кармане он спрятал пару кусков угля про запас — на тот случай, если краска с него где-нибудь облезет.

В мыслях Лизель луна в тот вечер была пришта к небу. А вокруг пристроены тучи.

Ржавый велик врезался в ограду «Овала Губерта», и Руди перелез на стадион. На другой стороне он хило затрусил к началу стометровки. Приободрившись, неуклюже выполнил несколько разминочных упражнений. Выковырял в шлаке стартовую колодку.

Дождаясь своего мига, топтался рядом, собирался с духом под небом тьмы, а луна и тучи наблюдали за ним — пристально.

— Оуэнз в хорошей форме, — повел комментарий Руди. — Возможно, это его величайшая победа за все...

Он пожал воображаемые руки остальных спортсменов и пожелал соперникам удачи, пусть даже и знал наперед. Им ничего не светит.

Стартер дал сигнал «на старт». На каждом квадратном сантиметре вокруг дорожки «Овала Губерта» материализовалась толпа. Все выкрикивали одно. Толпа скандировала имя Руди Штайнера, а звали его Джесси Оуэнз.

Все замерло.

Босые ноги Руди сцепились с землей. Он осязал ее — стиснутую между пальцами.

По сигналу «внимание» Руди принял низкий старт — и вот выстрел пробил в ночи дырку.

Первую треть дистанции все шли примерно вровень, но это было недолго, пока угольный Оуэнз не выдвинулся впереди не пошел в отрыв.

— Оуэнз впереди! — звучал пронзительный крик Руди, мчавшегося по пустынной прямой прямо в бурные овации олимпийской славы.

Он даже почувствовал, как ленточка рванулась пополам на его груди, когда он

промчался сквозь нее на первое место. Самый быстрый человек на свете.

И только на круге почета случилась неприятность. В толпе у финишной линии, как ночное страшилище, стоял отец. Ну, точнее, как страшилище в пиджаке. (Уже упоминалось, что отец Руди был портным. На улице его редко видели без пиджака и галстука. В этот раз на нем был только пиджак и незаправленная рубашка.)

— Was ist los? — сказал он сыну, когда тот предстал перед ним во всей своей угольной славе. — Что это за чертовщина? — Толпа исчезла. Подул ветерок. — Я спал в кресле, а тут Курт заметил, что тебя нет. Тебя все ищут.

В нормальных обстоятельствах герр Штайнер был отменно вежливым человеком. Обнаружить, что один из твоих детей летним вечером весь перемазался углем, нормальными обстоятельствами он не считал.

— Парень чокнулся, — пробормотал он, хотя всегда понимал, что если у тебя шестеро, что-то в таком роде обязательно случится. По крайней мере один должен оказаться непутевым. И вот он стоит и смотрит на этого непутевого, ожидая объяснений. — Ну?

Тяжело дыша, Руди согнулся и уперся руками в колени.

— Я был Джесси Оуэнз.

Сказал он так, будто это самое обычное занятие на свете. И в его тоне даже звучало что-то такое, будто дальше подразумевалось: «Какого черта, разве не понятно?» Впрочем, тон этот пропал, едва Руди заметил, что под отцовскими глазами выструган глубокий недосып.

— Джесси Оуэнз? — Человека того склада, какой был у герра Штайнера, назвать можно очень деревянным. Голос у него угловатый и верный. Тело — длинное и тяжелое, как из дуба. Волосы — как щепки. — И что он?

— Да ты знаешь, пап, — черное чудо.

— Я тебе покажу черного чуда! — И Штайнер схватил сына за ухо двумя пальцами.

Руди сморщился.

— Ай, да больно же.

— Да ну? — Отца больше заботил вязкий угольный порошок, пачкавший пальцы. Да он, выходит, выкрасился везде, подумал отец. Господи, даже в ушах уголь. — Пошли.

По дороге домой герр Штайнер решил поговорить с мальчиком о политике — причем со всей серьезностью. Руди поймет все только через несколько лет — когда уже поздно и ни к чему будет все это понимать.

*** * * ПРОТИВОРЕЧИВАЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСА ШТАЙНЕРА * * ***

Пункт первый: Алекс был членом фашистской партии, но не питал ненависти к евреям — да и ни к кому другому, если уж на то пошло.

Пункт второй: Втайне, однако, он не мог не испытывать какой-то порции удовлетворения (или хуже — радости!), когда из игры вывели лавочников-евреев, — пропаганда информировала его, что нашествие еврейских портных, которые отнимут у него всю клиентуру, — это лишь вопрос времени.

Пункт третий: Но значит ли это, что их надо изгнать совсем?

Пункт четвертый: Семья. Разумеется, он должен делать все, что в его силах, чтобы содержать ее. Если для этого нужно быть в Партии, значит, нужно быть в Партии.

Пункт пятый: Где-то там, в глубине, у него свербело в сердце, но он велел себе не расчесывать. Он боялся того, что может оттуда вытечь.

Сворачивая из улицы в улицу, они вышли на Химмель-штрассе, и Алекс сказал:

— Сын, нельзя расхаживать по улицам, выкрасившись черным, слышишь?

Руди заинтересовался — и растерялся. Луну уже отпороли, и она свободно могла идти и вверх, и вниз, и капать мальчику на лицо, которое стало застенчивым и хмурым, как и его

мысли.

— Почему нельзя, папа?

— Потому что тебя заберут.

— Зачем?

— Затем что не надо хотеть стать черными, или евреями, или кем-то, кто... не наш.

— А кто это — еврей?

— Знаешь моего старейшего заказчика, герра Кауфмана? У которого мы тебе покупали ботинки?

— Да.

— Вот он еврей.

— Я не знал. А чтобы быть евреем, надо платить? Нужно разрешение?

— Нет, Руди. — Одной рукой герр Штайнер вел велосипед, другой — Руди. Вести еще и разговор он затруднялся. Он еще не ослабил пальцев на ухе сына. Он позабыл, что держит его за ухо. — Это как быть немцем или католиком.

— О. А Джесси Оуэнз — католик?

— Не *знаю!* — Тут он споткнулся о педаль велосипеда и выпустил ухо.

Немного они прошли молча, потом Руди сказал:

— Просто я хочу быть как Джесси Оуэнз, пап!

На сей раз герр Штайнер положил сыну ладонь на макушку и объяснил:

— Я знаю, сын, но у тебя прекрасные светлые волосы и большие надежно голубые глаза. Ты должен быть счастлив, что оно так, понятно?

Но ничего не было понятно.

Руди ничего не понял, а тот вечер стал прелюдией к тому, чему суждено было случиться. Через два с половиной года от обувного магазина Кауфмана останется только битое стекло, а все туфли прямо в коробках полетят в кузов грузовика.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА НАЖДАЧКИ

У людей, наверное, бывают определяющие моменты — особенно в детстве. Для одних — происшествие с Джесси Оуэнзом. Для других — истерика с мокрой постелью.

Стоял конец мая 1939-го, и вечер был как большинство других вечеров. Мама потрясала утробным кулаком. Папы не было дома. Лизель вытирала входную дверь и смотрела на небо над Химмель-штрассе.

В тот день прошел парад.

По Мюнхен-штрассе промаршировали коричневорубашечные активисты НСДАП (иначе известной как фашистская партия) — они гордо несли знамена и лица, воздетые высоко, будто на палках. Их голоса наполнились песней, и пиком был слаженный рев «Deutschland &ber Alles». «Германия превыше всего».

Как всегда, им хлопали.

Пришпоренные, они шагали неведомо куда.

Люди стояли на улицах и глазели, иные — с жесткоруким салютом, другие — с ладонями, горящими от рукоплесканий. Кто-то держал лицо, искаженное гордостью и причастностью, как фрау Диллер, а где-то были вкрапления третьих лишних вроде Алекса Штайнера, который стоял, словно деревянная колода в форме человека, хлопая исполнителем и медленно. И прекрасно. Послушание.

Лизель стояла на тротуаре вместе с Папой и Руди. У Ганса Хубермана было лицо с опущенными шторами.

*** * * НЕКОТОРЫЕ ПОДСЧЕТЫ * * ***

**С 1933 года 90 % немцев выказывали решительную поддержку Адольфу Гитлеру.
Остается еще 10 %, которые не выказывали.**

**К этим десяти принадлежал Ганс Хуберман.
Тому была своя причина.**

Ночью Лизель видела сны — как всегда. Сначала ей снилось коричневорубашечное шествие, но довольно скоро оно привело Лизель к поезду, и ее ждало всегдашнее открытие. Снова неподвижный взгляд брата.

Лизель с криком проснулась и тут же поняла, что на сей раз кое-что изменилось. Из-под простыней сочился запах, теплый и тошнотворный. Сначала Лизель хотела убедить себя, что не произошло ничего, но когда Папа подошел и обнял ее, Лизель заплакала и призналась ему на ухо.

— Папа, — прошептала она. — Папа. — И это было все. Наверное, он учуял.

Он осторожно поднял Лизель на руки и отнес в умывальную. А момент наступил через несколько минут.

— Убираем простыни, — сказал Папа, завел руку под матрас и потянул ткань — и тут что-то выскользнуло и со стуком упало. Черная книжка с серебряными буквами грохнулась на пол меж Гансовых ступней.

Ганс взглянул на нее сверху.

Взглянул на девочку, и та робко пожала плечами.

Потом он прочел заголовок — сосредоточенно, вслух:

— «Наставление могильщику».

Так вот как она называется, подумала Лизель.

Между ними теперь лежало пятно молчания. Мужчина, девочка, книга. Ганс поднял книгу и заговорил мягко, как вата.

*** * * РАЗГОВОР В ДВА ЧАСА НОЧИ * * ***

— Это твое?

— Да, Папа.

— Хочешь почитать?

И снова:

— Да, папа.

Усталая улыбка.

Металлические глаза, плавятся.

— Значит, давай будем читать.

Через четыре года, когда она станет делать записи в подвале, ей в голову придут две мысли о травме намоченной постели. Во-первых, она поймет, что ей ужасно повезло, что книгу обнаружил Папа. (К счастью, когда простыни стирали до этого, Роза заставляла Лизель саму и снимать, и стелить белье. «И поскорей там, свиноуха! Думаешь, целый день возиться?») Во-вторых, она станет гордиться участием Ганса Хубермана в ее обучении. *Никто бы не подумал, — напишет она, — но читать меня научили не совсем в школе. Меня научил Папа. Люди думают, что он не так уж умен, и он по правде не очень быстро читает, но я скоро узнала, что слова и писание их однажды просто спасли ему жизнь. Или, по крайней мере, слова и человек, который научил его играть на аккордеоне...*

— Сначала неотложное, — сказал Ганс Хуберман в ту ночь. Застирал простыни и повесил сохнуть. — Ну вот, — сказал он, вернувшись. — Приступим к полуночному уроку.

Желтый свет весь дышал пылью.

Лизель сидела на холодных чистых простынях, пристыженная, ликующая. Мысль о намоченной постели грызла ее, но сейчас Лизель будет читать. Лизель будет читать книгу.

В ней поднялось волнение.

Засветились картины читающего десятилетнего гения.
Если бы все было так просто.

— Сказать по правде, — заранее оговорился Папа, — я и сам не такой уж хороший чтец.

Но неважно, что он читал медленно. Скорее уж, кстати, что скорость чтения у Папы ниже среднего. Глядишь, не будет очень уж досадовать, что девочка пока неумеха.

А все же сначала, когда Ганс Хуберман взял в руки книгу и перелистал страницы, казалось, что ему немного не по себе.

Он подошел и сел рядом с девочкой на кровать, откинулся назад, свесив углом ноги. Еще раз оглядел книжку и уронил ее на одеяло.

— А почему такая славная девочка захотела такое читать?

И снова Лизель пожалала плечами. Если бы подмастерье читал полное собрание сочинений Гёте или еще кого-нибудь из корифеев, тогда перед ними сейчас лежала бы другая книга. Лизель попробовала объяснить.

— Я — когда... она лежала в снегу, и... — Тихие слова, скользя с края постели, осыпались на пол, как мука.

Но Папа знал, что сказать. Он всегда знал, что сказать.

Он провел рукой по сонным волосам и сказал:

— Ладно, Лизель, дай мне тогда слово. Если я в ближайшее время помру, ты проследишь, чтобы меня правильно зарыли.

Та кивнула — очень искренне.

— Не пропустили бы главу шестую или пункт четыре из девятой главы. — Он засмеялся, а с ним — и виновница ночной стирки. — Ну, я рад, что мы договорились. Теперь можно и начать.

Папа уселся поудобнее; кости его скрипнули, как чесучие половицы.

— Пошла потеха!

Отчетливо в ночной тиши книга раскрылась — взметнула ветром.

Оглядываясь в прошлое, Лизель точно могла сказать, о чем думал тогда Папа, пробегая глазами первую страницу «Наставления могильщику». Оценив всю сложность текста, он тут же понял, что книжка далеко не идеальная. Там были слова, трудные даже для него. Не говоря уже о мрачной теме. Что же до девочки, то ей вдруг страстно захотелось прочесть книжку — это желание она даже не пробовала понять. Может, где-то в глубине души хотела убедиться, что брата зарыли правильно. Что бы Лизель ни толкало, жажда ее была такой острой, какая только может быть у человека в десять лет.

Первая глава называлась «Первый шаг: правильный выбор инструментов». В кратком вступительном абзаце очерчивалась тема, которая будет раскрыта на следующих двадцати страницах. Описывались виды лопат, кирок, перчаток и так далее — а равно и насущная необходимость правильно о них заботиться. Рытье могил оказалось делом нешуточным.

Перелистывая страницы, Папа ясно чувствовал на себе глаза девочки. Она тянулась к нему взглядом и ждала, когда что-нибудь — все равно что — сорвется с его губ.

— На-ка! — Папа опять подвинулся и протянул книгу Лизель. — Посмотри на эту страницу и скажи, сколько слов здесь ты можешь прочитать.

Она посмотрела — и соврала:

— Примерно половину.

— Прочти мне какое-нибудь. — Но она, конечно, не смогла. Когда Папа велел ей показать все слова, которые она может прочесть и произнести их вслух, таких оказалось только три — три разных немецких предлога. Вообще же на странице было около двух сотен слов.

Дело хуже, чем я думал.

Лизель поймала его на этой мысли — секундной.

Папа подался вперед, встал на ноги и снова вышел из комнаты.

На этот раз, вернувшись, он сказал так:

— Знаешь, я придумал кое-что получше. — Папа держал в руке толстый малярный карандаш и пачку наждачной бумаги. — Начнем с азов. — Лизель не видела причин не согласиться.

В левом углу перевернутого листа наждачной бумаги папа нарисовал квадрат со стороны где-то в пару сантиметров и втиснул туда заглавную «А». В другом углу он поместил «а» строчную. Пока все отлично.

— А, — сказала Лизель.

— Что есть на «а»?

Она улыбнулась:

— Apfel.

Папа записал слово большими буквами и нарисовал под ним кривобокое яблоко. Он был маляр, не художник. Закончив с яблоком, он поднял глаза и сказал.

— Теперь Б!

Они двигались по алфавиту, и глаза у Лизель распахивались все шире. В школе, в подготовительном классе, она занималась тем же, но теперь все было лучше. Лизель — единственная ученица, и вовсе не великанша. И здорово смотреть на Папину руку, которой он пишет слова и медленно чертит простенькие рисунки.

— Ну, давай, Лизель, — сказал Папа, когда у девочки дальше пошли трудности. — Слово на букву С. Это просто. Ты меня разочаровываешь.

Она не могла придумать.

— Ну же! — Папин шепот дразнил ее. — Подумай о Маме!

И тут слово шлепнуло ее по лицу, как оплеуха. Невольная усмешка.

— СВИНЮХА! — выкрикнула Лизель, Папа расхохотался и тут же стих.

— Ш-ш, давай потише! — Но он все равно похихотал, записал слово и дополнил очередным рисунком.

* * * ТИПИЧНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ ГАНСА ХУБЕРМАНА * * *

— Папа, — зашептала Лизель. — У меня нет глаз!

Ганс потрепал девочку по волосам. Она попалась на его удочку.

— С такой улыбкой, — сказал он, — тебе глаза и не нужны. — Обнял ее, потом снова посмотрел на картинку — и лицо у него было из теплого серебра. — Теперь Т.

Когда алфавит прошли и изучили с десятков раз, Папа потянулся и сказал.

— Хватит на сегодня?

— Еще несколько слов?

Но Папа был тверд:

— Хватит. Когда проснешься, я поиграю тебе на аккордеоне.

— Спасибо, Папа.

— Спокойно ночи. — Тихий односложный смешок. — Спокойной ночи, свинюшка.

— Спокойной ночи, Папа.

Папа встал, выключил свет, вернулся и сел на стул. В темноте Лизель не закрывала глаз. Она разглядывала слова.

ЗАПАХ ДРУЖБЫ

Уроки продолжались.

В следующие несколько недель начала лета полуночные занятия шли после каждого

страшного пробуждения. Простыни намокали еще дважды, но Ганс Хуберман лишь повторял свои решительные прачечные маневры и садился за работу: читать, рисовать, произносить. Тихие слова громко звучали в предутренний час.

Однажды в четверг, в самом начале четвертого пополудни Мама велела Лизель собираться — помочь разнести стирку. У Папы же были другие мысли.

Он вошел на кухню и сказал:

— Прости, Мама, сегодня она с тобой не пойдет.

Мама не потрудилась даже поднять глаза от узла с бельем.

— Кто тебя спрашивает, засранец? Пошли, Лизель.

— Она читает, — сказал Папа. Он вручил Лизель преданную улыбку и подмигнул. — Со мной. Я ее учу. Мы пойдем к Амперу — вверх по течению, где я учился играть на аккордеоне.

Тут уж Роза не могла не обратить внимания.

Она опустила белье на стол и рьяно распалила в себе надлежащий цинизм.

— Что ты сказал?

— Мне кажется, ты меня слышала, Роза.

Мама рассмеялась:

— Да какой ты, к чертям, учитель? — Картонная ухмылка. Слова подлых. — Будто сам путем читать умеешь, свинух.

Кухня примолкла. Папа нанес ответный удар:

— Мы разнесем за тебя твою стирку.

— Ты, грязный... — Роза смолкла. Слова застряли у нее во рту, пока она обдумывала дело. — Возвращайтесь засветло.

— Мама, в темноте читать нельзя, — сказала Лизель.

— Что такое, свинюха?

— Ничего, Мама.

Папа усмехнулся и навел на Лизель палец.

— Книгу, наждачку, карандаш, — приказал он. — И аккордеон, — когда Лизель уже была за дверью. Вскоре они уже шагали по Химмель-штрассе — несли слова, музыку, стирку.

Пока дошли до фрау Диллер, несколько раз оборачивались посмотреть, стоит ли еще мама у калитки, следя за ними. Мама стояла. Один раз она крикнула:

— Лизель, держи мешок ровно! Не помни белье!

— Да, Мама!

Еще через несколько шагов:

— Лизель, ты тепло одета?!

— Что, Мам?

— Saumensch dreckiges, никогда ничего не слышишь! Ты тепло оделась?! К вечеру освежает!

За углом Папа наклонился завязать шнурок.

— Лизель, — попросил он, — не свернешь мне самокрутку?

Ничто бы не доставило Лизель большего удовольствия.

Когда разнесли белье, снова направились к реке Ампер, которая огибала город. Она катилась мимо, устремляясь к Дахау, концентрационному лагерю.

На реке был дощатый мост.

Не доходя моста метров тридцать, Лизель с Папой сели в траву — писали слова и вслух читали их, а когда начало темнеть, Ганс вынул аккордеон. Лизель смотрела на него и слушала, и все-таки не сразу заметила растерянность, написанную на его лице в тот вечер, пока он играл.

*** * * ПАПИНО ЛИЦО * * ***

**Оно блуждало и размышляло, но не выдавало никакого ответа.
Пока нет.**

В нем была какая-то перемена. Легкий сдвиг.

Лизель замечала, но не осознавала этого до той поры, пока не сошлись все концы. Она не видела, что, играя, Папа что-то выискивает, потому что понятия не имела, что аккордеон Ганса Хубермана — это история. В скором будущем история эта придёт на Химмель-штрассе, 33, в глухой предутренний час, со взъерошенными плечами и в дрожащей куртке. Она принесет чемоданчик, книгу и два вопроса. История. История после истории. История *внутри* истории.

А в тот момент, насколько Лизель было ведомо, история шла только одна, и ей она весьма нравилась.

Лизель, растянувшись, устроилась в широких объёмах травы.

Закрывает глаза, и слух её ловил ноты.

Были, конечно, и трудности. Несколько раз Папа чуть ли не орал на неё.

— Ну же, Лизель, — говорил он. — Ты знаешь это слово, ты же знаешь! — Именно когда дело, казалось, текло как по маслу, где-нибудь вдруг появлялся затор.

Если была хорошая погода, после обеда они шли на Ампер. В плохую — в подвал. В основном из-за Мамы. Поначалу они пробовали читать на кухне, но там было никак нельзя.

— Роза, — однажды заговорил с женой Ганс. Его слова спокойно вклинились в одну из Розиных тирад. — Ты можешь сделать мне одолжение?

Роза посмотрела на него от плиты:

— Что?

— Я тебя прошу. Я тебя умоляю, пожалуйста, закрой рот хотя бы на пять минут?

Можете представить себе, что тут было.

В итоге Папа и Лизель оказались в подвале.

Освещения там не было, так что они брали керосиновую лампу, и постепенно, между школой и домом, от реки до подвала, от ясных дней до хмурых Лизель училась читать и писать.

— Скоро, — говорил ей Папа, — ты сможешь читать эту ужасную могильную книгу с закрытыми глазами.

— И меня переведут из карликового класса.

Она произнесла эти слова, как мрачная хозяйка.

На одном из подвальных занятий Папа решил обойтись без наждачной бумаги (она быстро заканчивалась) и вынул малярную кисть. В доме Хуберманов не было никакой роскоши, но там скопился немалый излишек краски, и она более чем пригодилась для обучения Лизель. Папа говорил слово, а Лизель должна была произнести его по буквам, а потом написать на стене, если правильно схватила. Через месяц стену перекрасили. Свежая цементная страница.

Иными вечерами после занятий в подвале Лизель, скрючившись, сидела в ванне и слышала неизменные речи с кухни.

— От тебя воняет, — говорила Роза Гансу. — Табаком и керосином.

Сидя в воде, Лизель представляла этот запах, начертанный на Папиной одежде. Прежде всего это был запах дружбы — Лизель находила его и на своем теле. Она любила этот запах. Лизель нюхала свою руку и улыбалась, а вода в ванне остывала.

ЧЕМПИОН ШКОЛЬНОГО ДВОРА В ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ

Лето 1939 года спешило — или, может, это спешила Лизель. Днями она играла в футбол с Руди и другими ребятами с Химмель-штрассе (это круглогодичное занятие), с Мамой разносила стирку по городу и изучала слова. Лето прошло, будто за несколько дней.

В последующие дни года произошло два события.

*** * * С СЕНТЯБРЯ ПО НОЯБРЬ 1939 г. * * ***

1. Начинается Вторая мировая война.

2. Лизель Мемингер становится чемпионом школьного двора в тяжелом весе.

Первые дни сентября.

Холодным выдался в Молькинге тот день, когда началась война и у меня прибавилось работы.

Весь мир говорил об этом событии.

Газетные заголовки упивались им.

В приемниках Германии ревел голос фюрера. Мы не сдадимся. Мы не успокоимся. Победа будет за нами. Наше время пришло.

Началось немецкое вторжение в Польшу, люди повсюду собирались послушать новости. Мюнхен-штрассе, как любая другая главная улица в Германии, от войны ожила. Запах, голос. Карточки ввели за несколько дней до того — надпись на стене, — а теперь об этом сообщили официально.

Англия и Франция объявили Германии войну. Если сказать словами Ганса Хубермана:

Пошла потеха.

День объявления войны у Папы был довольно удачным — подвернулась кое-какая работа. По дороге домой он подобрал брошенную газету и не стал останавливаться и совать ее в тележку между банками с краской, а свернул и положил за пазуху. К тому времени, как Папа оказался дома, пот перевел типографскую краску на кожу. Газета упала на стол, но сводка новостей осталась прищиплена и к Папиной груди. Наколка. Распахнув рубашку, он смотрел на себя в неуверенном кухонном свете.

— Что там написано? — спросила его Лизель. Она переводила взгляд туда-сюда — от черных разводов на Папиной коже к газете.

— ГИТЛЕР ЗАХВАТЫВАЕТ ПОЛЬШУ, — ответил он. И с этим рухнул на стул. — Deutschland über Alles, — прошептал он, и патриотизма в его голосе не было ни грана.

И опять то же лицо — его аккордеонное лицо.

Это было начало одной войны.

Лизель скоро очутится на другой.

Примерно через месяц после начала занятий в школе Лизель перевели в надлежащий ее возрасту класс. Вы можете подумать, что из-за успехов в чтении, но это не так. При всех успехах, читала она пока с большим трудом. Фразы были разбросаны повсюду. Слова дурачили. Причина ее перевода, скорее, имела отношение к тому, что в классе с младшими детьми Лизель стала мешать. Отвечала на вопросы, заданные другим ученикам, выкрикивала с места. Несколько раз в коридоре она получала то, что называлось Watschen (произносится «варчен»).

*** * * ТОЛКОВАНИЕ * * ***

Watschen = хорошая взбучка

Учительница, которая в придачу оказалась монахиней, поднимала Лизель, сажала на

отдельный стул и приказывала держать рот закрытым. С другого конца класса Руди смотрел на нее и махал рукой. Лизель махала в ответ и старалась не улыбнуться.

Дома они с Папой уже довольно продвинулась в чтении «Наставления могильщику». Обводили слова, которых Лизель не могла понять, и на другой день несли их в подвал. Лизель думала, этого хватит. Этого не хватило.

Где-то в начале ноября в школе давали проверочные задания. Одно — по чтению. Каждого ученика заставляли выйти перед классом и читать выбранный учителем текст. Стояло морозное, но яркое от солнца утро. Дети щурились до хруста. Светился ореол вокруг неумолимого жнеца — сестры Марии. (Кстати — мне нравится это человеческое представление о неумолимом жнеце. Мне нравится коса. Она меня забавляет.)

В отяжелевшем от солнца классе в случайном порядке щелкали фамилии:

— Вальденхайм, Леман, Штайнер.

Все они вставали и читали, каждый в меру способностей. Руди читал на удивление хорошо.

Пока шла проверка, в душе Лизель мешались жаркое предвкушение и мучительный страх. Ей отчаянно хотелось испытать свои силы, выяснить наконец, как у нее идет дело. По плечу ли будет ей? Сможет ли она хотя бы приблизиться к Руди и остальным?

Всякий раз, когда сестра Мария заглядывала в список, нервы струной натягивались у Лизель в ребрах. Начиналась струна в животе, а тянулась вверх. И скоро закручивалась вокруг шеи, толстая, как веревка.

Вот Томми Мюллер закончил свое неважное выступление, и Лизель оглядела класс. Всех остальных уже поднимали. Осталась только она.

— Отлично. — Сестра Мария кивнула, углубившись в список. — Всех проверила.

Как?

— Нет!

Голос практически возник сам собой в другом углу комнаты. На конце голоса был лимонноволосый мальчишка, чьи коленки в штанинах стукались друг об друга под столом. Вытянув руку вверх, он сказал:

— Сестра Мария, кажется, вы пропустили Лизель!

Сестру Марию.

Это не впечатлило.

Она шлепнула папку на стол перед собой и с одышливым неодобрением оглядела Руди. Почти уныло. За что, сокрушалась она, приходится ей возиться с Руди Штайнером? Он просто не может держать рот закрытым. За что, Господи, за что?

— Нет, — сказала она решительно. Ее брюшко подалось вперед вместе с остальной сестрой Марией. — Боюсь, Руди, Лизель еще не сумеет. — Учительница бросила взгляд в сторону — за подтверждением. — Она почитает мне позже.

Девочка откашлялась и заговорила тихо, но вызывающе:

— Я могу и сейчас, сестра Мария. — Большинство детей наблюдали молча. Некоторые явили чудесное детское искусство хихиканья.

Терпение сестры Марии лопнуло.

— Нет, не можешь!.. Ты куда?

Потому что Лизель встала из-за парты и медленно, на жестких ногах уже шагала к доске. Она взяла книгу и открыла ее наугад.

— Ладно, — сказал сестра Мария. — Хочешь сдавать? Начинай.

— Да, сестра.

Бросив быстрый взгляд на Руди, Лизель опустила глаза и побежала ими по строчкам.

Когда она снова подняла взгляд, стены растянулись в разные стороны, а потом схлопнулись вместе. Всех учеников смяло прямо на ее глазах, и в лучезарный миг Лизель

представила, как читает всю страницу в безупречном и полном беглости торжестве.

*** * * КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО * * ***

представила

— Давай, Лизель!

Руди нарушил молчание.

Книжная воришка снова посмотрела вниз, на слова.

Давай. Теперь Руди произнес это беззвучно. Давай, Лизель.

Кровь сделалась громче. Строчки поплыли.

Белая страница внезапно оказалась написанной на чужом наречии, и никакой пользы не было от слез, что вдруг застили глаза. Теперь уже Лизель не видела ни одного слова.

Да еще солнце. Чтоб оно пропало. Оно вломилось в окно — стекло повсюду — и светило прямо на никчемушную девочку. И кричало ей в лицо:

— Может, книжку ты и украла, да читать не умеешь!

Ее осенило. Выход есть.

Вдох-выдох, вдох-выдох — и она принялась читать, но не по книге, что лежала перед ней. А кусок из «Наставления могильщику». Глава третья: «В случае снега». Лизель выучила ее с Папиного голоса.

— «В случае снега, — выводила она, — надо позаботиться, чтобы лопата была крепкой. Копать нужно глубоко, лениться нельзя. Нельзя халтурить». — Лизель втянула новый ком воздуха. — «Разумеется, легче было бы подождать, пока не потеплеет, и тогда...»

На этом и кончилось.

Книгу вырвали у нее из рук, и было сказано:

— Лизель — коридор!

Получая несильную взбучку, Лизель между взмахами секущей монашеской руки слышала, как в классе все смеются. И видела их. Всех этих смятых детей. Скалятся и смеются. Залитые солнцем. Смеялись все, кроме Руди.

На перемене ее дразнили. Мальчик по имени Людвиг Шмайкль подошел с книгой в руках.

— Эй, Лизель, — сказал он. — У меня тут одно слово не выходит. Можешь прочесть? — И он рассмеялся — самодовольным смехом десятилетнего. — Dummkopf — тупица!

Потянулись цепочкой облака, большие и неуклюжие, а другие дети окликали ее, наблюдая, как она заводится.

— Не слушай их, — посоветовал Руди.

— Тебе легко говорить. Это не ты тупица.

Под конец перемены счет подначек достиг девятнадцати. На двадцатой Лизель взорвалась. Это был Шмайкль, вернувшийся за добавкой.

— Ну чего ты, Лизель! — Он сунул книгу ей под нос. — Помоги, а?

И Лизель помогла — да еще как.

Она встала и взяла у него книгу, и — пока он улыбался через плечо другим мальчишкам — швырнула книгу на пол и пнула его изо всех сил куда-то в промежность.

Да, как вы можете представить, Людвиг Шмайкль, конечно, сложился пополам и, складываясь, еще получил в ухо. А когда упал, на него сели. И когда на него сели, он был отшлепан, оцарапан и изничтожен девочкой, совершенно ослепленной гневом. Кожа у него была такая теплая и мягкая. А ее кулаки и ногти, при том что малы, были так угрожающе тверды.

— Ты, свинух! — Ее голос тоже обдирал. — Ты засранец. А ну скажи по буквам «засранец»!

О, какие облака толклись и глупо собирались в небе.

Огромные жирные облака.

Темные и пухлые.

Сталкивались. Извинялись. Текли, пристраивались друг подле друга.

Дети сбежались, мигом, как... ну, как дети, привлеченные дракой. Солянка из рук и ног, из воплей и выкриков, все гуще окружала схватку. Все смотрели, как Лизель Мемингер задает Людвигу Шмайклю небывалую трепку.

— Езус, Мария и Йозеф, — взвизгнув, выкрикнула какая-то девочка, — она его убьет!

Лизель не убила.

Но вполне могла.

Вообще-то ее остановило только одно — жалкое дергающееся лицо Томми Мюллера. Все еще затопленная адреналином, Лизель заметила на этом лице улыбку — такую нелепую, что тут же потянула Томми на пол и стала избивать теперь его.

— Ты чего? — заскулил Томми, и тогда, после третьей или четвертой оплеухи и вытекшей из носа мальчишки струйки крови, Лизель остановилась.

Стоя на коленях, она заглатывала воздух и слушала доносившиеся снизу стоны. Окинула взглядом вихрь лиц слева и справа и объявила:

— Я не тупица!

Никто не возразил.

И лишь когда все вернулись в класс и сестра Мария заметила состояние Людвиг Шмайкля, схватка получила итог. Подозрение пало сначала на Руди, потом на нескольких других мальчиков. Они постоянно заедались со Шмайклем.

— Руки, — поступил приказ каждому, но ни одной подозрительной пары не обнаружилось. — Вот так раз, — пробормотала сестра Мария. — Не может быть.

Потому что, разумеется, едва Лизель вышла вперед и показала руки, они все были в Людвиге Шмайкле, уже бурно засыхавшем.

— Коридор, — объявила сестра, во второй раз за день. Точнее, во второй раз за час.

На сей раз это не был малый коридорный «варчен». И не средний. На сей раз это был всем «варченам» «варчен», прут обжигал раз за разом, так что Лизель целую неделю больно будет сидеть. И ни одного смешка в классе. Скорее, безмолвный страх вслушивания.

После занятий Лизель возвращалась домой с Руди и остальными детьми Штайнеров. На подходе к Химмель-штрассе чехардой мыслей на девочку накатила пика отчаяния: проваленное чтение из «Наставления могильщику», изничтожение семьи, страшные сны, все унижения дня — и она расплакалась, съезжившись в канаве. К этому все и шло.

Руди стоял рядом, глядя сверху вниз.

Пошел дождь, славный и обильный.

Курт Штайнер окликнул их, но ни один не пошевелился. Одна сидела на больном месте, под сыплющимися кусками дождя, Другой стоял рядом, ждал.

— Ну почему же он умер? — спрашивала Лизель, но Руди ничего не делал; ничего не отвечал.

Когда Лизель наконец выплакалась и поднялась на ноги, Руди обнял ее одной рукой, как делают закадычные друзья, и они зашагали домой. Никаких просьб о поцелуе. Ничего подобного. Можете полюбить Руди за это, если хотите.

Только не пинай меня по яйцам.

Вот что он думал, только не сказал вслух. Прошло почти четыре года, прежде чем он поделился с Лизель этой информацией.

А сейчас Руди и Лизель под дождем вышли на Химмель-штрассе.

Он был чокнутым, который выкрасил себя углем и покорял мир.

Она была книжной воришкой, оставшейся без слов.

Но поверьте, слова уже были в пути, и когда они придут, Лизель возьмет их в руки,

как облака, и выжмет досуха, как дождь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ «ПОЖАТИЕ ПЛЕЧ» с участием:

девочки, сделанной из тьмы — радости самокруток — уличного обходчика — нескольких мертвых писем — дня рождения гитлера — стопроцентно чистого немецкого пота — врат воровства — и книги огня

ДЕВОЧКА, СДЕЛАННАЯ ИЗ ТЬМЫ

* * * НЕМНОГО СТАТИСТИКИ * * *

Первая украденная книга: 13 января 1939 г.

Вторая украденная книга: 20 апреля 1940 г.

Период между названными украденными книгами: 463 дня

Если бы кто отнесся к этому легкомысленно, он сказал бы, что для продолжения ведь всего-то и понадобилось, что немного огня и немного человеческих воплей. Сказал бы, что Лизель Мемингер этого хватило, чтобы узнать час новой кражи, пусть даже краденая книга дымилась у нее в руках. И даже жгла ребра.

Однако есть одна сложность:

Не время быть легкомысленным.

Не время смотреть краем глаза, оборачиваться или проверять плиту — потому что, когда книжная воришка украла вторую книгу, не только многие предпосылки сошлись в жажде этой кражи, но сам акт воровства спустил пружину грядущих событий. Вторая кража откроет воришке источник дальнейшего книжного воровства. Она вдохновит Ганса Хубермана на план, как можно помочь еврейскому драчуноу. И лишний раз покажет мне, что случай всегда ведет к следующему случаю, точно как риск несет в себе новый риск, жизнь — новую жизнь, а смерть — новую смерть.

* * *

Можно сказать, это была судьба.

Видите ли, кто-то может сказать, что немецкий фашизм получился от антисемитизма, не в меру ретивого вождя и нации озлобленных баранов, но все это ничего бы не дало без любви немцев к одному интересному занятию:

Жечь.

Немцы любили что-нибудь жечь. Лавки, синагоги, Рейхстаги, дома, личные вещи, умерщвленных людей и, само собой, книги. Хороший костер из книг всегда был им по душе — а тому, кто неравнодушен к книгам, это давало возможность наложить руки на какие-то издания, которых иначе никак было не занять. Среди тех, за кем *водилось* такое пристрастие, была, как мы знаем, худенькая девочка по имени Лизель Мемингер. Пусть она ждала 463 дня, но дело того стоило. В конце дня, вместившего в себя много волнений, много очаровательной гадости, одну окровавленную лодыжку и оплеуху от родной руки, Лизель Мемингер заполучила свою вторую историю успеха. «Пожатие плеч». Это была синяя книга с красными письменами, вытисненными на обложке, и еще под заглавием была маленькая картинка — кукушка, тоже красная. Оглядываясь потом в прошлое, Лизель не стыдилась, что украла эту книгу. Наоборот, больше всего на крохотный омут *события* в животе походила гордость. И еще жажду украсть ту книгу в ней распалили гнев и темная ненависть. По сути дела, 20 апреля — в день рождения фюрера, — выхватывая книгу из груды дымящихся

углей, Лизель была девочкой, сделанной из тьмы.

Конечно, возникает вопрос — почему?

На что ей было гневаться?

Что произошло в последние четыре или пять месяцев, чтобы выплеснуться такими эмоциями?

Если коротко, ответ переносится с Химмель-штрассе к фюреру, к недостижимому местонахождению ее настоящей матери и обратно.

Как и почти любое отчаяние, все началось с видимого благополучия.

РАДОСТЬ САМОКРУТОК

К концу 1939 года Лизель довольно неплохо освоилась в Молькинге. Ей еще снился мертвый братик, и она тосковала о матери, но теперь ей было чем утешиться.

Она любила своего Папу — Ганса Хубермана — и даже приемную мать, при всех ее обзывательствах и словесных нападках. Любила и ненавидела лучшего друга Руди Штайнера, что совершенно нормально. И радовалась тому, что, хоть и опозорилась на уроке, чтение и письмо у нее несомненно улучшаются и скоро она приблизится к чему-то более-менее достойному. Все это давало ей, по крайней мере, какое-никакое удовлетворение и скоро достроится до того, что забрезжит идея *Счастья*.

* * * КЛЮЧИ К СЧАСТЬЮ * * *

1. Дочитанное «Наставление могильщику».
2. Спасение от гнева сестры Марии.
3. Две новые книги в подарок на Рождество.

17 декабря.

Лизель хорошо запомнила дату, потому что это было ровно за неделю до Рождества.

Как всегда, еженощное страшное видение прервало сон, и ее вызволил Ганс Хуберман. Его руки легли на мокрую от пота ткань пижамы.

— Поезд? — спросил он шепотом.

Лизель подтвердила:

— Поезд.

Она заглатывала воздух, пока не успокоилась, а затем они приступили к чтению одиннадцатой главы «Наставления могильщику». В самом начале четвертого они закончили главу, и осталась только последняя — «Уважение к кладбищу». Папа — серебряные глаза припухли от усталости, а лицо обито щетиной — закрыл книгу и стал ждать остатков сна. Но их ему не досталось.

Не прошло и минуты, как погасили свет, а Лизель заговорила с ним через темноту:

— Папа?

В ответ — лишь какой-то звук, горлом.

— Папа, ты не спишь?

— Да.

Поднялась на локте:

— Может, дочитаем книжку, а?

Длинный выдох, скрежет руки по щетине, потом — свет. Папа открыл книгу и начал.

— «Глава двенадцатая: Уважение к кладбищу».

Читали до самого утра, обводя и выписывая слова, которых Лизель не понимала, и переворачивали страницы, пока не рассвело. Несколько раз папа чуть не заснул, поддавшись зудящей усталости глаз и никнувшей тяжести в голове. Всякий раз Лизель ловила его на этом, но в ней не было ни бескорыстия дать ему уснуть, ни наглости обидеться. Она была девочкой, которой надо взобраться на гору.

Наконец, когда темнота за окном начала понемногу разламываться, они закончили. Последняя фраза была такая:

От лица Баварской ассоциации кладбищ выражаем надежду, что развлекли вас и просветили в том, что касается работы, техники безопасности и обязанностей могильщицкого дела.

Желаем вам всяческих успехов в вашей карьере в похоронном искусстве и надеемся, что наша книга вам в чем-то поможет.

Книга захлопнулась, и они искоса переглянулись. Заговорил Папа:

— Осилили, а?

Лизель, до плеч замотавшись в одеяло, взяв книгу в руку, разглядывала черную обложку с серебряным тиснением. Она кивнула — с пересохшим ртом и по-утреннему голодная. Одно из тех мгновений абсолютной усталости и преодоления не только урочной работы, но и ночи, что преграждала путь.

Папа потянулся, сжав кулаки и до скрежета зажмурив глаза, а утро не посмело оказаться хмурым. Папа и Лизель встали и отправились на кухню — и сквозь туман и замерзшее окно увидели розовые полосы света на снежных берегах крыш Химмель-штрассе.

— Смотри, какие краски, — сказал Папа. Трудно не проникнуться к человеку, который не только замечает краски, но и говорит ими.

Лизель еще держала книгу в руках. Она стиснула ее крепче, когда снег окрасился в оранжевый. На одной из крыш Лизель увидела мальчишку — он сидел и смотрел на небо.

— Его зовут Вернер, — заметила она. Слова выскочили сами, невольно.

Папа сказал:

— Да.

Проверок по чтению школе пока больше не было, но Лизель, постепенно набираясь уверенности, однажды утром перед уроком подобрала чей-то забытый учебник — испробовать, удастся ли почитать в нем без запинки. Она сумела прочесть там все слова, но все равно еле плелась в сравнении с любым из одноклассников. Уметь почти, поняла она, гораздо легче, чем уметь на самом деле. Но не все сразу.

Однажды в школе Лизель так и подмывало стащить книжку с классной полки, но, сказать по совести, предвидение нового «варчена» в коридоре от рук сестры Марии все-таки отпугнуло ее. И вдобавок у Лизель не было настоящей охоты брать книги из школы. Скорее всего, причиной неохоты был тот сокрушительный ноябрьский провал, но тут Лизель не знала точно. Только знала, что охоты нет.

В классе она не разговаривала.

Она даже взглянуть боялась не туда.

Установилась зима, и Лизель больше не попадалась сестре Марии под горячую руку — предпочитала наблюдать, как в коридор выводят других, и те получают заслуженную награду. Звуки борений очередного ученика в коридоре не особо веселили, но то, что там *кто-то другой*, если не утешало, то, по крайней мере, приносило облегчение.

Когда школа ненадолго остановилась на *Weihnachten*,⁶ Лизель даже сподобилась на «с Рождеством» для сестры Марии, прежде чем отправиться по своим делам. Понимая, что Хуберманы, в сущности, нищие, и, едва успевают завестись какие-то деньги, как уже надо платить долги и квартплату, Лизель не ждала никакого подарка. Разве что еда будет повкуснее. К ее удивлению, в сочельник, вернувшись из церкви, где они сидели с папой и мамой, Гансом-младшим и Трудой, Лизель нашла под елкой что-то завернутое в газету.

— От Святого Никлауса, — сказал Папа, но Лизель было не провести. Она обняла

⁶ Рождественские празднества (нем.).

обоих приемных родителей, не успел снег растаять у нее на плечах.

Размотав бумагу, Лизель вынула две небольшие книжки. Первую, «Пес по имени Фауст», написал человек по имени Маттеус Оттлеберг. Эту книгу Лизель прочтет в общем и целом тринадцать раз. В сочельник, сидя за кухонным столом, она прочла первые двадцать страниц, пока Папа и Ганс-младший спорили о чем-то ей непонятном. Под названием «политика».

Потом они с Папой продолжили чтение в постели, соблюдая традицию обводить слова, которых Лизель не знала, и выписывать их. В «Псе Фаусте» были и картинки — чудные завитки, и уши, и смешные портреты немецкой овчарки, страдавшей неприличной слюнявостью и умевшей разговаривать.

Вторая книжка называлась «На маяке», и ее написала женщина, Ингрид Риппинштайн. Эта вторая книга была подлиннее, так что Лизель прочтет ее только девять раз и после столь плодотворных стараний немного улучшит навыки чтения.

Прошло несколько дней после Рождества, когда Лизель спросила об этих книгах. Все сидели на кухне, ели. Глядя, как в Мамин рот ложка за ложкой отправляется гороховый суп, Лизель решила перенести внимание на Папу.

— Я хочу о кое-чем спросить.

Сначала молчание.

— Ну?

Это была Мама — рот еще наполовину занят супом.

— Хочу спросить, откуда вы взяли денег мне на книги.

В Папину ложку скользнула короткая усмешка.

— Правда интересно?

— Конечно.

Из кармана Папа добыл то, что осталось от его табачного пайка и стал сворачивать самокрутку, чего Лизель уже не могла вытерпеть.

— Вы мне скажете или нет?

Папа рассмеялся:

— Но я же и *рассказываю* тебе, дитё. — Он управился с производством самокрутки, выкатил ее на стол и принялся за новую. — Вот так вот.

Тут и Мама с лязгом доела суп, подавила картонную отрыжку и ответила за Папу.

— Этот свинух, — сказала она. — Знаешь, что он сделал? Накрутил весь свой вшивый табак, пошел на ярмарку, когда она была в городе, и сменял у какого-то цыгана.

— Восемь самокруток книжка. — Папа торжествующе сунул одну в рот. Прикурил и глотнул дыму. — Хвала господу за самокрутки, а, Мама?

Та лишь отвесила ему один из фирменных взглядов отвращения, сопроводив его самой обычной пайкой своего словаря:

— Свинух!

Лизель по обыкновению перемигнулась с Папой и доела суп. Как всегда, одна из книг лежала рядом с ней. Девочка не могла не признать, что получила на свой вопрос более чем удовлетворительный ответ. Немного найдется людей, которые могли бы похвастать, что за их образование заплачено самокрутками.

Мама, со своей стороны, сказала, что Ганс Хуберман, будь в нем хоть капля смысла, часть табака обменял бы на новое платье, которое ей до зарезу нужно, или на приличные туфли.

— Куда там... — Мама выплеснула слова в раковину. — Как до меня доходит, ты лучше скуришь весь паек, нет? Да еще и соседский в придачу.

Однако через несколько вечеров Ганс Хуберман вернулся домой с коробкой яиц.

— Прости, Мама. — Он поставил коробку на стол. — Туфли у них все вышли.

Мама не стала жаловаться.

Она даже тихонько напевала, пока жарила те яйца едва ли не до обугливания. Казалось, самокрутки приносят немало радости, и в хозяйстве Хуберманов настали счастливые дни.

Закончились они через несколько недель.

ГОРОДСКОЙ ОБХОДЧИК

Со стиркой дело стало паршиво — и чем дальше, тем хуже.

Когда Лизель пошла с Розой Хуберман через Молькинг с бельем, один из клиентов, Эрнст Фогель, сообщил им, что больше не может отдавать вещи в стирку и глажку.

— Такое время, — извинился он. — Что тут скажешь? А будет еще труднее. Война, надо держаться. — Он посмотрел на девочку. — Вам, конечно, платят пособие на эту малютку, да?

Мама, к ужасу Лизель, будто онемела.

Рядом — пустой мешок.

Идем, Лизель.

Это не сказано было. Это было дернуто — жесткой рукой.

Фогель окликнул их с крыльца. Роста он был, наверное, под метр семьдесят, и сальные космы безжизненно свисали ему на лоб.

— Извините меня, фрау Хуберман!

Лизель махнула ему.

Он махнул в ответ.

Мама вспыхнула.

— Не маши этому засранцу, — сказала она. — Давай, шевелись.

Тем вечером, моя Лизель в ванне, Мама особенно крепко скребла ее и все время бормотала про «этого свинуха Фогеля» и каждые две минуты изображала его.

— *«Вам должны платить пособие на эту девочку...»* — Растирая, она бранила голую грудь Лизель. — *«Столько ты не стоишь, свинюха. На тебе не разбогатеешь, так-то!»*

Лизель сидела и впитывала.

С этого знаменательного случая прошло не больше недели, когда Роза вызвала девочку на кухню.

— Так, Лизель. — Посадила ее к столу. — Раз уж ты по полдня болтаешься на улице, футбол пинаешь, можешь и делом там заняться. Для разнообразия.

Лизель устала только на свои руки.

— Что такое, Мама?

— Будешь теперь собирать и разносить стирку вместо меня. Этим богатеям не так легко будет нам отказать, если перед ними будешь стоять ты одна. А если спросят, где я, отвечай, что болею. И будь грустной, когда отвечаешь. Ты тощая, бледная, они тебя пожалеют.

— Герр Фогель меня не пожалел.

— Ну... — Мамино смятение было очевидно. — А другие *могут*. И нечего спорить.

— Да, Мама.

Секунду-другую казалось, что ее приемная мать сейчас приободрит Лизель, потреплет по плечу.

Вот и умничка, Лизель. Умничка. Хлоп, хлоп, хлоп.

Ничего подобного она не сделала.

Вместо этого Роза Хуберман встала, выбрала деревянную ложку и поднесла к носу Лизель. По ее убеждению, это было необходимо.

— Когда пойдешь, заходи с мешком в каждый дом и потом носи его сразу домой, *вместе* с деньгами, пусть их там всего ничего. Никаких заходов к Папе, если он вдруг в кои-то веки работает. Никаких лазаний в грязи с этим мелким свинухом Руди Штайнером. Сразу. Домой.

— Да, Мама.

— И когда возьмешь мешок, держи его *как следует*. Не размахивать, не мять и не

закидывать на плечо.

— Да, Мама!

— «Да, Мама». — Роза Хуберман была выдающимся имитатором — и ревностным в придачу. — Смотри мне, свинюха. Я узнаю, если будешь размахивать, не сомневайся.

— Да, Мама!

Два эти слова часто оказывались лучшим способом спастись, а другой способ — делать, что говорят, и с того дня Лизель стала обходить улицы Молькинга с бедного конца на богатый, собирая и разнося белье. Поначалу труд был одинокий, хотя Лизель ни разу не пожаловалась. В конце концов, когда Лизель в самый первый раз вышла с бельем в город, она, едва свернув на Мюнхен-штрассе, оглянулась по сторонам и как следует — описав полный круг — взмахнула мешком, а потом проверила, как там содержимое. По счастью, никаких складок. Никаких морщин. И тогда — улыбка и обещание больше никогда не размахивать.

В общем, Лизель нравилось. Доли от платы ей не доставалось, но — не торчать дома и ходить по улицам без Мама само по себе уже блаженство. Без тычков пальцем и проклятий. И люди не пьются, когда Мама ругает за то, что неправильно несешь белье. Сплошная безмятежность.

И еще Лизель стали нравиться люди:

Пфаффельхурферы — как они осматривают вещи и говорят: «Ja, ja, sehr gut, sehr gut!» Лизель представляла, что они все делают по два раза.

Кроткая Хелена Шмидт — как она подает деньги ревматически скрюченной рукой.

Вайнгартнеры, чья вислоусая кошка все время выходит с ними к дверям. Маленький Геббельс — так они ее звали, по имени первого помощника Гитлера.

И фрау Герман, жена бургомистра, — как она стоит пушистоволосая и дрожащая в огромном, холодом веющем дверном проеме. Всегда безмолвная. Всегда одна. Ни слова, ни разу.

Иногда с ней ходил Руди.

— Сколько у тебя тут денег? — спросил он однажды ближе к вечеру. Уже почти стемнело, и они выходили на Химмель-штрассе, мимо лавки. — Ты же слыхала про фрау Диллер, да ведь? Говорят, у нее есть тайник с леденцами, и за нужную цену...

— И думать не смей! — Лизель, как всегда, крепко сжимала деньги в кулаке. — Тебе-то не страшно — не тебе перед моей Мамою отчитываться.

Руди пожал плечами:

— Попытка не пытка!

В середине января на уроках в школе проходили составление писем. После обучения основам каждый ученик должен был написать два письма — одно другу и одно — кому-нибудь из параллельного класса.

Письмо Руди к Лизель было написано так:

Дорогая свинюха,
ты по-прежнему такая же никудышная на футбольном поле, какая была, когда мы играли прошлый раз? Надеюсь, что да. Значит, я опять тебя обгоню, как Джесси Оуэнз на Олимпиаде...

Когда сестра Мария увидела это, она задала Руди вопрос — очень дружелюбно.

*** * * ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕСТРЫ МАРИИ * * ***
«Не желаете ли посетить коридор, герр Штайнер?»

Нечего и говорить, что Руди ответил отрицательно, письмо порвали, и он начал новое. На этот раз оно было адресовано кому-то по имени Лизель, и автор интересовался, есть ли у

Лизель хобби, и какое.

Дома, составляя письмо, заданное на дом, Лизель решила, что писать Руди или еще какому-нибудь свинуху было бы, конечно, смешно. Какой смысл? Сидя над письмом в подвале, она заговорила с Папой, который в очередной раз перекрашивал стену.

Папа обернулся вместе с облаком паров краски:

— Was wuistz? — Это была самая грубая форма немецкого, на которой только можно разговаривать, но сказано это было с видом полнейшего довольства. — Ну, чего?

— Я смогу написать письмо маме?

Молчание.

— Зачем тебе понадобилось писать ей письмо? Тебе и так приходится терпеть ее каждый день. — Папа усмехнулся лукаво — дал «шмунцеля».⁷ — Тебе этого мало?

— Не этой маме. — Лизель сглотнула.

— А. — Папа отвернулся к стене и продолжил красить. — Ну, наверное. Можно отослать его, как там ее — маме, которая привезла тебя сюда и потом приезжала несколько раз — из конторы по опеке.

— Фрау Генрих.

— Ну да. Отправь ей. Может, она сможет переслать его твоей маме.

Даже в тот момент прозвучало неубедительно — как будто он что-то недоговаривал. Во время коротких визитов фрау Генрих о матери Лизель не проронила ни слова.

Не спросив Папу, что здесь не так, Лизель тут же принялась писать, решив не отзываться на дурное предчувствие, которое тут же в ней зашевелилось. Чтобы довести письмо до ума, потребовалось три часа и шесть черновиков: чтобы рассказать маме все о Молькинге, о Папе и его аккордеоне, о странных, но честных повадках Руди Штайнера и о подвигах Розы Хуберман. Еще Лизель писала, как она гордится тем, что теперь умеет читать и немного писать. На следующий день она опустила письмо в ящик у фрау Диллер, наклеив марку, добытую из кухонного стола. И стала ждать.

В тот вечер, сидя над письмом, Лизель подслушала разговор между Гансом и Розой.

— Чего это она взялась писать матери? — говорила Мама.

Голос у нее был на удивление спокойный и заботливый. Как вы можете понять, Лизель это немало встревожило. Ей больше понравилось бы, если бы приемные родители спорили. Когда взрослые шепчутся, это как-то не добавляет спокойствия.

— Она спросила, — отвечал Папа, — не мог же я сказать нет. Верно?

— Езус, Мария и Йозеф! — Снова шепот. — Ей надо забыть ее, и все. Кто знает, где она теперь? Кто знает, что они с ней сделали?

В кровати Лизель крепко обхватила себя руками. Собрала себя в комок.

Она думала о матери и повторяла Мамины вопросы.

Где она?

Что с ней сделали?

И кто, наконец, на самом деле, эти *они*?

МЕРТВЫЕ ПИСЬМА

Перенесемся вперед — сентябрь 1943-го, подвал Хуберманов.

Четырнадцатилетняя девочка пишет в маленькой книжке с темной обложкой. Девочка худенькая, но она сильная и немало повидала. Папа сидит с аккордеоном у ног.

Он говорит:

— А знаешь, Лизель? Я почти написал тебе ответ и подписался «мама». — Папа чешет ногу там, где раньше был гипс. — Но все-таки не смог. Не смог себя заставить.

⁷ От нем. schmunzeln — насмехаться.

Несколько раз за остаток января и целый февраль 1940 года, когда Лизель проверяла почтовый ящик, нет ли ответа на ее письмо, сердце ее приемного отца явственно обливалось кровью.

— Жаль! — говорил он ей. — Сегодня нету, а?

Это позже Лизель поняла, что вся затея была бессмысленна. Если б мама могла, она бы давно связалась с людьми из опеки, или с самой Лизель, или с Хуберманами. Но ничего этого не случилось.

Обида стала еще горше, когда в середине февраля Лизель получила письмо от одних глажечных клиентов — Пфаффельхурферов с Хайде-штрассе. Эти двое с великой долговязостью стояли в дверях, меланхолично оглядывая Лизель.

— Твоей маме, — сказал мужчина, протягивая конверт. — Передай, что нам жаль. Передай, что нам жаль.

В доме Хуберманов то был не лучший вечер.

Даже когда Лизель скрылась в подвале сочинять пятое письмо матери (все, кроме первого, еще предстоит отослать), ей были слышны ругательства Розы: она распространялась насчет этих засранцев Пфаффельхурферов и этой вшивоты Эрнста Фогеля.

— Feuer soll'n's brunzen für einen Monat! — было слышно ей. Перевод: «Чтоб они все месяц огнем мочились!»

Лизель писáла.

Когда наступил день ее рождения, подарков не было. Подарков не было, потому что не было денег, и в тот момент у Папы закончился табак.

— Я тебе говорила. — Мама ткнула в него пальцем. — Я говорила не дарить обе книги на Рождество. Так нет ведь. Разве ты послушал? *Разумеется*, нет!

— Знаю, знаю! — Он спокойно повернулся к Лизель. — Прости, Лизель. Сейчас мы не можем себе позволить.

Лизель не огорчилась. Не захныкала и не застонала, не затопала ногами. Она лишь проглотила разочарование и решила на просчитанный риск — подарок самой себе. Она соберет все накопившиеся письма к матери, засунет в один конверт и возьмет самую капельку бельевых денег на отправку. Потом, конечно, она получит «варчен», вероятнее всего — на кухне, но не проронит ни звука.

Через три дня замысел дал плоды.

— Здесь не все! — Мама сочла деньги в четвертый раз, а Лизель стояла рядом, у плиты. Плита была теплая, и оттого кровь у Лизель варилась быстрее. — Что случилось, Лизель?

Она соврала:

— Наверное, они дали меньше, чем обычно.

— А ты пересчитывала?

Она сдалась:

— Я их потратила, Мама.

Роза подошла ближе. Нехороший знак. Она оказалась совсем рядом с деревянными ложками.

— Ты — что?

Не успела Лизель и слова сказать, как деревянная ложка опустилась на ее тело, словно пята Бога. Красные отпечатки, будто следы ног, и они жгут. С полу, когда все закончилось, девочка наконец подняла взгляд и все объяснила.

Биение пульса и желтые сполохи, все вместе. Лизель поморгала.

— Я отправила письма.

В следующий миг на нее нашло: запыленность пола, ощущение, будто одежда, скорее, рядом с ней, а не на ней, и внезапное понимание того, что все было напрасно — ответ от матери не придет никогда, и они больше никогда не увидятся. Истинность этого стала ее

вторым «варченом». Боль обожгла Лизель и не отпускала долгие минуты.

Роза наверху будто расплылась, но скоро прояснилась вновь — картонное лицо замаячило ближе. Обескураженная, стояла она там во всей своей пухлоте, держа деревянную ложку у бедра, как дубину. Роза наклонилась и дала небольшую течь.

— Прости, Лизель.

Лизель довольно знала Розу и поняла, что это не за выволочку.

Красные отпечатки разбухали пятнами на ее коже, а она все лежала — в пыли, в грязи, в слепом свете. Дыхание успокоилось, и по лицу проползла одинокая желтая слеза. Лизель чувствовала телом пол. Рукой, коленом. Локтем. Щекой. Икрой.

Пол был холодный, особенно под щекой, но двинуться она не могла.

Ей больше никогда не увидеть мать.

Около часа она пластом лежала под кухонным столом, пока не вернулся Папа и не заиграл на аккордеоне. Только тогда Лизель села и начала приходить в себя.

Когда Лизель стала писать о том вечере, у нее не было никакой злости на Розу Хуберман — да и на мать, к слову, тоже. Для нее они были просто жертвы обстоятельств. Только одна мысль повторялась все время — желтая слеза. Будь там темно, думала Лизель, слеза была бы черная.

— Но и *было* темно, — говорила она себе.

И сколько бы раз ни старалась она представить ту сцену при желтом свете, который, насколько ей было известно, там горел, ей приходилось постараться, чтобы все увидеть. Ее отдубасили в темноте, и там она лежала, на холодном, темном кухонном полу. Даже Папина музыка была цвета тьмы.

Даже Папина музыка.

Странность в том, что Лизель эта мысль не расстраивала, а, скорее, как-то неявно утешала.

Тьма, свет.

Какая разница?

Страшные сны укрепились и там, и там, лишь только книжная воришка начала понимать, как все обстоит и как теперь будет всегда. И если другого не оставалось, она хотя бы могла подготовиться. И может, потому на день рождения фюрера, когда ответ на вопрос о бедствиях матери полностью обнажился, Лизель сумела ответить, несмотря на все смятение и гнев.

Лизель Мемингер созрела.

С днем рождения, герр Гитлер.

Живите сто лет.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГИТЛЕРА, 1940 г.

Вопреки всей безнадежности Лизель каждый день проверяла почтовый ящик — весь март с заходом далеко в апрель. Все это несмотря на испрошенный Гансом визит фрау Генрих из государственной опеки, которая объяснила Хуберманам, что ее учреждение полностью утратило связь с Паулой Мемингер. А девочка все равно упрямылась и, как вы можете представить, день за днем, проверяя почту, не находила ничего.

Молькинг, как и всю остальную Германию, захватила подготовка ко дню рождения фюрера. В том году при сложившемся положении на фронтах и всех победах Гитлера местные партийные активисты хотели, чтобы празднование вышло особенно достойным. Будет парад. Марши. Музыка. Песни. Будет костер.

Пока Лизель обходила улицы Молькинга, доставляя и собирая стирку-глажку, национал-социалисты копили топливо. Пару раз Лизель своими глазами видела, как мужчины и женщины стучали в двери и спрашивали, нету ли чего такого, с чем, хозяину кажется, нужно покончить или что нужно уничтожить. В «Молькинском Экспрессе» у Папы было написано, что на городской площади состоится праздничный костер, туда придут все

местные отряды Гитлерюгенда. Костер ознаменует не только день рождения фюрера, но и победу над его врагами и освобождение от уз, которые удерживали Германию со времен окончания Первой мировой.

* * *

«Любые материалы с тех времен, — советовали в статье, — плакаты, книги, флаги, газеты — и любую найденную вражескую пропаганду нужно сразу нести в местный штаб НСДАП на Мюнхен-штрассе».

Даже Шиллер-штрассе, улицу желтых звезд, которая еще ждала перестройки, обшарили еще раз напоследок, выискивая что-нибудь, хоть что-то, дабы сжечь во имя и во славу фюрера. Не вызвало бы удивления, даже если бы кое-кто из партийных поехал и где-нибудь отпечатал тысячу-другую книжек или плакатов морально-разлагающего содержания, только ради того чтобы их предать огню.

Все было готово для великолепного 20 апреля. Это будет день сожжений и радостных воплей.

И книжного воровства.

В доме Хуберманов в то утро все снова шло как обычно.

— Этот свинух опять смотрит в окно, — ругалась Роза Хуберман. — *Каждый* божий день, — не замолкала она. — Ну что ты там теперь высматриваешь?

— О-о, — простонал Папа с восторгом. На спину ему сверху окна свисал флаг. — Надо и тебе взглянуть на эту даму. — Он оглянулся через плечо и ухмыльнулся Лизель. — Прямо хоть выскочить и бежать за ней. Ты ей в подметки не годишься, Мама.

— Schwein! — Мама погрозила Папе деревянной ложкой. — Вот свинья!

А тот продолжал смотреть в окно на несуществующую даму и очень даже существующий коридор из германских флагов.

В тот день каждое окно на улицах Молькинга украсилось во славу фюрера. В некоторых местах, вроде лавки фрау Диллер, окна были рьяно вымыты, флаги новехоньки, а свастика смотрелась как брильянт на красно-белом одеяле. В других флаги свисали с подоконников, как сохнувшее белье. Но все же были.

С утра случился небольшой переполох. Хуберманы не могли найти свой флаг.

— За нами придут, — заверила Мама мужа. — Нас заберут. — Кто? Они. — Надо найти!

Уже казалось, что Папе придется пойти в подвал и нарисовать флаг на холстине. К счастью, флаг все-таки нашелся, похороненный в шкафу за аккордеоном.

— Этот адский аккордеон, загораживал мне всю видимость! — Мама крутанулась на пятках. — Лизель!

Девочке доверили честь приколоть флаг к оконной раме.

Ближе к полудню приехали Ганс-младший и Труди — на домашний обед, как они это делали на Рождество и Пасху. По-моему, теперь подходящий момент представить их пообстоятельнее:

У Ганса-младшего были отцовские глаза и рост. Вот только серебро в его глазах было не теплое, как у Папы, — там уже профюрерили. Еще у него было побольше мяса на костях, колючие светлые волосы и кожа, как белесая краска.

Труди, или Трудель, как ее часто называли, была лишь на пару-другую сантиметров выше Мама. Ей досталась плачевная утиная походка Розы Хуберман, но в остальном она была заметно тоньше. Живя прислугой в богатой части Мюнхена, она, скорее всего, уставала

от детей, но всегда умела найти хотя бы несколько улыбочивых слов для Лизель. У нее были мягкие губы. Тихий голос.

Ганс и Труды приехали вместе на мюнхенском поезде, и совсем скоро ожили старые трения.

*** * *КОРОТКАЯ ИСТОРИЯ О ПРОТИВОСТОЯНИИ ГАНСА ХУБЕРМАНА С
СЫНОМ * * ***

Молодой человек был фашист; его отец — не был.

В глазах Ганса-младшего отец был частью прежней дряхлой Германии — той, которая любому дает себя в пресловутый оборот, пока ее собственный народ страдает.

Он рос, зная, что отца называют «Der Juden Maler» — еврейский маляр — за то, что красит дома евреям.

Потом произошел один случай, который я скоро опишу вам полностью, — день, когда Ганс-старший все просвистел уже на самом пороге вступления в Партию.

Всякому ясно, что ни к чему закрашивать грязные слова, написанные на фасадах еврейских лавок. Такое поведение вредит Германии и вредит самому отступнику.

— Ну так что, тебя еще не приняли? — Ганс-младший начал с того, на чем они остановились в Рождество.

— Куда?

— Ну догадайся — в Партию!

— Нет, думаю, про меня забыли.

— Ну а ты обращался хоть раз с тех пор? Нельзя же вот так сидеть и ждать, пока тебя не догонит новый мир. Надо пойти и самому стать его частью — невзирая на прошлые ошибки.

Папа поднял глаза:

— Ошибки? В жизни я много ошибался, но уж не тем, что не вступил в фашистскую партию. Мое заявление у них — ты знаешь, — но я не пойду снова проситься. Я просто...

Тут-то и пришел большой озноб.

Он влетел в окно, гарцуя на сквозняке. Может, то было дуновение Третьего Рейха, набирающее все большую силу. А может, просто все та же Европа, ее дыхание. То или другое, но оно овеяло старшего и младшего Хуберманов в тот миг, когда их металлические глаза столкнулись, как оловянные кастрюли.

— Тебе всегда было плевать на страну! — сказал Ганс-младший. — Тебе она безразлична.

Папины глаза стало разъедать. Ганса-младшего это не остановило. Чего-то ради он посмотрел на девочку. Торчком расставив на столе три свои книжки, будто для разговора, Лизель беззвучно шевелила губами, читая в одной.

— И что за дрянь читает девчонка? Ей нужно читать «Майн кампф».

Лизель подняла глаза.

— Не беспокойся, Лизель, — сказал Папа. — Читай, читай. Он не понимает, что говорит.

Но Ганс-младший не сдавался. Он подступил ближе и сказал:

— Или ты с фюрером, или против него — и я вижу, что ты против. С самого начала был. — Лизель следила за лицом Ганса-младшего, не отрывая глаз от его тощих губ и твердокаменного ряда нижних зубов. — Жалок человек, который может стоять в сторонке, сложа руки, когда вся нация выбрасывает мусор и идет к величию.

Труды и Мама сидели молча и напуганно, Лизель — тоже. Пахло гороховым супом, что-то горело, и согласия не было.

Все ждали следующих слов.

Их произнес сын. Всего два.

— Ты — трус. — Он опрокинул их Папе в лицо и немедленно вышел вон из кухни, из дома.

Вопреки всей бесполезности, Папа вышел на порог и закричал вслед сыну:

— Трус? Я трус?!

Он бросился к калитке и, словно умоляя, побежал за сыном. Роза метнулась к окну, сорвала флаг и распахнула створки. Мама, Труди и Лизель столпились у окна и смотрели, как отец нагнал сына и схватил за руку, умоляя остановиться. Слышно ничего не было, но движения вырывавшегося Ганса-младшего кричали довольно громко. А фигура Папы, когда он глядел вслед Гансу, просто ревела им с улицы.

— Ганси! — позвала наконец Мама. И Труди, и Лизель поежились от ее голоса. — Вернись!

Мальчик ушел.

Да, мальчик ушел, и я был бы рад сообщить вам, что у молодого Ганса Хубермана все сложилось хорошо, но это не так.

Испарившись в тот день во имя фюрера с Химмель-штрассе, он помчался сквозь события другой истории, и каждый шаг неминуемо приближал его к России.

К Сталинграду.

*** * * НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТАЛИНГРАДЕ * * ***

- 1. В 1942-м и в начале 1943-го небо в этом городе каждое утро выцветало до белой простыни.**
- 2. Весь день напролет, пока я переносил по небу души, простыню забрызгивало кровью, пока она не пропитывалась насквозь и не провисала до земли.**
- 3. Вечером ее выжимали и вновь отбеливали к следующему рассвету.**
- 4. И все это, пока бои шли только днем.**

Когда сын скрылся из виду, Ганс Хуберман постоял еще несколько секунд. Улица казалась такой большой.

Когда Папа вновь появился на кухне, Мама уперлась в него пристальным взглядом, но они не обменялись ни словом. Она ничем не упрекнула его, что было, как вы понимаете, весьма необычно. Может, решила, что Папа и так страдает, получив ярлык труса от единственного сына.

Когда все поели, Папа еще посидел молча за столом. Был ли он в самом деле трусом, о чем столь грубо объявил его сын? Разумеется, на Первой мировой Ганс им себя считал. И трусости приписывал то, что остался в живых. Но полно, разве признаться в том, что боишься, — это трусость? Радоваться тому, что жив — трусость?

Его мысли чертили зигзаги по столешнице, в которую он глядел.

— Папа? — позвала Лизель, но тот даже не взглянул. — О чем он говорил? Что он имел в виду, когда...

— Ни о чем, — ответил Папа. Он говорил, тихо и спокойно, столу. — Ничего. Не думай про него, Лизель. — Прошла, наверное, целая минута, прежде чем он снова открыл рот. — Тебе не пора собираться? — Теперь уже он смотрел на Лизель. — Разве тебе не надо на костер?

— Да, Папа.

Книжная воришка пошла и переделалась в свою форму Гитлерюгенда, и спустя полчаса они вышли и зашагали к отделению БДМ. Оттуда детей поотрядно отведут на городскую площадь.

Прозвучат речи.

Загорится костер.

Будет украдена книга.

СТОПРОЦЕНТНО ЧИСТЫЙ НЕМЕЦКИЙ ПОТ

Люди стояли вдоль улиц, пока юность Германии маршировала к ратуше и городской площади. Не раз и не два Лизель забывала и о матери, и обо всех других бедах, которые на то время пребывали в ее владении. У нее что-то разбухало в груди, когда люди на улицах принимались хлопать. Некоторые дети махали родителям, но быстренько — им дали четкое указание шагать вперед *и не смотреть и не махать* зрителям.

Когда на площадь вышел отряд Руди и получил команду остановиться, возникла накладочка. Томми Мюллер. Остальной отряд встал, и Томми с ходу врезался в переднего мальчика.

— Dummkopf! — прошипел передний мальчик, прежде чем обернуться.

— Прости, — сказал Томми, умоляюще воздев руки. Лицо у него задержалось целиком. — Я не услышал!

Всего лишь небольшая заминка, но еще и прелюдия грядущих неприятностей. Для Томми. Для Руди.

Когда марш закончился, всем отрядам Гитлерюгенда позволили разойтись. Иначе будет почти невозможно сдержать детей в строю, когда костер, будоража, разгорится у них в глазах. Сообща все прокричали единогласный «хайль Гитлер» и получили свободу бродить. Лизель высматривала Руди, но лишь толпа детей рассыпалась, девочка потерялась в мешанине форменных одежек и звенящих выкриков. Дети окликали друг друга со всех сторон.

К половине пятого воздух заметно остыл.

Люди шутили, что неплохо бы погреться.

— Все равно этот хлам ни на что больше не сгодится.

Хлам свозили в кучу на тачках. Сваливали в середине городской площади и поливали чем-то сладким. Книги, бумага и другие вещи соскальзывали или обваливались с кучи, их тут же закидывали обратно. С расстояния куча походила на что-то вулканическое. Или причудливое и нездешнее, непостижимым образом приземлившееся на середине площади, — такое, что нужно прихлопнуть, и поскорее.

Вылитый на кучу запах наваливался на толпу, которую держали на порядочном расстоянии. Там было здорово за тысячу душ: на мостовой, на ступенях ратуши, на крышах домов, окружающих площадь.

Когда Лизель стала протискиваться вперед, послышался какой-то треск, и она решила, что костер уже занялся. Но нет. Звук был от оживленной толпы, бурлящей, взбудораженной.

Начали без меня!

И хотя какой-то внутренний голос шептал ей, что это преступление — в конце концов, три книги были у нее самой большой драгоценностью, — ей обязательно хотелось увидеть, как загорится куча. Она не могла удержаться. По-моему, людям нравится немного полюбоваться разрушением. Песочные замки, карточные домики — с этого и начинают. Великое умение человека — его способность к росту.

Боязнь не увидеть главного схлынула, когда Лизель нашла брешь в телах и сквозь нее увидела холм греха, все еще нетронутый. Его тыкали, поливали и даже плевали на него. Он показался Лизель никому не нужным ребенком, брошенным и растерянным, бессильным изменить свою участь. Никому он не нравится. Взгляд в землю. Руки в карманах. Навеки. Аминь.

Части и крошки продолжали осыпаться к подножию, а Лизель выискивала Руди. Где же этот свинух?

Небо, когда Лизель посмотрела вверх, ежилось.

Фашистские флаги и форменные рубашки возносились по всему горизонту и кромсали обзор всякий раз, когда Лизель пробовала заглянуть через голову какого-нибудь ребенка пониже. Все было тщетно. Толпа как она есть. Ее было не раскатать, сквозь нее не протиснуться, ее не убедить. Каждый с толпой дышал и пел ее песни. И ждал ее костра.

С помоста какой-то человек потребовал тишины. На нем была коричневая форма с иголки. От нее, можно сказать, еще не отняли уют. Началась тишина.

Его первые слова:

— Хайль Гитлер!

Его первое действие: салют фюреру.

— Сегодня прекрасный день, — продолжил оратор. — Это не только день рождения нашего великого вождя, но мы снова дали отпор врагам. Мы не дали им проникнуть в наши умы...

Лизель все пыталась протиснуться вперед.

— Мы положили конец заразе, которая распространялась по Германии двадцать последних лет, если не дольше!

Теперь он исполнял то, что называлось *Schreierei* — виртуозную демонстрацию страстных выкриков, — призывая слушателей быть бдительными, быть зоркими, замечать и пресекать злодейские козни, цель которых — подло заразить прекрасную родину.

— Безнравственные! Kommunisten! — Опять это слово. То старое слово. Сумрачные комнаты. Пиджачные люди. — Die Juden! Евреи!

* * *

Лизель сдалась на середине речи. Как только слово «коммунист» зацепило ее, продолжение фашистской декламации потекло мимо, по бокам, теряясь где-то в обступавших Лизель немецких ногах. Водопады слов. Девочка, барахтающаяся в потоке. Лизель снова задумалась. Kommunisten.

До сих пор на занятиях в БДМ им говорили, что немцы — это высшая раса, но никаких других конкретно не упоминали. Конечно, все знали о евреях, поскольку те были главным *преступником* в смысле разрушения германского идеала. Однако ни разу до сего дня не упоминались коммунисты, несмотря на то, что люди с такими политическими взглядами тоже подлежали наказанию.

Ей надо выбраться.

Впереди Лизель абсолютно неподвижно сидела на плечах голова с расчесанными на пробор светлыми волосами и двумя хвостиками. Уставившись на нее, Лизель снова бродила по тем сумрачным комнатам своего прошлого, и ее мать отвечала на вопросы, сделанные из одного слова.

Лизель видела все это так ясно.

Изголодавшаяся мать, пропавший без вести отец. Kommunisten.

Неживой брат.

— И теперь мы говорим «прощай!» всему этому мусору, этой отраве.

За миг до того, как Лизель Мемингер с отворачиванием развернулась, чтобы выбраться из толпы, сияющее коричневорубашечное создание шагнуло с помоста. Приняв от подручного факел, человек зажег кучу, которая всей своей преступностью превращала его в гнома.

— Хайль Гитлер!

Публика:

— Хайль Гитлер!

Толпа мужчин двинулась от помоста и окружила кучу, поджигая ее, к общему горячему одобрению. Голоса карабкались по плечам, и запах чистейшего немецкого пота, что

поначалу сдерживался, теперь струился вовсю. Он обтекал угол за углом — и вот уже все плавали в нем. Слова, пот. И улыбки. Не стоит забывать про улыбки.

Посыпались шуточные замечания, прошла новая волна «хайльгитлера». Знаете, вот мне интересно: ведь со всем этим кто-нибудь мог лишиться глаза, повредить палец или руку. Всего-то и надо — в неудачный момент обернуться лицом не в ту сторону или стоять чуточку ближе, чем нужно, к другому человеку. Наверное, кого-то и ранило так. От себя могу сказать вам, что никто от этого не погиб — по крайней мере физически. Разумеется, было около сорока миллионов душ, которых я собрал к тому времени, как вся заваруха закончилась, но это уже метафоры. Теперь давайте вернемся к нашему костру.

Рыжие пламя приветливо махало толпе, а в нем растворялись бумага и буквы. Горящие слова, выданные из предложений.

По другую сторону сквозь текущий жар можно было разглядеть коричневые рубашки и свастики — они взялись за руки. Людей видно не было. Только форму и знаки.

Над головами чертили круги птицы.

Они кружили, зачем-то слетаясь на зарево — пока не спускались слишком близко к жару. Или то были люди? Положительно, дело было не в тепле.

За попыткой убежать ее застиг голос.

— Лизель!

Голос пробился к ней, и она его узнала. Не Руди, но знакомый.

Лизель вывернулась и двинулась на голос, разыскивая связанное с ним лицо. Ох, нет. Людвиг Шмайкль. Вопреки ее ожиданиям, он не стал насмешничать или шутить и вообще не завел никакого разговора. Он смог лишь подтянуть Лизель к себе и показал на свою лодыжку. В суматохе ее разбили, и она темно и зловеще кровоточила сквозь носок. На лице мальчика под спутанными светлыми волосами была беспомощность. Животное. Не олень в свете фар. Ничего типичного или определенного. Просто животное, раненное в толпе сородичей, где его скоро и затопчут.

Как-то Лизель помогла Людвигу встать и потащила его в задние ряды. На свежий воздух.

Они добрались до бокового портала церкви. Найдя свободное место, остались там, напряжение спало.

Дыхание обрушивалось изо рта Людвиг. Соскальзывало по горлу. Наконец он заговорил.

Опустившись на ступеньку, он взял свою лодыжку в руки и нашел взглядом лицо Лизель Мемингер.

— Спасибо, — сказал он, скорее, в рот ей, а не в глаза. Еще глыбы выдохов. — И... — У обоих перед глазами встали картинки подначек на школьном дворе, за ними — избиений на школьном дворе. — Извини — за... ну, ты знаешь!

Лизель опять услышала:

Kommunisten.

Но решила, однако, переключиться на Людвиг Шмайкля:

— И ты.

После этого оба сосредоточились на дыхании, потому что говорить было не о чем. Их дело было кончено.

Кровь расплывалась по щиколотке Людвиг Шмайкля.

На Лизель наваливалось одинокое слово.

Слева от них толпа приветствовала пламя и горящие книги, как героев.

ВРАТА ВОРОВСТВА

Лизель сидела на ступеньках, дожидаясь Папу, смотрела на разлетающийся пепел и

труп собранных книг. Все грустно. Красные и оранжевые угли были похожи на выброшенные леденцы, большая часть толпы уже исчезла. Лизель видела, как уходит фрау Диллер (весьма довольная) и Пффифкус (белые волосы, фашистская форма, все те же разложившиеся ботинки и торжествующий свист). Теперь оставалась только уборка, и скоро никто и представить не сможет, что здесь что-то происходило.

Но можно почуять.

— Чем ты тут занимаешься?

На церковном крыльце появился Ганс Хуберман.

— Привет, Пап.

— Мы думали, ты перед ратушей.

— Прости, Пап.

Папа сел рядом, уполовинив свою рослость на бетоне, и взял прядь волос Лизель. Нежными пальцами заправил прядь ей за ухо.

— Что случилось, Лизель?

Девочка ответила не сразу. Она занималась расчетами, хотя уже и так все знала. Одиннадцатилетняя девочка — это много чего сразу, но не дурочка.

* * * НЕБОЛЬШОЙ ПОДСЧЕТ * * *

Слово коммунист + большой костер + пачка мертвых писем + страдания матери + смерть брата = фюрер

Фюрер.

Он и был те *они*, о которых говорили Ганс и Роза Хуберманы в тот вечер, когда Лизель писала первое письмо матери. Она поняла, но все же надо спросить.

— А моя мама — коммунист? — Прямой взгляд. В пространство. — Ее все время спрашивали про все, перед тем как я сюда приехала.

Ганс немного подвинулся вперед, к краю, оформляя начало лжи.

— Не имею понятия — я ее никогда не видел.

— Это фюрер ее забрал?

Вопрос удивил обоих, а Папу заставил подняться на ноги. Он поглядел на коричневорубашечных парней, подступивших с лопатами к грудке золы. Ему было слышно, как врезаются лопаты. Следующая ложь зашевелилась у него во рту, но дать ей выход Папа не смог. Он сказал:

— Да, наверное, он.

— Я так и знала. — Слова брошены на ступени, а Лизель почувствовала слякоть гнева, что горячо размешивалась в желудке. — Я ненавижу фюрера, — сказала она. — Я его ненавижу!

Что же Ганс Хуберман?

Что он сделал?

Что сказал?

Наклонился и обнял свою приемную дочь, как ему хотелось? Сказал, как опечален всем, что выпало Лизель и ее матери, что случилось с ее братом?

Не совсем.

Он стиснул глаза. Потом открыл их. И крепко шлепнул Лизель Мемингер по щеке.

— *Никогда* так не говори! — Сказал он тихо, но четко.

Девочка содрогнулась и обмякла на ступеньках, а Папа сел рядом, опутив лицо в ладони. Его легко было принять за обычного высокого человека, неуклюже и подавленно сидящего где-то на церковном крыльце, но все было не так. В то время Лизель не имела понятия, что ее приемный отец Ганс Хуберман решал одну из самых опасных дилемм, перед какой мог оказаться гражданин Германии. Более того, эта дилемма стояла перед ним уже почти год.

— Папа?

Удивление, пролившееся в слове, затопило Лизель, но она ничего не могла с этим поделать. Хотела бежать, а не могла. «Варчен» от сестер или Розы принять она еще могла, но от Папы взбучка больнее. Ладони отлипли от Папиного лица, и он нашел силы заговорить снова.

— У нас дома так говорить можешь, — сказал он, мрачно глядя на щеку Лизель. — Но никогда не говори так ни на улице, ни в школе, ни в БДМ, нигде! — Ганс встал перед нею и поднял ее за локоть. Тряхнул. — Ты меня слышишь?

Распахнутые глаза Лизель застыли в капкане, она покорно кивнула.

Это была вообще-то репетиция будущей лекции, когда все худшие страхи Ганса Хубермана явятся на Химмель-штрассе в конце года, в ранний предутренний час ноябрьского дня.

— Хорошо. — Ганс опустил Лизель на место. — Теперь давай-ка попробуем... — У подножия лестницы Папа встал, выпрямившись, и вздернул руку. Сорок пять градусов. — Хайль Гитлер!

Лизель поднялась и тоже вытянула руку. В полном унынии она повторила:

— Хайль Гитлер!

Вот это была сцена — одиннадцатилетняя девочка на ступенях церкви старается не расплакаться, салютуя фюреру, а голоса за Папиным плечом рубят и колотят темную гору.

* * *

— Мы еще друзья?

Где-то четверть часа спустя Папа держал на ладони самокруточную оливковую ветвь — бумагу и табак, которые он недавно получил. Без единого слова Лизель угрюмо протянула руку и принялась сворачивать.

Довольно долго они сидели так вдвоем.

Дым карабкался вверх по Папиному плечу.

Еще десять минут — и ворота воровства чуть приоткроются, и Лизель Мемингер otvorит их чуть пошире и протиснется в них.

* * * ДВА ВОПРОСА * * *

Закроются ли эти ворота за ней?

Или же любезно пожелают выпустить ее обратно?

Как обнаружит Лизель, хорошей воришке нужно много разных качеств.

Неприметность. Дерзость. Проворство.

Но гораздо важнее каждого — одно последнее требование.

Везение.

Вообще-то.

Никаких десяти минут.

Врата уже открываются.

КНИГА ОГНЯ

Темнота наступала кусками, и когда с самокруткой было покончено, Лизель и Ганс Хуберман зашагали домой. Путь с площади лежал мимо кострища и через переулок — на Мюнхен-штрассе. Но они туда не дошли.

Их окликнул пожилой плотник по имени Вольфганг Эдель. Это он ставил помосты, на которых во время костра стояли партийные шишки, а теперь занимался их разборкой.

— Ганс Хуберман? — У Эделя были длинные бакенбарды, загибающиеся ко рту, и

темный голос. — Ганси!

— Здорово, Вольфаль, — ответил Ганс. Последовало знакомство с Лизель и «Хайль Гитлер!». — Молодец, Лизель.

Первые несколько минут Лизель держалась в радиусе пяти метров от беседы. Обрывки разговора пролетали мимо, но она не прислушивалась.

— Много работы?

— Нет, сейчас с этим туго. Ты же знаешь, как оно, особенно если кто не в рядах.

— Ганси, ты же говорил мне, что вступаешь.

— Я пробовал, но допустил ошибку — похоже, там еще думают.

Лизель докочевала до горы пепла. Гора стояла там, как магнит, как урод. Неодолимо притягивая взгляд — точно так же, как улица желтых звезд.

Как раньше ей не терпелось увидеть зажжение кучи, так и теперь Лизель не могла отвести от нее глаз. Один на один с кучей она не нашла в себе благоразумия держаться на безопасном расстоянии. Куча притягивала к себе, и Лизель пошла кругом нее.

Небо над головой обычным порядком переходило в черноту, но вдали над горным плечом держался тусклый след солнца.

— Pass auf, Kind, — сказала ей коричневая рубаха. — Осторожнее, дитя, — швыряя в тачку очередную лопату пепла.

Ближе к ратуше под фонарем стояли и разговаривали какие-то тени — скорее всего, радовались успешному костру. До Лизель их голоса доносились просто звуками. Без всяких слов.

Несколько минут Лизель смотрела, как мужчины перелопачивают груды пепла, сначала сокращая ее с боков, чтобы осыпалось больше верха. Они ходили от кучи к грузовику и обратно, и после трех заходов, когда куча у основания уменьшилась, из-под пепла высунулся небольшой участок еще живого сырья.

* * * СЫРЬЕ * * *

Половинка красного флага, два плаката с рекламой еврейского поэта, три книги и деревянная вывеска — с какой-то надписью на иврите.

Может, сырье отсырело. Может, огонь рано погас, не добравшись, как следовало, до глубины, где они лежали. Как бы там ни было, они сбились вместе среди углей, потрясенные. Уцелевшие.

— Три книги. — Лизель сказала это тихо и посмотрела в спины уборщиков.

— Шевелитесь, — сказал один. — Давайте быстрее, ну, — подыхаю от голода.

Они двинулись к грузовику.

Троица книжек высунула носы.

Лизель подобралась ближе.

Жар был еще настолько силен, что согревал Лизель, когда она встала у подножия зольной груды. Потянулась — и руку укусило, но на второй попытке она постаралась и сделала все как надо, быстро. Ухватила ближайшую из книг. Та была горячая, но еще и мокрая, обгоревшая лишь по краям, а в остальном невредимая.

Синяя.

Обложка на ощупь была словно сплетена из сотен туго натянутых и прижатых прессом нитей. В нити впечатаны красные буквы. Единственное слово, которое Лизель успела прочесть, было «...плеч». На остальное времени не было, к тому же возникла новая сложность. Дым.

От обложки шел дым, когда Лизель, перекидывая книгу из руки в руку, поспешила прочь. Голова опущена, и с каждым длинным шагом болезненная красота нервов

становилась все убийственнее. Четырнадцать шагов и тут — голос.

Он воздвигся за ее спиной.

— Эй!

Тут Лизель едва не бросилась назад и не швырнула книгу в кострище — но не смогла. Единственным доступным ей движением остался поворот.

— Тут кое-что не сгорело! — Один из уборщиков. Он смотрел не на девочку, скорее — на людей у ратуши.

— Ну зажги еще раз! — донесся ответ. — И *проследи*, чтобы сгорело!

— Кажется, сырое!

— Езус, Мария и Йозеф, мне что, все делать самому?

Лизель миновал стук шагов. То был бургомистр — в черном пальто поверх фашистской формы. Он не заметил девочку, которая стояла совершенно неподвижно чуть ли не рядом.

* * * ВИДЕНИЕ * * *

Статуя книжной воришки, установленная во дворе...

Большая редкость, вам не кажется, чтобы статуя появилась прежде, чем ее герой стал знаменит?

Отлегло.

Восторг оттого, что тебя не замечают!

Книга, похоже, немного остыла, и можно сунуть ее под форму. У груди поначалу книга была приятной и теплой. Но Лизель зашагала дальше, и книга снова стала накаляться.

К тому времени, как Лизель вернулась к Папе и Вольфгангу Эделю, книга уже начала ее жечь. Казалось, вот-вот вспыхнет.

Оба мужчины смотрели на девочку.

Лизель улыбнулась.

В тот миг, когда улыбка облетела с ее губ, Лизель почувствовала еще что-то. Или, вернее, *кого-то*. Ошибки быть не могло — за ней наблюдали. Чужое внимание опутало Лизель, и подозрение ее подтвердилось, когда девочка набралась храбрости обернуться на тени возле ратуши. В стороне от сборища силуэтов стоял еще один, отодвинутый на несколько метров, и Лизель осознала две вещи.

* * * НЕСКОЛЬКО МАЛЕНЬКИХ ФРАГМЕНТОВ ОСОЗНАНИЯ * * *

1. Принадлежность тени и
2. Факт, что тень видела все

Руки тени были в карманах пальто.

У нее были пушистые волосы.

Если бы у нее было лицо, оно бы отражало страдание.

— *Gottverdamm!* — сказала Лизель себе под нос. — Проклятье!

* * *

— Мы идем?

Только что, в секунды мертвящей опасности, Папа распрощался с Вольфгангом Эделем и был готов вести Лизель домой.

— Идем, — ответила она.

Они двинулись прочь с места преступления, а книга уже по-настоящему и неслабо припекала Лизель. «Пожатие плеч» прижалось к ее ребрам.

Когда они миновали опасные тени у ратуши, книжная воришка поморщилась.

— Что-то не так? — спросил Папа.

— Ничего.

И все несколько вещей очевидно были не так:
Из-за воротника у Лизель поднимался дымок.
Вокруг шеи проступило ожерелье пота.
Книга под форменной блузой въедалась в нее.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ «МОЯ БОРЬБА»

с участием:

**пути домой — сломанной женщины — борца — хитреца — свойств лета
— арийской лавочки — храпуни — двух ловкачей — и возмездия в
форме леденцовой смеси**

ПУТЬ ДОМОЙ

«Майн кампф».

Книга, написанная самим фюрером.

Это была третья важная книга, добравшаяся до Лизель Мемингер, хотя этой книги Лизель не крада. Книга эта объявилась на Химмель-штрассе, 33, примерно через час после того, как Лизель, проснувшись от своего непереносимого кошмара, снова погрузилась в сон.

Кто-то может сказать: это чудо, что у Лизель вообще появилась эта книга.

Путешествие этой книги началось, когда Лизель с Папой возвращались домой вечером после костра.

Они прошли где-то полдороги до Химмель-штрассе, и тут Лизель не выдержала. Согнулась пополам и вынула дымящуюся книгу, позволив ей растерянно прыгать из ладони в ладонь.

Когда книга немного остыла, они оба секунду-другую смотрели на нее, ожидая слов.

Папа:

— Ну и что это за чертовщина?

Он протянул руку и сгрел «Пожатие плеч». Никаких объяснений не требовалось. Ясно было, что Лизель стащила книгу из костра. Книга была горячая и сырая, синяя и красная — такая разная, растерянная, — и Ганс Хуберман раскрыл ее. На страницах тридцать восемь и тридцать девять.

— Еще одна?

Лизель потеряла бок.

Именно.

Еще одна.

— Похоже, — предположил Папа, — мне больше не придется обменивать самокрутки, а? Ты успеваешь воровать эти книги быстрее, чем я — покупать.

Лизель в сравнении с Папой молчала. Возможно, тут она впервые осознала, что преступление говорит само за себя. Неопровержимо.

Папа рассматривал заглавие, видимо гадая, какого рода опасность могла таить эта книга для умов и душ немецкого народа. Затем вернул книгу Лизель. Что-то случилось.

— Езус, Мария и Йозеф. — Каждое слово усыхало по краям. Откалываясь, придавало вид следующему.

Преступница не могла дальше терпеть:

— Что, Пап? Что такое?

— Ну конечно.

Как и большинство людей, застигнутых озарением, Ганс Хуберман стоял в некоем оцепенении. Следующие слова он либо выкрикнет, либо они так и не выкарабкаются из губ.

Или, что вероятнее, станут повторением последнего сказанного лишь парой секунд ранее.

— Ну конечно.

На сей раз голос Папы был вроде кулака, только что грохнувшего по столу.

Ганс Хуберман что-то увидел. Быстро повел глазами от одного конца к другому, как на скачках, только оно было слишком высоко и далеко, и Лизель не разглядела. Она взмолилась:

— Пап, ну ладно тебе, что такое? — Она заволновалась, не расскажет ли Папа про книгу Маме. Как бывает с людьми, в тот миг Лизель занимало только это. — Ты расскажешь?

— А?

— Ты же понял. Расскажешь Маме?

Ганс Хуберман еще смотрел — высокий, далекий.

— О чем?

Лизель подняла книжку:

— Об этом. — И потрясла ею в воздухе, будто пистолетом.

Папа растерялся.

— Зачем?

Лизель терпеть не могла таких вопросов. Они вынуждали ее признавать ужасную правду, избличать себя как гнусную воровку.

— Потому что я опять украла.

Папа согнулся, подавшись к Лизель, затем выпрямился и положил ладонь ей на макушку. Длинными грубыми пальцами погладил ее по волосам и сказал:

— Конечно нет, Лизель. Я тебя не выдам.

— Тогда что ты сделаешь?

Вот это был вопрос.

Какой великолепный шаг высмотрит в жидком воздухе Химмель-штрассе Ганс Хуберман?

Прежде чем я вам это покажу, думаю, нам стоит бросить взгляд на то, что он видел перед тем, как нашел решение.

*** * * ОБРАЗЫ, БЫСТРО ПРОШЕДШИЕ ПЕРЕД ПАПОЙ * * ***

Сначала он видел книги Лизель:

**«Наставление могильщику», «Пес по имени Фауст», «На маяке», и нынешнюю —
«Пожатие плеч».**

**Потом — кухню и вспыльчивого Ганса-младшего, кивающего на те книги на кухонном
столе, где Лизель привыкла читать. Ганс говорит:**

**— И что за дрянь читает девчонка? — Сын повторяет свой вопрос трижды, после чего
предлагает более подходящее чтение.**

— Слушай, Лизель. — Папа приобнял ее и повел дальше. — Это будет наша тайна — вот эта книга. Мы будем читать ее по ночам или в подвале, как остальные, — но ты должна мне кое-что обещать.

— Все, что скажешь, Пап.

Вечер был мягкий и тихий. Все кругом внимало.

— Если я когда-нибудь попрошу тебя сохранить мою тайну, ты никому ее не расскажешь.

— Честное слово.

— Ладно. Теперь пошли быстрее. Если мы хоть чуть-чуть опоздаем, Мама нас убьет, а надо нам это? Книжки-то не сможешь больше красть, представляешь?

Лизель усмехнулась.

Она не знала и еще долго не узнает, что в ближайшие дни ее приемный отец пойдет и выменяет на самокрутки еще одну книгу, только на этот раз — не для Лизель. Он постучал в

дверь отделения фашистской партии в Молькинге и для начала спросил о судьбе своего заявления. Когда с ним об этом поговорили, он отдал партийцам свои последние гроши и дюжину самокруток. А взамен получил подержанный экземпляр «Майн кампф».

— Приятного чтения, — сказал ему партийный активист.

— Спасибо, — кивнул Ганс.

Выйдя за дверь, он еще слышал разговор внутри. Один голос звучал особенно четко.

— Его никогда не примут, — сказал этот голос, — даже если он купит сто экземпляров «Майн кампф». — Остальные единодушно одобрили это замечание.

Ганс сжимал книгу в правой руке и думал о почтовых расходах, бестабачном существовании и своей приемной дочери, которая натолкнула его на эту блестящую мысль.

— Спасибо, — повторил он, и случайный прохожий переспросил его, что он сказал.

В своей обычной дружелюбной манере Ганс ответил:

— Ничего, дорогой друг, это я так. Хайль Гитлер! — и зашагал по Мюнхен-штрассе, неся в руке страницы фюрера.

Наверное, в ту минуту он испытывал довольно сложные чувства, ведь идею Гансу Хуберману подала не только Лизель, но и сын. Может, Ганс уже предчувствовал, что больше не увидит его? Вместе с тем он упивался восторгом идеи, еще не осмеливаясь представлять ее сложности, опасности и зловещие нелепости. Пока хватало того, что идея есть. Она была неуязвима. Воплотить ее в реальности — что ж, это совсем, совсем другое дело. Пока же, ладно, пусть Ганс Хуберман порадуется.

Мы дадим ему семь месяцев.

А потом на него навалимся.

Ох и как же мы навалимся.

БИБЛИОТЕКА БУРГОМИСТРА

Нет сомнения — что-то огромное и важное надвигалось на Химмель-штрассе, 33, а Лизель этого пока не замечала. Если переиначить избитое человеческое выражение, у нее свой камень лежал на душе:

Она стащила книгу.

И это кое-кто видел.

Книжная воришка отреагировала. Подобающим образом.

Минута за минутой, час за часом не проходила тревога — или, точнее, паранойя. От преступных деяний такое с человеком бывает — особенно с ребенком. Начинаешь представлять всевозможные виды *заловленности*. Вот примеры: Из темных аллей выскакивают человеческие фигуры. В курсе всех твоих грехов за всю жизнь внезапно оказываются учителя. В дверях всякий раз, стоит шелохнуться листу или хлопнуть калитке вдалеке, вырастает полиция.

Для Лизель наказанием стала сама паранойя — и ужас предстоящей доставки белья в бургомистерский дом. И вы, конечно, понимаете: когда этот момент настал, Лизель так кстати пропустила дом на Гранде-штрассе не по забывчивости. Она доставила белье ревматической Хелене Шмидт и забрала в котололюбивом доме Вайнгартнеров, но обошла стороной дом, принадлежавший бургомистру Хайнцу Герману и его жене Ильзе.

*** * * ЕЩЕ ОДИН БЫСТРЫЙ ПЕРЕВОД * * ***

Бургомистр = городской голова

Вернувшись в первый раз, она сказала, что просто забыла про них — самая жалкая отговорка из всех, что я слышал, если дом торчит на холме над городом и притом — такой незабываемый дом. Когда ее отправили назад и она опять вернулась с пустыми руками, то соврала, что там никого не было дома.

— Никого не было? — Мама не поверила. От недоверия сама собой потянулась к деревянной ложке. Погрозила ею Лизель и сказала: — Возвращайся туда сейчас же, и если придешь домой с бельем, лучше вообще не приходи.

— Правда?

Таков был комментарий Руди, когда Лизель передала ему, что сказала Мама.

— Хочешь, убежим вместе?

— Мы помрем с голоду.

— Да я и так помираю! — Оба рассмеялись.

— Не, — сказала Лизель. — Надо идти.

Они зашагали по улице, как всегда, если Руди провожал ее. Он всякий раз старался быть рыцарем и хотел нести мешок, но Лизель не давала. Только ее голове грозило, что по ней прогуляется деревянная ложка, так что и полагаться ей приходилось только на себя. Любой другой может и встряхнуть мешок, махнуть им или позволить себе иную — пусть самую малейшую — небрежность, а для нее это уже недопустимый риск. Кроме того, разреши она Руди нести белье, он за свою службу будет, чего доброго, рассчитывать на поцелуй, а это уж никак не возможно. Ну и потом, Лизель уже привыкла к своей ноше. Она перебрасывала мешок с плеча на плечо, меняя сторону примерно через каждые сто шагов.

Лизель пошла слева, Руди справа. Мальчик почти непрерывно болтал — о последнем уличном матче, о работе в отцовской мастерской и обо всем, что приходило на ум. Лизель пыталась слушать, но не удалось. Слышался ей только ужас, колоколами полнивший уши, — тем громче, чем ближе они подступали к Гранде-штрассе.

— Ты куда? Разве не тут?

Лизель кивнула — Руди был прав, а она хотела пройти мимо дома бургомистра, чтобы еще немного потянуть время.

— Ну, иди, — поторопил ее Руди. В Молькинге темнело. Из земли карабкался холод. — Шевелись, свинюха. — Руди остался ждать у калитки.

Дорожка, за ней восемь ступеней парадного крыльца и огромная дверь — как чудовище. Лизель нахмурилась медному молотку.

— Чего ждешь? — крикнул Руди.

Лизель обернулась и посмотрела на улицу. Есть ли у нее какой-нибудь способ — хоть какой-нибудь — избежать этого? Осталась ли еще какая-то возможность или — уж скажем прямо — какая-то ложь, о которой Лизель не вспомнила?

— До ночи тут торчать? — опять донесся голос Руди. — Чего ты, к черту, ждешь?

— А ты заткнись там, Штайнер! — Это был вопль, но вопль шепотом.

— Чего?

— Я сказала, заткнись, глупый свинух!

С этими словами Лизель вновь повернулась к двери, взялась за медный молоток и три раза постучала — без спешки. С той стороны приблизились шаги.

Сначала Лизель не смотрела на женщину, уставившись на мешок с бельем в своей руке. Передавая его, изучала завязки, пропущенные по горлу мешка. Ей подали деньги, и после не было ничего. Жена бургомистра, которая никогда не разговаривала, лишь стояла в своем халате, пушистые волосы собраны сзади в короткий пучок. Слабо проявился сквозняк. Что-то вроде воображаемого дыхания трупа. Но никаких слов так и не было, и когда Лизель набралась храбрости поднять глаза, лицо у женщины было не осуждающее, а совершенно отстраненное. Секунду-другую она смотрела поверх плеча Лизель на мальчика, потом кивнула и отступила в дом, закрывая дверь.

Довольно долго Лизель стояла, упершись носом в деревянное одеяло двери.

— Эй, свинюха! — Нет ответа. — Лизель!

Лизель попятилась.

Осторожно.

Задом спустилась на пару ступеней, прикидывая.

Получается, что женщина, может, вовсе и не видела, как Лизель украла книгу. Уже темнело. Может, получилось, как бывает: кажется, будто человек смотрит прямо на тебя, а он смотрит куда-то мимо или просто замечтался. Каков бы ни был ответ, Лизель оставила попытки дальнейшего анализа. Ей сошло с рук, и ладно.

Она развернулась и прошла остальные ступени уже нормально, последние три одолев одним прыжком.

— Пошли, свинух!

Она даже решилась рассмеяться. Паранойя в одиннадцать лет свирепая. Прощение в одиннадцать лет опьяняет.

*** * * МАЛЕНЬКОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ДЛЯ РАЗБАВКИ ОПЬЯНЕНИЯ * * ***

Ничего ей не сошло с рук.

**Жена бургомистра прекрасно ее видела.
Просто она выжидала удачного момента.**

Прошло несколько недель.

Футбол на Химмель-штрассе.

«Пожатие плеч» — чтение между двумя и тремя часами каждую ночь после страшного сна или днем в подвале.

Еще один благополучный визит в дом бургомистра.

Все было чудесно.

До тех пор, пока.

Когда Лизель пришла в следующий раз, без Руди — тогда-то и представился удобный случай. В тот день надо было забрать белье в стирку.

Жена бургомистра открыла дверь, и в руке у нее не было обычного мешка с бельем. Она отступила в сторону и знаком известковой руки и запястья пригласила девочку войти.

— Я пришла только забрать белье. — Кровь высохла у Лизель в жилах. И раскрошилась. Лизель чуть не рассыпалась на куски прямо на крыльце.

И тут женщина сказала ей свои первые слова. Протянула холодные пальцы и произнесла:

— Warte. Подожди. — Убедившись, что девочка успокоилась, она повернулась и торопливо ушла в дом.

— Слава богу, — выдохнула Лизель. — Она его сейчас принесет. — «Его» — это белье.

Но женщина вернулась вовсе не с ним.

Она пришла и замерла в невысказанно хрупкой непоколебимости, держа у живота башенку книг высотой от пупка до начала груди. В чудовищном дверном проеме женщина казалась такой беззащитной. Длинные светлые ресницы и легчайший намек на мимику. Предложение.

Войди и погляди — вот такое.

Она собирается меня помучить, решила Лизель. Заманит меня в дом, разожжет камин и бросит меня в огонь вместе с книгами и со всем. Или запрет в подвале без еды и питья.

Однако отчего-то — видимо, соблазна книг не одолеть — девочка поняла, что входит в дом. От скрипа своих шагов по деревянному полу Лизель поеживалась, а наступив на большую половицу, ответившую стоном дерева, совсем было остановилась. Жену бургомистра это не смутило. Она лишь мимоходом оглянулась и шла себе дальше, к двери каштанового цвета. Там на ее лице появился вопрос.

Ты готова?

Лизель чуть вытянула шею, словно так можно было заглянуть за мешавшую дверь. Несомненно, это и была подсказка — открывай.

— Езус, Мария...

Лизель сказала это вслух, слова разлетелись по комнате, заполненной холодным воздухом и книгами. Книги повсюду! Каждую стену укреплял стеллаж, забитый плотными, но безупречными рядами книг. Вряд ли можно было разглядеть цвет стен. И надписи всех возможных форм и размеров на корешках черных, красных, серых и всяких цветов книг. В жизни Лизель Мемингер видела очень мало чего-то настолько прекрасного.

В изумлении она улыбнулась.

На свете есть такая комната!

Даже попробовав стереть улыбку рукой, Лизель мгновенно поняла, что в этих маневрах нет смысла. Она почувствовала, что взгляд женщины движется по ее телу, и когда обернулась, этот взгляд остановился на ее лице.

Раньше Лизель бы и не подумала, что может быть столько молчания сразу. Оно тянулось, как резина, просто умирая от желания разорваться. Его разорвала девочка.

— Можно?

Слово замерло посреди необъятной пустоши деревянного пола. От книг его отделяли километры.

Женщина кивнула.

Можно, да.

Постепенно комната сжалась, так что книжная воришка, сделав лишь два-три шажка, смогла коснуться полок. Лизель провела тыльной стороной руки по первой, слушая, как шуршат ее ногти, скользя по книжным позвоночникам. Прозвучало, как музыкальный инструмент или мелодия бегущих ног. Лизель повела двумя руками. Все быстрее. По разным полкам наперегонки. И рассмеялась. Голос распирал, рвался из горла, и когда она остановилась наконец и замерла посреди комнаты, то не одну минуту стояла, переводя взгляд с полок на свои пальцы и обратно на книги.

Сколько книг она потрогала?

Сколько книг *почувствовала*?

Она подошла и снова стала трогать — на сей раз гораздо медленнее, открытой ладонью, успевая осязать мякотью невысокий вал каждой книги. Как волшебство, как красоту, словно яркие линии света, сиявшие с люстры. Несколько раз Лизель тянулась вынуть книгу с полки, но не решалась их беспокоить. Порядок был слишком идеален.

Слева девочка вновь увидела жену бургомистра — та стояла возле большого письменного стола, по-прежнему держа у живота башенку из книг. Стояла в восторженном наклоне. Улыбка словно обездвижила ее губы.

— Вы хотите, чтобы я?..

Лизель не закончила вопрос, а просто сделала то, о чем собиралась спросить, — подошла и осторожно приняла книги из рук женщины. И заполнила ими свободное место на полке у приоткрытого окна. Снаружи затекал холодный воздух.

Секунду Лизель соображала, не закрыть ли окно, но в итоге передумала. Это не ее дом, и сейчас ни к чему лезть не в свое дело. Вместо этого Лизель обернулась к женщине, стоявшей позади, чья улыбка походила теперь на синяк, а руки тонко висели по бокам. Будто у девочки.

Что теперь?

В комнату прокралась неловкость, и Лизель бросила прощальный мимолетный взгляд на книжные стены. Слова толклись у нее на языке, но выскочили второпях.

— Мне пора идти.

Уйти получилось лишь с третьей попытки.

Лизель несколько минут ждала в прихожей, но жена бургомистра не появлялась, и,

вернувшись на порог комнаты, Лизель увидела, что женщина сидит за столом и пустым взглядом смотрит на какую-то книгу. Девочка решила не тревожить ее. Белье ждало в коридоре.

На этот раз Лизель стороной обошла больную половицу, всю длину коридора прошагала, держась левой стены. Она закрыла за собой дверь, медь брякнула ей в ухо, и, держа рядом мешок с бельем, Лизель погладила древесную плоть.

— Счастливо оставаться, — сказала она.

Поначалу она шла домой оглоушенная.

Нереальность комнаты, полной книг, и оцепенелой, надломленной женщины брели рядом. Будто в игре, Лизель видела их на домах. Вероятно, это было как у Папы, когда у него случилось озарение с «Майн кампф». Куда бы Лизель ни посмотрела — всюду видела жену бургомистра с книгами, сложенными на руках. За углом ей слышался шорох собственных рук, тревожащих книжные корешки на полках. Она видела открытое окно, люстру славного света — и видела себя, уходящую без единого слова благодарности.

Скоро ее умиротворение перешло в досаду и в отвращение. Лизель стала корить себя.

— Ты даже ничего не сказала! — Не в такт торопливым шагам Лизель резко затрясла головой. — Ни до свидания. Ни спасибо. И ни про то, что красивее ничего я в жизни не видела. Ни слова! — Конечно, она книжная воришка, но это не значит, что нужно полностью забыть о вежливости. Это не значит, что не надо быть воспитанной.

Добрых несколько минут Лизель шла, борясь с нерешительностью.

На Мюнхен-штрассе борьба закончилась.

Едва завидев вывеску «STEINER — SCHNEIDERMEISTER », Лизель развернулась и побежала назад.

На сей раз колебаний не было.

Она постучала, кинув сквозь дерево двери медное эхо.

Scheisse!

Не жена бургомистра стояла перед ней, а сам бургомистр. В спешке Лизель не обратила внимания, что напротив дома на улице стоит машина.

Усатый, в черном костюме бургомистр заговорил:

— Чем могу служить?

Лизель ничего не могла ответить. Пока не могла. Она согнулась пополам, задыхаясь, но, к счастью, когда хоть немного отдышалась, появилась женщина. Ильза Герман стояла позади мужа и чуть в стороне.

— Я забыла, — сказала девочка. Подняв мешок с бельем, она обратилась к жене бургомистра. Забыв о натужном дыхании, Лизель втискивала слова сквозь брешь в дверном проеме — между косяком и бургомистром — женщине. Дыхание требовало таких усилий, что слова вылетали малыми порциями. — Я забыла... В смысле, я просто... хотела, — говорила она, — сказать... спасибо.

И снова на лице жены бургомистра возник синяк. Шагнув вперед и встав рядом с мужем, она едва заметно кивнула, подождала и затворила дверь.

Еще с минуту Лизель уйти не могла.

Стояла, улыбалась ступенькам.

ПОЯВЛЯЕТСЯ БОРЕЦ

Пора сменить декорации.

До сих пор нам обоим все давалось слишком легко, друг мой, вам не кажется? Как насчет того, чтобы на минуту-другую забыть о Молькинге?

Это будет нам полезно.

Кроме того, это важно для рассказа.

Мы немного проедемся — до потайного чулана — и увидим, что увидим.

*** * * ЭКСКУРСИЯ ПО СТРАДАНИЯМ * * ***

Слева от вас, а может, справа, может, прямо впереди вы видите тесную темную комнату.

В ней сидит еврей.

Он — мразь.

Он умирает с голоду.

Он боится.

Пожалуйста, постарайтесь не отводить глаз.

В нескольких сотнях километров к северо-западу, в Штутгарте, вдали от книжных воришек, жен бургомистров и Химмель-штрассе, в темноте сидел человек. Это лучшее место, как они решили. Еврея труднее найти в темноте.

Он сидел на своем чемодане и ждал. Сколько дней он уже здесь сидит?

Он не ел ничего, кроме скверного запаха из своего голодного рта, уже, казалось, несколько недель, и до сих пор — тишина. Время от времени мимо брели голоса, и ему, бывало, почти хотелось, чтобы они постучали в дверь, распахнули ее, выволокли его наружу, на невыносимый свет. Сейчас он мог только сидеть на своем чемоданном диване, подбородок в ладонях, локтями прожигая ляжки.

Был сон, голодный сон, досада полупробуждения и наказание полом.

Забудь о зудящих ступнях.

Не чеши подошвы.

И не шевелись слишком много.

Пусть все будет, как есть, любой ценой. Наверное, уже скоро в дорогу. Свет как дуло. Как взрывчатка для глаз. Наверное, уже пора. Уже пора, просыпайся. Проснись, черт побери! Проснись.

Дверь открылась и захлопнулась, и над ним присела чья-то фигура. Ладонь пошлепала по холодным волнам его одежды, отозвавшись в чумазных глубинных течениях. На конце руки раздался голос.

— Макс, — шепотом, — Макс, проснись.

Глаза он открыл совсем не так, как того обычно требует шок. Они не распахнулись, не зажмурились, не заматались. Такое бывает, если пробуждаешься от страшного сна, а не в него. Нет, его глаза вяло разлепились из тьмы в сумрак. А среагировало его тело, дернувшись вверх и выбросив руку, схватившую воздух.

Теперь голос стал успокаивать.

— Прости, что так долго. Скорее всего, меня проверяли. И мужик с удостоверением личности затянул дольше, чем я думал, зато... — Повисла пауза. — Оно теперь у тебя есть. Не самого лучшего качества, но, будем надеяться, поможет тебе дотуда добраться, если придется. — Силуэт наклонился и махнул рукой на чемодан. В другой руке он держал что-то тяжелое и плоское. — Давай, вставай.

Макс покорился, встал и почесался. Он чувствовал, как натянулись его кости.

— Удостоверение здесь. — Это была книга. — Сюда же положишь и карту и указания. И вот тут ключ — подклеен изнутри к обложке. — Тихо, как только мог, он щелкнул замком чемодана и, словно бомбу, опустил туда книгу. — Я вернусь через несколько дней.

Пришелец оставил небольшой пакет — в нем были хлеб, сало и три мелкие морковки. Там же — бутылка воды. И никаких оправданий.

— Все, что я смог достать.

Дверь открылась, дверь закрылась.

Снова один.

И в следующий миг он услышал звук.

В темноте, пока он оставался один, все было таким отчаянно громким. Стоило шевельнуться, и раздавался шорох складки. Он чувствовал себя человеком в бумажном костюме.

Еда.

Макс разломил хлеб на три куса и два отложил в сторону. И вгрызся в тот, что остался в руке, жуя и заглатывая, пропихивая куски вниз по сухому коридору глотки. Сало было холодным и твердым, оно, будто по ступенькам, падало в живот, иногда застревало. Крупные глотки отрывали его от стенок и сбрасывали вниз.

Теперь морковь.

И снова он отложил две и набросился на третью. Шум стоял невообразимый. Несомненно, сам фюрер услышал звук оранжевого крошева в Максовом рту. Зубы ломались от каждого укуса. Запивая, он был уверен, что проглатывает их. В следующий раз, заметил он себе, сначала попей.

* * *

Позже, к его облегчению, когда звуки отстали от него и он набрался храбрости пощупать рукой, все зубы оказались на месте, невредимы. Он попробовал улыбнуться, но не вышло. Он мог только представить эту робкую попытку и рот, полный сломанных зубов. Час за часом он их ощупывал.

Он открыл чемодан и вынул книгу.

В темноте он не мог прочесть названия, а зажечь спичку теперь уже казалось чересчур рискованной авантюрой.

Заговорив, он ощутил вкус шепота.

— Прошу вас, — сказал он. — Прошу.

Он разговаривал с человеком, которого ни разу в жизни не видел. Среди прочих важных деталей он знал имя этого человека. Ганс Хуберман. И снова он заговорил с ним, с этим далеким незнакомцем. Он молил.

— Прошу вас.

СВОЙСТВА ЛЕТА

Ну вот, теперь вы знаете.

Вы хорошо представляете, что явится на Химмель-штрассе ближе к концу 1940 года.

Я знаю.

Вы знаете.

Лизель Мемингер, однако, к нам причислить нельзя.

Для книжной воришки лето этого года было простым. Оно состояло из четырех важных частей — или свойств. Время от времени Лизель задумывалась, какое из них сильнее.

* * * А СОИСКАТЕЛИ ТАКОВЫ... * * *

1. Ежегодное продвижение в «Пожатие плеч».
2. Чтение на полу в библиотеке бургомистра.
3. Футбол на Химмель-штрассе.
4. Открытие новых возможностей для воровства.

«Пожатие плеч», на ее вкус, было великолепным. Каждую ночь, едва отойдя от кошмара, она утешалась тем, что бодрствует и способна почитать.

— Ну, пару страниц? — спрашивал Папа, и Лизель кивала. Иногда они заканчивали

начатую главу на другой день в подвале.

Чем книга не угодила властям, было ясно. Главный герой был евреем, и его представили в хорошем свете. Непростительно. Он был богач, которому надоело, что жизнь проходит мимо — надоело, как он это называл, пожимать плечами на все проблемы и удовольствия земного существования человека.

В начале молькингского лета Лизель с Папой дошли до того места, где этот человек поехал по делу в Амстердам и на улице ежился от холода снег. Лизель это пришлось по душе — что снег ежится.

— Точно, он именно что ежится, когда сыплется, — сказала она Гансу Хуберману. Они сидели на кровати. Папа — в полусне, Лизель — с распахнутыми глазами.

Иногда она смотрела, как он спит, узнавая о нем одновременно больше и меньше, чем оба они могли представить. Ей не раз приходилось слышать, как Роза с Гансом говорят о работе, которой нет, или с горечью вспоминают, как Папа собрался навестить сына, только, приехав к нему, обнаружил, что тот съехал с квартиры и, скорее всего, уже находится в пути на фронт.

— Schlaf gut, Папа, — говорила Лизель в такие разы. — Приятного сна, — и, обползая Папу, соскальзывала с кровати выключить свет.

Следующим свойством была, как я уже сказал, библиотека бургомистра.

Для примера покажу вам один холодный день в конце июня. Руди, мягко говоря, бесился.

За кого его держит Лизель Мемингер, чтобы заявлять, что сегодня она пойдет за стиркой и гладкой без него? Что она — гнушается пройти с ним по улице?

— Прекрати ныть, свинух, — одернула его Лизель. — Я себя плохо чувствую, и все. Иди, футбол пропустишь.

Руди бросил взгляд через плечо:

— Ну, как скажешь. — «Шмунцель». — И целуйся со своей стиркой. — Он побежал и, не тратя времени даром, влился в команду. Дойдя до конца Химмель-штрассе, Лизель оглянулась — и тут же увидела, как Руди встал у ближних самодельных ворот. Он махал ей.

— Свинух, — рассмеялась она и, вскидывая руку, совершенно четко поняла, что в тот же миг Руди назвал ее свинухой. Мне думается, это уже любовь — какая только возможна в одиннадцать лет.

Лизель побежала — к Гранде-штрассе и к дому бургомистра.

Конечно, тут были и пот, и мятые штанины дыхания, что простирались перед нею.

Но Лизель читала.

Жена бургомистра, в четвертый раз впустив девочку в дом, сидела за письменным столом и просто смотрела на книги. Во второе посещение Лизель она разрешила девочке снять с полки книгу и полистать, что повело к следующей книге, потом к следующей, пока наконец, к Лизель не прилипло с полдюжины книг — зажаты под мышкой или в стопке, что громоздилась все выше на ладони свободной руки.

А сегодня Лизель стояла посреди прохладной округи комнаты, у нее урчало в животе, но бессловесная надломленная женщина не выказывала никакой реакции. Она снова была в халате, и хотя несколько раз посмотрела на девочку, ни разу не задержала взгляд надолго. По большей части она рассматривала что-то около Лизель, что-то отсутствующее. Окно было широко открыто — квадратный прохладный рот, случайные вдохи сквозняка.

Лизель сидела на полу. Вокруг нее были разбросаны книги.

Через сорок минут она собралась уходить. Каждая книжка вернулась на место.

— До свиданья, фрау Герман. — Слова здесь всякий раз звучали как взрыв. — Спасибо вам.

После чего жена бургомистра вручила Лизель деньги за стирку, и девочка ушла. Каждый поступок остался обоснован, и книжная воришка побежала домой.

Лето устанавливалось, в комнате, полной книг, становилось все теплее, и с каждым приходом пол уже не так мучил Лизель. Девочка садилась, ставила рядом небольшую стопку книг и читала по несколько абзацев из каждой, пытаясь запоминать неизвестные слова, чтобы, придя домой, спросить Папу. После, уже подростком, когда Лизель писала о тех книгах, названий она уже не помнила. Ни одного. Может, если б она их украла, память оказалась бы подготовленной лучше.

Но запомнилось ей вот что: имя, нескладными буквами написанное на внутренней стороне обложки одной книжки с картинками:

*** * * ИМЯ МАЛЬЧИКА * * ***

Иоганн Герман

Лизель прикусила губу, но в конце концов не удержалась. С полу она обернулась к женщине в халате и задала вопрос.

— Иоганн Герман, — сказала она. — Кто это?

Та посмотрела мимо девочки, куда-то возле ее колен.

Лизель смутилась:

— Извините. Не надо мне спрашивать такие вещи... — Она дала этой фразе умереть своей смертью.

Лицо женщины не изменилось, но ей как-то удалось вымолвить:

— В этом мире он больше никто, — объяснила она. — Он был мой...

*** * * ИЗ АРХИВА ВОСПОМИНАНИЙ * * ***

Да, да, конечно, я его помню.

Небо было сумрачное и глубокое, как зыбучие пески.

Молодой человек, увязанный в колючую проволоку.

— Кроме всего прочего, — сказала женщина в халате, — он замерз до смерти. — Секунду-другую она играла собственными руками, затем повторила: — До смерти замерз, я точно знаю.

Жена бургомистра — одна из всемирного легиона. Не сомневаюсь, вам приходилось ее видеть. В ваших рассказах, в стихах, на ваших экранах, куда вы так любите смотреть. Такие повсюду, почему бы ей не оказаться здесь? На живописном холме в немецком городке? Здесь так же удобно страдать, как и где угодно.

Дело в том, что Ильза Герман решила превратить свою боль в торжество. Боль никак не соглашалась отпустить ее, и она покорилась. Открыла ей объятья.

Она могла бы застрелиться, или расцарапать себя ногтями, или предаться другим формам самоистязания, но в итоге выбрала, наверное, то, что сочла самым слабым — по крайней мере, терпеть погодные неудобства. Лизель полагала, что эта женщина молит бога, чтобы летние дни были холодными и сырыми. И вообще-то жила она в подходящем месте.

В тот день Лизель, уходя, сказала фразу, которая далась ей с большим трудом. В переводе это значит, что ей пришлось взвалить на себя два огромных слова, пронести на плечах и вывалить эту громоздкую пару под ноги Ильзе Герман. Слова свисали по бокам, пока Лизель шаталась под их тяжестью, — и не удержала их. Они лежали вместе на полу, громадные и громкие, неуклюжие.

*** * * ДВА ОГРОМНЫХ СЛОВА * * ***

ПРОСТИТЕ МЕНЯ

И снова жена бургомистра посмотрела куда-то мимо Лизель. Лицо — чистая страница.

— За что? — спросила она, но тут уже прошло время. Девочка давно вышла из комнаты. Была почти у парадных дверей. Услышав вопрос, остановилась, но предпочла не возвращаться в комнату, а бесшумно выскользнуть за порог и сбежать с крыльца. Окинула взглядом панораму Молькинга перед тем, как раствориться в ней, и еще долго грустила о жене бургомистра.

Временами Лизель думала, что надо оставить эту женщину в покое, но Ильза Герман была такой интересной, а зов книг — таким убедительным. Когда-то слова сделали девочку совсем беспомощной, но теперь, сидя на полу поодаль от жены бургомистра, расположившейся за мужним столом, Лизель чувствовала над ними законную власть. Всякий раз, когда расшифровывала новое слово или складывала фразу.

Девочка.

В фашистской Германии.

Как удачно, что она открывала для себя силу слов.

И как жутко (но и весело!) будет ей много месяцев спустя высвободить всю мощь этого нового открытия в тот самый миг, когда жена бургомистра предаст ее. Как быстро жалость покинет ее, как быстро перетечет во что-то совершенно иное...

Впрочем, сейчас, летом 1940 года, что там ждет впереди, Лизель могла увидеть только в одном образе. Перед нею была скорбная женщина с комнатой полной книг, куда Лизель нравилось приходить. И все. Такова была вторая часть ее существования тем летом.

Третья часть, слава богу, была поживее — футбол на Химмель-штрассе.

Позвольте разыграть вам картинку:

По дороге шаркают ноги.

Скачка мальчишеского дыхания.

Крики: «Здесь! Сюда! Scheisse!»

Грубые шлепки мяча о мостовую.

Пока лето входило в силу, все это присутствовало на Химмель-штрассе — так же, как извинения.

Извинения принадлежали Лизель Мемингер.

Адресовались они Томми Мюллеру.

К началу июля ей наконец удалось убедить Томми, что она не собиралась его убивать. Томми до сих пор боялся Лизель после той трепки, которую она задала ему в прошлом ноябре. На футбольном поле Химмель-штрассе старался держаться от нее как можно дальше.

— Она в любую минуту может наброситься, — поделился он с Руди, наполовину дергаясь, наполовину говоря.

К чести Лизель, она не оставляла попыток успокоить Томми. Ее огорчало, что с Людвигом Шмайклем она благополучно помирилась, а вот с невинным Томми Мюллером — нет. Он до сих пор поживался, завидев Лизель.

— Ну как я могла понять, что ты тогда мне улыбался? — раз за разом спрашивала его Лизель.

Она даже пару раз стояла за него в воротах, пока вся команда не начинала умолять Томми вернуться обратно.

— Бегом на место! — наконец приказал ему паренек по имени Харальд Молленхауэр. — От тебя никакого толку. — Это случилось после того, как Томми подставил Харальду ножку и не дал забить гол. Харальд вознаградил бы себя одиннадцатиметровым, да вот беда — они с Томми были в одной команде.

Лизель возвращалась на поле и вскоре почему-то всегда схватывалась с Руди. Они цеплялись друг друга, подставляли ножки, обзывались. Комментировал Руди:

— В *этом* раз она его не обведет, эта глупая свинюха Arschgrobber. Ей не светит.

Казалось, ему доставляло удовольствие звать Лизель «жопочёской». Одна из радостей детства.

* * *

Другой радостью были, конечно, кражи. Часть четвертая, лето 1940 года.

По всей справедливости, Руди и Лизель сблизало многое, но именно кражи окончательно укрепили их дружбу. Все началось с одного случая, а дальше их толкала одна беспощадная сила — постоянный голод Руди. Этот мальчишка все время до смерти хотел есть.

Помимо того, что продукты уже были по карточкам, дела в отцовской мастерской шли в последнее время неважно (угрозу еврейских конкурентов устранили, но вместе с нею — и еврейских клиентов). Штайнеры едва наскребали на жизнь. Как и многим обитателям Химмель-штрассе и того конца города, им продукты приходилось выменивать. Лизель приносила бы Руди еду из дому, но ведь и там она водилась не в избытке. Мама обычно варила гороховый суп. Она варила его вечером в воскресенье — и вовсе не на одно или два представления. А столько, чтобы хватило до следующей субботы. Потом, в воскресенье, она варила новый. Гороховый суп, хлеб, иногда небольшая порция картошки или мяса. Ешь подчистую и не проси добавки да не жалуйся.

Поначалу они придумывали занятия, чтобы забыть о голоде.

Руди не вспоминал о еде, пока играл на улице в футбол. Или они с Лизель брали велики его брата и сестры и ездили до мастерской Алекса Штайнера или навещали Папу Лизель, если в тот день у него выдавалась работа. Ганс Хуберман сидел с ними на закате дня и рассказывал анекдоты.

С приходом немногочисленных жарких дней появилось другое развлечение — учиться плавать в речке Ампер. Вода все еще была холодновата, но они все равно в нее лезли.

— Ну давай, — заманивал Руди. — Вот сюда. Тут неглубоко.

Лизель не разглядела огромную яму, в которую шагала, и провалилась до самого дна. Барахтанье по-собачьи ее спасло, но она едва не захлебнулась распухшими глотками воды.

— Ты свинух, — обругала она Руди, повалившись на берег.

Руди на всякий случай отошел подальше. Он видел, как Лизель отделала Людвиг Шмайкля.

— Теперь ты умеешь плавать, правда?

Это ее совсем не ободрило, и она зашагала прочь. Волосы облепили с одной стороны ей лицо, из носа текли сопли.

Руди крикнул вслед:

— Ты что, не дашь поцеловать за то, что я тебя научил?

— Свинух!

Наглый какой, а?

Это было неизбежно.

Тоскливый гороховый суп и голод, мучивший Руди, наконец подвигли их на воровство. Вдохновили пристать к компании старших ребят, которые обворовывали хозяев. Фруктовые воровы. После одного футбольного матча Лизель и Руди поняли, как выгодно держать ушки на макушке. Сидя на крыльце Штайнеров, они увидели, что Фриц Хаммер — один из их старших приятелей — ест яблоко. Сорты «клар», созревающего в июле-августе, — в руке мальчишки оно выглядело волшебно. Карманы Фрицевой куртки оттопыривали еще три-четыре яблока. Руди с Лизель подобралась поближе.

— Где взял? — спросил Руди.

Парень сначала только ухмыльнулся.

— Чш. — Затем вынул из кармана другое яблоко и кинул Руди. — Только посмотреть, — предупредил он, — не жрать.

В следующий раз, когда Лизель с Руди увидели Фрица, одетого в ту же куртку в слишком теплый для такой одежды день, они пошли за ним по пятам. Он вывел их на берег

Ампера выше по течению. Невдалеке от того места, куда Лизель приходила с Папой читать.

Компания из пяти мальчишек, где были и долговязые, и тощие-малорослые, стояла там, дожидаясь.

В то время в Молькинге было несколько таких компаний, и в некоторые входили даже шестилетки. В этой шайке вожаком был симпатичный пятнадцатилетний уголовник по имени Артур Берг. Он огляделся и увидел за спинами шайки двух малявок.

— Und? — спросил он. — Ну и?

— Жрать хочу, — ответил Руди.

— И он быстро бегают, — сказала Лизель.

Берг поглядел на нее:

— Что-то не помню, чтобы я у тебя спрашивал. — Артур был высокий подросток с длинной шеей. На его лице кучками подельников собирались прыщи. — Но ты мне нравишься. — Говорил он дружелюбно, как все языкастые подростки. — Это не та ли, что отвалтузила твоего брата, Андерль? — Определенно слухи дошли. Славная взбучка преодолевает возрастные барьеры.

Другой мальчик — из малорослых и тощих, с косматой белой шевелюрой и кожей льдистого цвета — оглядел ее.

— Похоже, та.

Руди внес ясность:

— Она, она.

Андреас Шмайкль подошел, с задумчивым лицом оглядел девочку с ног до головы и наконец расплылся в щербатой улыбке:

— Классная работа, детка. — Он даже хлопнул ее по костлявой спине, попав на острый гребень лопатки. — Если б я сам его отделал, меня б высекли.

Артур переключился на Руди:

— А ты Джесси Оуэнз, да?

Руди кивнул.

— Ясно, — сказал Артур. — Дебил, но подходящий. Пошли.

Их приняли.

Когда дошли до сада, им кинули мешок на двоих. Артур Берг стискивал в руках собственный, джутовый. Он поворошил рукой свои мягкие волосы.

— Кто-нибудь из вас раньше воровал?

— Конечно, — заверил его Руди. — Все время. — Но прозвучало не очень убедительно.

Лизель выразилась точнее:

— Я украла две книги, — на что Артур Берг, рассмеялся, трижды коротко фыркнув. При этом его прыщи выстроились в новую фигуру.

— Книжки не едят, моя лапочка.

Оттуда, где стояли, шайка рассматривала яблони, которые выстроились длинными коленчатыми рядами. Артур Берг отдавал приказы.

— Во-первых, — сказал он. — Не застревать на проволоке. Застрял — остался снаружи. Понятно? — Каждый кивнул или сказал «да». — Второе. Один на дереве, другой внизу. Кто-то должен подбирать. — Артур потер руки. Он упивался происходящим. — Третье. Увидел, что кто-то идет, — ори так, чтоб мертвый проснулся, — и все смываемся. Richtig?

— Richtig. — Ответил ему хор голосов.

*** * * ДВА ЯБЛОЧНЫХ ВОРА-ДЕБЮТАНТА, ШЕПЧУТСЯ * * ***

— Лизель... Ты уверена? Все равно хочешь туда идти?

— Смотри, Руди, колючая проволока, как высоко.
— Не-не, смотри, надо набрасывать мешок. Видишь? Как они.
— Ладно.
— Ну и пошли!
— Не могу! — Замешательство. — Руди, я...
— Шевелись, свиноуха!

Он подтолкнул ее к ограде, набросил на проволоку пустой мешок, они перелезли и побежали следом за остальными. Руди взобрался на ближайшее дерево и начал швырять вниз яблоки. Лизель стояла внизу и складывала их в мешок. Когда мешок наполнился, возникла следующая трудность.

— Как мы теперь полезем через ограду?

Ответ они получили, увидев, как Артур Берг карабкается как можно ближе к опорному столбу.

— Там проволока туже. — Руди показал на столб.

Он перекинул мешок, дал Лизель перебраться первой, плюхнулся по ту сторону рядом с ней, посреди яблок, раскатившихся из мешка.

Рядом, удивленно наблюдая, возвышались длинные ноги Артура Берга.

— Неплохо, — высадился к ним сверху его голос. — Совсем неплохо.

Когда вернулись на берег, в укромное место за деревьями, Артур забрал мешок и выдал Лизель с Руди дюжину яблок на двоих.

— Хорошо поработали, — подвел он итог на бегу.

В тот день, перед тем как разойтись по домам, Лизель с Руди за полчаса съели по шесть яблок на брата. Сначала оба подумывали угостить яблоками домашних, но здесь таилась существенная опасность. Их не особо влекла перспектива объяснять, откуда эти яблоки взялись. Лизель еще подумала, что могла бы выкрутиться, рассказав одному Папе, но ей не хотелось, чтобы он думал, будто взял на воспитание одержимую преступницу. Так что пришлось есть.

На берегу, где Лизель училась плавать, с яблоками и расправились. Непривычные к такой роскоши, они понимали, что их может стошнить.

Но ели все равно.

— Свиноуха! — бранила ее вечером Роза. — С чего тебя так полощет?

— Может, с горохового супа? — предположила Лизель.

— Ну да, — отозвался Папа. Он опять стоял у окна, — Наверное, с него. Меня и самого что-то поташнивает.

— Кто тебя спрашивает, свинух? — Роза проворно обернулась к свиноухе, которую опять вырвало. — Ну? Что это такое? Что это, грязная ты свинья?

А Лизель?

Она не проговорила.

Яблоки, довольно думала она. Яблоки — и ее вырвало третий раз, на счастье.

АРИЙСКАЯ ЛАВОЧНИЦА

Они стояли у лавки фрау Диллер, привалившись к беленой стене.

Во рту у Лизель Мемингер был леденец.

В глаза ей светило солнце.

Несмотря на все эти трудности, она еще была способна говорить и спорить.

*** * * ОЧЕРЕДНОЙ РАЗГОВОР МЕЖДУ РУДИ И ЛИЗЕЛЬ * * ***

— Давай быстрее, свиноуха, уже десять.

— Нет, только восемь — у меня еще два.
— Тогда быстрее давай. Говорил тебе, надо взять нож и распилить пополам... Все, уже
два.
— Ладно. На. И смотри не проглоти.
— Что ли я похож на идиота?
(Короткое молчание.)
— Вкуснятина, а?
— Спросишь тоже, свиного.

В конце августа и лета они нашли на земле пфенниг. Полнейший восторг.
Он лежал наполовину втоптаный в грязь где-то на бельевом маршруте. Основательно
поржавевшая монетка.

— О, смотри-ка!

Руди метнулся к монете. Волнение так и жгло их, пока они бежали обратно к фрау
Диллер, даже не задумываясь о том, что та самая, *нужная цена*, возможно, больше, чем
единственный пфенниг. Они влетели в лавку и замерли перед арийской лавочницей, под ее
презрительным взглядом.

— Я жду, — сказала она.

Волосы у нее были зачесаны назад, а черное платье душило тело. Обрамленная
фотография фюрера вела наблюдение.

— Хайль Гитлер, — повел за собой Руди.

— Хайль Гитлер, — ответила лавочница, вытягиваясь в струнку за прилавком. — А ты?
Она уставилась на Лизель, которая проворно выдала ей «Хайль Гитлер» от себя.

Руди немедля добыл монету из кармана и решительно выложил на прилавок.
Посмотрел прямо в застекленные очками глаза фрау Диллер и сказал:

— Леденцовую смесь, пожалуйста.

Фрау Диллер улыбнулась. Зубы пихались у нее во рту локтями, им не хватало места, и
от ее неожиданной доброты Руди и Лизель тоже улыбнулись. Но ненадолго.

Фрау Диллер нагнулась, пошарила где-то и снова возникла перед ними.

— Вот, — сказала она, выкидывая на прилавок одинокий леденец. — Смешивайте
сами.

Выйдя, они развернули леденец и попробовали раскусить его надвое, но сахар был как
стекло. Слишком твердый даже для звериных клыков Руди. Так что пришлось сосать леденец
по очереди, пока не кончился. Десять чмоков на Руди. Десять на Лизель. Из рта в рот.

— Вот это, — объявил Руди за сосанием, оскалив леденцовые зубы, — отличная
житуха. — И Лизель не стала возражать. К тому времени, как с леденцом покончили, губы у
обоих стали преувеличенно красными, а по дороге домой они напоминали друг другу
смотреть в оба — вдруг найдется еще одна монета.

Естественно, ничего они не нашли. Никому не может так повезти два раза в один год,
не говоря уже — в день.

И все равно они шли по Химмель-штрассе с красными зубами и языками и довольно
глядели себе под ноги.

Великолепный день, а фашистская Германия — дивная страна.

БОРЕЦ, ПРОДОЛЖЕНИЕ

А теперь мы заглянем вперед, в холодную ночь борьбы. Книжная воришка нагонит нас
потом.

Было 3 ноября, и его подошвы вязли в вагонном полу. Выставив перед собой, он читал
«Майн кампф». Его спасение. Пот струился из его ладоней. Отпечатки пальцев стискивали
книгу.

*** * * ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНИЖНАЯ ВОРИШКА» ОФИЦИАЛЬНО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ***

*** ***

**«Mein Kampf»
 («Моя борьба»)
 автор — Адольф Гитлер**

За спиной Макса Ванденбурга издевательски раскрывал объятия город Штутгарт.

Его никто там не ждал, и он старался не оглядываться, а в желудке у него разлагался черствый хлеб. Два-три раза он подвинулся чтобы взглянуть, как город превратился в горсть огня, а потом совсем исчез.

Смотри гордо, уговаривал он себя. Нельзя выглядеть испуганным. Читай книгу. Улыбайся ей. Это великолепная книга — величайшая из всех, что ты читал. На эту женщину напротив не обращай внимания. Все равно она уже спит. Держись. Макс, еще каких-то несколько часов.

*** * ***

Так вышло, что обещанный следующий визит в комнату тьмы состоялся не через несколько дней; состоялся он через полторы недели. Следующий раз — еще через неделю, потом еще, пока Макс не потерял счет движению дней и часов. Его еще раз перевезли — в другую кладовку, где стало побольше света, побольше визитов и побольше еды. А время между тем кончалось.

— Я скоро уезжаю, — сказал ему друг Вальтер Куглер. — Знаешь же, как оно сейчас — в армию.

— Прости меня, Вальтер.

Вальтер Куглер, Максов друг детства, положил руку еврею на плечо.

— Все могло быть хуже. — Он посмотрел в еврейские глаза друга. — Я мог быть тобой.

То была их последняя встреча. Последняя передача оставлена в углу, и на сей раз в ней лежал билет. Вальтер открыл «Майн кампф» и сунул его, рядом с картой, которую когда-то принес вместе с книгой.

— Тринадцатая страница, — улыбнулся он. — На удачу, ага?

— На удачу. — И двое обнялись.

Когда дверь закрылась, Макс открыл книгу и рассмотрел билет. *Штутгарт — Мюнхен — Пазинг*. Отправление через два дня, ночью, как раз чтоб успеть к последней пересадке. Дальше он пойдет пешком. Карту он уже держал в голове, сложенную вчетверо. Ключ все так же подклеен изнутри к обложке.

Макс посидел еще полчаса, потом шагнул к пакету и заглянул в него. Кроме еды внутри были кое-какие вещи.

*** * * ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖИМОЕ ДАРА ВАЛЬТЕРА КУГЛЕРА * * ***

Одна маленькая бритва.

Ложка — самая похожая на зеркало вещь.

Крем для бритья.

Ножницы.

Когда Макс уходил, кладовка была пуста, если не считать кое-чего на полу.

— Прощай, — шепнул он.

Последним, что там видел Макс, был холмик волос, непринужденно расположившийся под стеной.

Прощай.

С чисто выбритым лицом и криво постриженными, но аккуратно причесанными волосами, он вышел на улицу другим человеком. Фактически он вышел немцем. Минуточку — он и *был* немцем. Или, точнее, *когда-то* был.

В желудке у него плескалась электризующая смесь сытости и тошноты.

Он зашагал к станции.

Показал билет и удостоверение личности, и вот теперь сидел в тесной коробочке купе, прямо в луче прожектора опасности.

— Документы.

Именно это он боялся услышать.

И без того было ужасно, когда его остановили на перроне. Он знал, что второго раза не выдержит.

Дрожащие руки.

Запах — нет, смрад — вины.

Нет, он не вынесет новой проверки.

К счастью, проверка явилась рано и спросила только билет, так что теперь осталось только это окно с городками, роение огней да женщина, храпящая у стены купе напротив.

Большую часть пути он пробирался через книгу, стараясь не поднимать глаз.

Слова расплзались по его языку.

Странно: переворачивая страницы и прочитывая главу за главой, он успел распробовать только два слова.

Mein Kampf. Моя борьба...

Заглавие — снова и снова, а поезд стучал от одного немецкого городка к другому.

Mein Kampf.

Подумать только — вот в чем спасение.

ЛОВКАЧИ

Вы можете не согласиться, что Лизель Мемингер было легко. Но ей *было* легко в сравнении с Максом Ванденбургом. Конечно, у нее, можно сказать, на руках умер брат. Ее оставила мать.

Но все лучше, чем быть евреем.

За время до появления Макса, Роза лишилась еще одного постирочного клиента, на сей раз — Вайнгартнеров. На кухне случился обязательный Schimpferei,⁸ и Лизель успокаивала себя тем, что остаются еще двое, а главное, один из них — бургомистр, его жена, книги.

Что же до других занятий Лизель, то они с Руди Штайнером по-прежнему опустошали окрестности. Я бы сказал даже, что они оттачивали свои преступные ухватки.

Они побывали еще в нескольких экспедициях с Артуром Бергом и его друзьями, стремясь доказать, что чего-то стоят, и расширить собственный воровской репертуар. На одном огороде они крали картошку, на другом — лук. Но своей главной победы они добились сами.

Как мы уже увидели, одной из выгод в прогулках по городу была вероятность найти что-нибудь на земле. Другая выгода состояла в наблюдении за горожанами, и что важно — за *одними и теми же* горожанами, из недели в неделю совершающими одни и те же действия.

⁸ Ругань (нем.).

Одним из таких персонажей был мальчик из их школы, Отто Штурм. Каждую пятницу на своем велосипеде он ездил в церковь — возил продукты для клира.

Они наблюдали за Отто месяц, а погода тем временем из хорошей сделалась скверной, и Руди — в особенности он — твердо решил, что в одну из пятниц, в небывало холодную неделю октября, Отто свой груз не довезет.

— Все эти попы? — развивал мысль Руди, пока они с Лизель шли через Молькинг. — Они и так уже вон какие жирные. Неделю могут обойтись без жрачки, если не больше.

Лизель не стала спорить. Во-первых, она не была католичкой. Во-вторых, ей самой изрядно хотелось есть. Она, как всегда, несла мешок с бельем. Руди нес два ведра холодной воды, или, как он это называл, два ведра будущего льда.

Около двух он принялся за работу.

Без всяких колебаний вылил воду на дорогу точно в том месте, где велосипед Отто будет сворачивать за угол.

Лизель пришлось согласиться.

Поначалу ее покалывала совесть, но план был идеален — или, по крайней мере, близок к идеалу, насколько такое вообще возможно. Каждую пятницу вскоре после двух Отто Штурм выворачивал на Мюнхен-штрассе с корзиной провизии на руле. В эту пятницу он только досюда и доедет.

На дороге и без того была наледь, но Руди добавил новый слой льда и с трудом сдерживал ухмылку. Она словно бы юзом проскальзывала по его лицу.

— Пошли, — сказал Руди, — вон за тот куст.

Спустя приблизительно пятнадцать минут дьявольский план принес, так сказать, свои плоды.

Руди ткнул пальцем в просвет между ветками.

— Вон он.

Отто выехал из-за поворота, мечтательный, как теленок.

Не затягивая дела, потерял управление, пошел в занос и ткнулся лицом в дорогу.

Когда он не шевельнулся, Руди с тревогой посмотрел на Лизель.

— Иисусе распятый, — сказал он. — По-моему, мы его *убили!* — Руди тихонько выбрался из-за куста, забрал корзину, и они двинули прочь.

— Он дышал? — спросила Лизель, когда они немного отошли.

— *Keine Ahnung*, — ответил Руди, прижимаясь к корзине. Понятия не имею.

Спустившись еще дальше по склону, Руди с Лизель стали смотреть, как Отто поднялся, почесал в голове, почесал в паху и принялся озираться в поисках корзины.

— Глупый *Scheisskopf*, — ухмыльнулся Руди, и они начали рассматривать добычу. Хлеб, побитые яйца и гвоздь программы — *Speck*.⁹ Руди поднес жирный окорок к носу и восторженно потянул ноздрями. — Здорово.

Как ни подмывало их воспользоваться победой единолично, верность Артуру Бергу оказалась сильней. Они добрались до его убогой квартирki на Кемпф-штрассе и показали провиант. Артур не смог скрыть одобрения.

— У кого стырили?

Ответил Руди:

— У Отто Штурма.

— Ага, — кивнул Артур, — кто бы он ни был, спасибо ему от меня. — Он скрылся в доме и вернулся с кухонным ножом, сковородой и курткой, и три вора зашагали по многоквартирному коридору. — Позовем остальных, — объявил Артур Берг, когда они

⁹ Шпик (нем.).

выбрались наружу. — Может, мы и преступники, но не совсем бессовестные. — Точно как книжная воришка, он, по крайней мере, где-то подводил черту.

Постучали еще в несколько дверей. Выкликнули несколько имен под окнами, и скоро все фруктокрадное воинство Артура Берга в полном составе держало путь на берег Ампера. На поляне за рекой разожгли костер и рачительно зажарили все, что осталось от яиц. Порезали хлеб и шпик. Руками и ножами подчистую доели всю корзину Отто Штурма. Без всяких попов.

И только в конце произошел спор — из-за корзины. Большинство мальчиков хотели ее сжечь. Фриц Хаммер и Анди Шмайкль предлагали оставить себе, но у Артура Берга, выказывавшего нелепую приверженность к морали, возникла мысль получше.

— Вы, — обратился он к Руди и Лизель. — Может, вам лучше вернуть ее этому чудику Штурму. Мне кажется, бедолага хотя бы это заслужил.

— Ой, перестань, Артур.

— И слышать не желаю, Анди.

— Господи Иисусе.

— И *он* тоже не желает.

Шайка рассмеялась, и Руди Штайнер взял корзину.

— Я отнесу, повешу им на калитку.

Он прошел метров двадцать, и его нагнала Лизель. Теперь она попадет домой поздно, и будут неприятности, но она хорошо знала, что должна сопровождать Руди Штайнера через весь Молькинг до фермы Штурмов на другом конце города.

Сначала они долго шли молча.

— Тебе стыдно? — спросила наконец Лизель. Они уже возвращались домой.

— Чего?

— Сам знаешь.

— Конечно стыдно, зато я сейчас жрать не хочу и, могу спорить, *он* — тоже. Ты ж не думай, что они возили бы еду попам, если б у них дома ее не было навалом.

— Но он так треснул об землю.

— Не напоминай. — Однако Руди Штайнер не удержался от улыбки. В ближайшие годы он станет подателем хлеба, а не похитителем — еще один образец противоречивой человеческой природы. Столько-то доброго, столько-то злого. Разбавляйте по вкусу.

Через пять дней после этой кисло-сладкой победы Артур Берг появился опять и позвал Руди и Лизель на новую воровскую затею. Они столкнулись с Артуром на Мюнхен-штрассе в среду, по дороге из школы. Артур был уже в форме Гитлерюгенда.

— Завтра вечером опять пойдем. Будете?

Тут им было не устоять.

— А куда?

— На картошку.

Спустя двадцать четыре часа Руди с Лизель опять храбро одолели проволочную изгородь и набили свой мешок.

Неприятность обнаружилась, когда они уже удирали.

— Иисусе! — завопил Артур. — Хозяин! — Но страшным было его следующее слово. Он выкрикнул его так, будто это слово уже занесли над ним. Его рот разорвался в крике. Слово вылетело, и слово это было — *топор*.

И конечно, когда они обернулись, хозяин бежал на них, высоко занеся свое оружие.

Вся шайка кинулась к ограде и перемахнула на ту сторону. Руди, который был от изгороди дальше всех, быстро нагонял остальных, но как ни мчался, а бежал он последним. Закинув ногу на изгородь, Руди зацепился за проволоку.

— Эй!

Крик выброшенного на мель.

Шайка остановилась.

Безотчетно Лизель бросилась назад.

— Быстрее! — заорал Артур. Голос его был далеким, будто Артур его проглотил, не успел тот вылететь изо рта.

Белое небо.

Остальные бежали.

Лизель, подскочив, стала отцеплять штаны Руди. Руди смотрел широкими от ужаса глазами.

— Скорее, — сказал он, — поймают.

Вдалеке еще слышался топот дезертирских ног, когда еще одна рука схватила проволоку и оттянула ее от брюк Руди Штайнера. На стальном узле остался клочок, но мальчик освободился.

— Унесите ноги, — посоветовал им Артур, и вскоре на том месте, бранясь и задыхаясь, уже стоял хозяин. Топор приник — с силой — к его ноге. Хозяин выкрикивал пустые угрозы обворованного:

— Я вас в полицию сдам! Я вас найду! Я узнаю, кто вы такие!

На это Артур Берг ему ответил:

— Жалуйся на Оуэнза! — И ускакал догонять Лизель и Руди. — На Джесси Оуэнза!

В безопасном месте, с трудом всасывая воздух в легкие, они опустились на траву; подошел Артур Берг. Руди боялся на него смотреть.

— Это с каждым из нас бывало, — сказал Артур, чувствуя его огорчение. Солгал? Этого они не могли точно знать и никогда не узнают.

Через несколько недель Артур Берг переехал в Кёльн.

Они встретили его еще однажды, на бельевом обходе Лизель. В переулке у Мюнхен-штрассе он протянул девочке коричневый бумажный пакет с десятком каштанов внутри. Ухмыльнулся:

— Связи в жарочной промышленности. — Рассказав об отъезде, он не преминул выдать им последнюю прыщавую улыбку и легонько шлепнул каждого по лбу. — И смотрите, не съедайте все зараз! — И они больше никогда не видели Артура Берга.

Что же до меня, могу сказать, что я-то его еще как видел.

*** * * МАЛЕНЬКАЯ ДАНЬ АРТУРУ БЕРГУ, ЕЩЕ ЖИВУЩЕМУ ЧЕЛОВЕКУ * * ***

Кёльнское небо было желтое и гноилось, шелушилось по краям.

Он сидел, опираясь на стену, с ребенком на руках. Своей сестрой.

Когда она перестала дышать, он остался с ней, и я понял, что он будет держать ее еще не один час.

В кармане у него лежало два краденых яблока.

На сей раз они поступили умнее. Съели по одному каштану, а остальное распродали, обходя дом за домом.

— Если у вас есть несколько лишних пфеннигов, — говорила Лизель в каждом доме, — то у меня есть каштаны. — Так они наторговали шестнадцать монет.

— Ну, — осклабился Руди, — отомстим.

Под вечер они вернулись к лавке фрау Диллер, вошли, отхайльгитлерили и встали у прилавка.

— Опять леденцовая смесь? — Фрау Диллер усмехнулась — «шмунцелем», — на что они кивнули. На прилавок выплеснулись монеты, и челюсть фрау Диллер слегка отвисла.

— Да, фрау Диллер, — ответили они в один голос. — Леденцовую смесь, пожалуйста.

Обрамленный фюрер, казалось, гордился ими.
Ликование перед бурей.

БОРЕЦ, ОКОНЧАНИЕ

На этом заканчивается ловкость рук хитреца, а потуги борца — нет. На одной руке у меня Лизель Мемингер, на другой — Макс Ванденбург. И скоро я хлопком соединю их. Потерпите еще несколько страниц.

Борец:

Если убьют до наступления ночи, по крайней мере, он умрет живым.

Путешествие на поезде осталось далеко позади, храпунья, скорее всего, едет дальше, кутаясь в вагон, ставший ей постелью. Теперь только шаги отделяют Макса от спасения. Шаги и мысли — и сомнения.

По карте, что была у него в голове, он дошел от Пазинга до Молькинга. Когда он увидел город, было уже поздно. Его ноги страшно гудели, но он был почти на месте — в самом опасном месте, где только можно оказаться. Протяни руку — и дотронешься.

Точно по описанию он нашел Мюнхен-штрассе и зашагал по тротуару.

Все напряглось.

Тлеющие лузы уличных фонарей.

Темные безразличные здания.

Ратуша стояла как здоровенный неповоротливый юнец-переросток. Кирха растворялась во тьме, чем выше он вел взглядом.

Все это смотрело на него.

Он поежился.

И предостерег себя:

— Смотри в оба.

(Немецкие дети выискивали заблудшие монеты. Немецкие евреи высматривали, не грозит ли поимка.)

По-прежнему полагаясь на свое счастливое число, он отсчитывал шаги группами по тринадцать. Всего тринадцать шагов, говорил он себе. Ну, давай, еще тринадцать. Он сосчитал так примерно девяносто раз, и вот наконец очутился на углу Химмель-штрассе.

В одной руке он нес чемодан.

В другой все еще сжимал «Майн кампф».

Обе ноши были тяжелы, обе вызывали легкое потоотделение.

Вот он свернул в переулок и направился к дому № 33, обуздывая в себе тягу улыбнуться, обуздывая тягу всхлипнуть и даже предвкушение укрытия впереди. Он напоминал себе, что не время надеяться. Конечно, он уже почти дотягивался до надежды. Чуял ее где-то там, куда еще чуть-чуть — и достанешь рукой. Но он не стал этого признавать — он снова стал рассчитывать, что делать, если его схватят в последний момент или по какой-то случайности за дверь окажется не тот человек.

И конечно, свербящее сознание греха.

Как он может так поступать?

Как он может заявляться и просить людей рисковать из-за него жизнью? Как он может быть таким себялюбцем?

Тридцать три.

Они посмотрели друг на друга.

Дом был бледный, на вид почти болезненный, с железной калиткой и бурой

заплеванной дверью.

Из кармана Макс вынул ключ. Тот не блеснул — лежал в ладони тускло и вяло. Макс на миг сжал ключ в кулаке, едва не ожидая, что он вытечет ему на запястье. Не вытек. Сталь была твердой и плоской, с комплектом негнилых зубов, и Макс сжимал кулак, пока эти зубы не проткнули его.

И тогда, медленно, борец подался вперед, щекой к дереву, и изъясил ключ из кулака.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ «ЗАВИСШИЙ ЧЕЛОВЕК»

с участием:

**аккордеониста — исполнителя обещаний — славной девочки —
еврейского драчуна — ярости розиной — лекции — спящего — обмена
сновидениями — и нескольких страниц из подвала**

АККОРДЕОНИСТ (Тайная жизнь Ганса Хубермана)

На кухне стоял молодой человек. Он чувствовал, что ключ в руке как будто приржавел к его ладони. Он не сказал ни слова, вроде «привет» или «пожалуйста, помогите», или другую подходящую к случаю фразу. Он задал два вопроса.

*** * * ВОПРОС ПЕРВЫЙ * * ***

— Ганс Хуберман?

*** * * ВОПРОС ВТОРОЙ * * ***

— Вы еще играете на аккордеоне?

Ганс растерянно всматривался в человеческий силуэт перед собой, и тут молодой человек наскреб и подал через темноту свой голос, будто это все, что осталось от него самого.

Папа в тревоге и смятении шагнул ближе.

И прошептал кухне:

— Играю, конечно.

Все это началось много лет назад, в Первую мировую войну.

Странные они, эти войны.

Море крови и жестокости — но и сюжетов, у которых также не достать дна. «Это правда, — невнятно бормочут люди. — Можете не верить, мне все равно. Та лиса спасла мне жизнь». Или: «Тех, кто шел слева и справа, убило, а я так и стоял, единственный не получил пулю между глаз. Почему я? Я остался, а они погибли?»

История Ганса Хубермана была примерно в этом духе. Наткнувшись на нее среди слов книжной воришки, я понял, что в те дни мы с Гансом несколько раз прошли рядом, хотя ни один из нас встречи не назначал. У меня было слишком много работы. Ну а Ганс, я думаю, любыми путями старался меня избежать.

Первый раз мы оказались рядом, когда Гансу было двадцать два, он сражался во Франции. Большинство парней из его взвода горело желанием драться. Ганс же не был так решителен. Кого-то из них я по ходу дела подобрал, но до Ганса Хубермана я, можно сказать, даже не дотронулся. То ли он был везучим, то ли не заслуживал смерти, то ли его жизни была особая причина.

В армии он не высовывался ни с какого краю. Бежал в середине, полз в середине и целился так, чтобы только не злить командиров. И не был таким удальцом, чтобы его в числе

первых послали на меня в атаку.

*** * * МАЛЕНЬКОЕ, НО ПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ * * ***

За свои годы я перевидал великое множество молодых мужчин, которые думают, что идут в атаку на других таких же.

Но нет.

Они идут в атаку на меня.

Ганс оказался во Франции, провоевав почти полгода, и там ему спасло жизнь странное на первый взгляд событие. Но другой ракурс показал бы, что в бессмыслице войны событие это было как нельзя более осмысленным.

Вообще, с первого дня в армии Ганс не переставал удивляться тому, что видел на Великой войне. Это было похоже на роман с продолжением. День за днем, день за днем. За днем:

Разговор пуль.

Слегшие солдаты.

Лучшие в мире сальные анекдоты.

Застывший пот — маленький зловерный приятель, — чересчур загостившийся в подмышках и на штанах.

Больше всего ему нравилось играть в карты, потом — редкие партии в шахматы, хотя и в том и в другом Ганс был совершенно жалок. Ну и музыка. Обязательно музыка.

В части был парень на год старше Ганса — немецкий еврей по имени Эрик Ванденбург, — который научил его играть на аккордеоне. Ганс и Эрик постепенно сдружились на почве того, что обоим было не страсть как интересно воевать. Сворачивать самокрутки им нравилось больше, чем ворочаться в снегу и грязи. Раскидывать карты нравилось больше, чем раскидывать пули. Крепкая дружба была замешана на игре, табаке и музыке, не говоря уже об одном на двоих стремлении уцелеть. Одна беда — позже Эрика Ванденбурга нашли на поросшем травой холме разорванным в куски. Он лежал с открытыми глазами, обручальное кольцо украли. Я загреб его душу вместе с остальными, и мы тронулись прочь. Горизонт был цвета молока. Холодного и свежего. Пролитого между тел.

Все, что на самом деле осталось от Эрика Ванденбурга, — несколько личных вещей и захватанный пальцами аккордеон. Все, кроме аккордеона, отправили родным. Инструмент оказался слишком громоздким. Он лежал, словно бы терзаясь совестью, на походной кровати Эрика в расположении части, и его отдали Гансу Хуберману, который оказался единственным, кто выжил.

*** * * А ВЫЖИЛ ОН ТАК * * ***

В тот день он не пошел в бой.

Этим он был обязан Эрику Ванденбургу. Или, точнее, Эрику Ванденбургу и зубной щетке сержанта.

В то утро незадолго до выдвижения на позиции в расположение спящего взвода шагнул и потребовал внимания сержант Стефан Шнайдер. Солдаты любили его за юмор и смешные проделки, но еще больше — за то, что он ни за кем не бежал под пули. Он всегда вставал первым.

В иные дни он чувствовал потребность войти в блиндаж с отдыхающими солдатами и спросить что-нибудь вроде: «Кто тут из Пазинга?» — или: «Кто хорошо знает математику?» — или, как в судьбоносном для Ганса случае: «У кого аккуратный почерк?»

И никто не объявлялся — после того, как он вошел с таким вопросом в первый раз.

Тогда рыяный молодой солдат по имени Филипп Шлинк гордо встал и ответил: «Да, командир, я из Пазинга». Ему тут же вручили зубную щетку и послали чистить сортир.

И вы, конечно, понимаете, почему никто не отозвался, когда сержант спросил, кто во взводе самый лучший каллиграф. Каждый думал, как бы перед выходом на позиции не подвергнуться сначала полной гигиенической инспекции или не подписаться на чистку забрызганных дерьмом сапог эксцентричного лейтенанта.

— Ну так как же? — подначивал Шнайдер. Прилизанные волосы у сержанта лоснились от масла, хотя одинокий вихор всегда торчал бдительным стражем на самой макушке. — Хоть *кто-то* из вас, негодных скотов, должен уметь нормально писать.

Вдали слышалась канонада.

Это подстегнуло.

— Слушайте, — сказал Шнайдер, — это не как обычно. Наряд займет все утро, а то и больше. — Он не смог сдержать улыбки. — Пока Шлинк вылизывал сортир, остальные шпилились в карты, но в этот раз они пойдут *туда*.

Жизнь или достоинство.

Сержант явно надеялся, что у одного из его людей хватит ума выбрать жизнь.

Эрик Ванденбург и Ганс Хуберман переглянулись. Если кто-нибудь сейчас вызовется, для него вся оставшаяся жизнь в этом взводе превратится в сущий ад. Трусов не любят нигде. С другой стороны, ведь надо кого-то выбрать...

Вперед так никто и не вышел, но чей-то голос, втянув шею, подтрусил к сержанту. И сел у его ног, дожидаясь хорошего пинка. Голос сказал:

— Хуберман, мой командир! — Голос принадлежал Эрику Ванденбургу. Похоже, он подумал, что его другу еще не время умирать.

Сержант прошел вперед-назад коридором солдат.

— Кто это сказал?

Он виртуозно задавал шаг, этот Стефан Шнайдер — маленький человек, который говорил, двигался и действовал второпях. Сержант вышагивал туда-сюда между двумя шеренгами, а Ганс Хуберман поднял глаза, ожидая новостей. Может, стало дурно медсестре и кто-то должен менять повязки на гноящихся конечностях раненых солдат. Может, нужно, обливав, заклеить и разослать по адресам тысячу конвертов с похоронками.

В этот миг снова выдвинулся чей-то голос, потянув за собой и несколько других.

— Хуберман, — отозвались они. Эрик даже добавил:

— Безукоризненный почерк, командир, *безукоризненный*.

— Ну, решено. — Округлая ухмылка маленького рта. — Хуберман. Ты.

Долговязый юный солдат выступил вперед и спросил, какое задание его ждет.

Сержант вздохнул:

— Капитану нужно написать с полсотни писем. А у него ужасный ревматизм в пальцах. Или артрит. Будешь писать за него.

Спорить не было смысла, ведь Шлинка отправили драить сортиры, а другой солдат, Пфлеггер, чуть не скончался, облизывая конверты. Язык у бедняги посинел, будто от заразы.

— Слушаюсь. — Ганс Хуберман кивнул, и с делом покончили.

Чистописание у него было сомнительное, чтоб не сказать больше, но он понял, что ему повезло. Он писал старательно, как мог, а остальные тем временем пошли в бой.

И никто не вернулся.

Так Ганс Хуберман ускользнул от меня в первый раз. На Великой войне.

Второй раз еще предстоит — в 1943 году в Эссене.

Две войны — два спасения.

Раз юношей, раз пожилым.

Немногим так везет обдурить меня дважды.

Аккордеон он возил с собой всю войну.

Вернувшись, Ганс разыскал в Штутгарте семью Эрика Ванденбурга, и вдова сказала, что он может оставить инструмент у себя. Аккордеонами у нее была завалена вся квартира, а видеть этот ей было особенно больно. И свои-то довольно напоминали ей о прошлом — как и сама профессия учителя музыки, некогда общая у них с мужем.

— Он учил меня играть, — сообщил ей Ганс, как будто от этого могло полегчать.

Может, ей и полегчало, потому что опустошенная женщина спросила, не поиграет ли ей Ганс, и беззвучно плакала, пока он тискал кнопки и клавиши в неуклюжем вальсе «Голубой Дунай». Это была любимая мелодия мужа.

— Понимаете, — объяснил ей Ганс, — он спас мне жизнь. — Свет в комнате был крохотный, а воздух — запертый. — Он... Если вам когда-нибудь что-то понадобится... — Он подвинул по столу клочок бумаги со своим именем и адресом. — Я по профессии маляр. Вашу квартиру покрашу бесплатно, когда ни попросите. — Ганс понимал, что это бесполезная компенсация, но все равно предложил.

Женщина взяла бумажку, и тут в комнату забрел карапуз и влез к ней на колени.

— Это Макс, — сказала женщина, только мальчик был слишком мал и робок и не сказал ничего. Он был худенький, с мягкими волосами и смотрел густыми илистыми глазами, как чужой человек заиграл в тягостной комнате новую песню. С одного лица на другое переводил мальчик взгляд, пока мужчина играл, а женщина плакала. Ее глазами распоряжались другие ноты. Такая грусть.

Ганс ушел.

— Ты ни разу не говорил, — сказал он мертвому Эрику Ванденбургу и штутгартскому горизонту. — Ни разу не говорил, что у тебя есть сын.

И после минутной остановки, чтобы покачать головой, Ганс вернулся в Мюнхен, полагая, что больше никогда не услышит об этих людях. А не знал он вот чего: помощь от него еще как понадобится, но не в покраске и не в ближайшие двадцать с лишним лет.

Прошло несколько недель, и Ганс вернулся к работе. В погожие месяцы работа шла бойко, и даже зимой он нередко говорил Розе, что пусть заказы и не сыплются на него дождем, но все же время от времени пробрызгивают.

Больше десяти лет все так и шло.

Родились Ганс-младший и Труди. Подрастая, они навещали папу на работе, мазали краской стены и мыли кисти.

А когда в 1933 году к власти пришел Гитлер, дела с работой у Ганса как-то разладились. В отличие от большинства других Ганс не вступил в НСДАП. К этому решению он пришел путем долгих размышлений.

*** * * ХОД МЫСЛЕЙ ГАНСА ХУБЕРМАНА * * ***

У него не было ни образования, ни воззрений, но что-то, а справедливость он понимал.

Когда-то еврей спас ему жизнь, и забыть этого Ганс не мог.

И не мог вступить в партию, которая таким способом искала себе врагов.

К тому же, как и у Алекса Штайнера, евреями были некоторые из его верных заказчиков.

Как и многие евреи, Ганс Хуберман не верил, что эта ненависть может продержаться долго, и сознательно решил не идти вслед за Гитлером.

Во многих смыслах это решение было пагубным.

Когда начались гонения, спрос на его работу мало-помалу иссяк. Поначалу не так резко, но потом его клиенты стали пропадать. Заказы словно горстями растворялись в дрожавшем фашистском мареве.

Однажды завидев на Мюнхен-штрассе своего старого верного клиента по имени Герберт Боллингер — человека с талией-экватором, говорившего на Hochdeutsch¹⁰ (он был из Гамбурга), — Ганс подошел и задал ему вопрос. Сначала Герберт смотрел вниз, мимо своего пуза в землю, но когда снова поднял глаза на Ганса, было ясно, что от вопроса ему неловко. И чего Гансу понадобилось его задавать?

— Что происходит, Герберт? Заказчики испаряются так, что я считать не успеваю.

Боллингер перестал мяться. Выпрямившись, он облек факт в собственный вопрос.

— Ну так ведь, Ганс... Ты в рядах?

— В каких?

Ганс Хуберман отлично знал, о чем говорит Боллингер.

— Да брось, Ганси, — настаивал тот. — Не заставляй проговаривать по буквам.

Рослый маляр отмахнулся от него и зашагал дальше.

Шли годы, евреев уже гнобили там и тут по всей стране, и вот весной 1937-го, почти стыдясь самого себя, Ганс наконец сдался. Навел кое-какие справки и подал заявление.

Заполнив анкету в штабе Партии на Мюнхен-штрассе, Ганс вышел, и на его глазах четверо мужчин швырнули несколько кирпичей в витрину торговца готовым платьем Кляйнмана. То был один из немногих еврейских магазинов, еще работавших в Молькинге. Внутри запинаясь человек, битое стекло крошилось под ногами, пока он пытался наводить порядок. На двери была намалевана звезда цвета горчицы. Небрежно начертанные слова ЕВРЕЙСКАЯ МРАЗЬ подтекали по краям. Движение внутри, сперва суетливое, стало унылым, потом совсем замерло.

Ганс подошел и заглянул в магазин.

— Вам помочь?

Герр Кляйнман поднял голову. С его руки бессильно свисала метелка для пыли.

— Нет, Ганс. Прошу вас. Уходите. — Дом Йоэля Кляйнмана Ганс красил в прошлом году. Помнил троих его детей. Он видел их лица, но не мог припомнить имен.

— Я приду завтра, — сказал он, — и покрашу вам дверь.

Что он и сделал.

Это была вторая из двух его ошибок.

А первую он допустил сразу же после происшествия.

Он вернулся туда, откуда шел, и двинул кулаком в дверь, потом в окно партийного штаба. Стекло содрогнулось, но никто не ответил. Все уже собрали вещи и разошлись по домам. Последний из партийцев как раз удалялся по Мюнхен-штрассе. Услышав дребезг стекла, он заметил маляра.

Вернулся и спросил, в чем дело.

— Я передумал, — заявил Ганс.

Партиец остолбенел:

— Но почему?

Ганс оглядел костяшки своей правой руки и сглотнул. Он уже чувствовал вкус ошибки — вроде железной таблетки во рту.

— Нет, ничего. — Повернулся и зашагал домой.

За ним полетели слова.

— Подумайте еще, герр Хуберман. Сообщите нам, что решите.

Ганс сделал вид, что не услышал.

Наутро, как и обещал, он встал пораньше, но все-таки позже, чем следовало. Дверь магазина Кляйнмана была еще сырая от росы. Ганс ее вытер. Подобрал насколько возможно

¹⁰ Литературный немецкий язык (*нем.*).

близкий цвет и покрыл дверь густым ровным слоем краски.

Мимо шел какой-то непримечательный человек.

— Хайль Гитлер, — сказал он Гансу.

— Хайль Гитлер, — ответил Ганс.

*** * * ТРИ МАЛЕНЬКИХ, НО ВАЖНЫХ ФАКТА * * ***

1. Человек, который шел мимо, был Рольф Фишер, один из главных фашистов

Молькинга.

2. Не прошло и шестнадцати часов, как на двери снова появились бранные слова.

3. Ганса Хубермана не приняли в фашистскую партию. Во всяком случае — пока.

Следующий год показал: Гансу повезло, что он не отозвал своего заявления официально. Пока других принимали пачками, его поставили в список ожидающих и относились к нему с подозрением. К концу 1938 года, когда после «Хрустальной ночи»¹¹ евреев вычистили полностью, завилось гестапо. Дом обыскали, ничего подозрительного не нашли, и Ганс оказался в числе счастливицков:

Его не тронули.

Спасло его, видимо, то, что люди знали — Ганс по крайней мере *ожидает* приема в партию. Из-за этого его и терпели, и даже где-то ценили как квалифицированного маляра.

А потом — у него был еще один спаситель.

Скорее всего, от всеобщего осуждения его спас аккордеон. Маляры-то были, их в Мюнхене полно, но после краткого обучения у Эрика Ванденбурга и почти двух десятилетий собственной практики Ганс Хуберман играл на аккордеоне, как никто в Молькинге. Его стилем была не виртуозность, а сердечность. И даже ошибки у него были какие-то милые.

Когда надо было отхайльгитлерить, Ганс так и делал, а по установленным дням вывешивал флаг. Казалось, все шло более или менее нормально.

Пока 16 июня 1939 года (дата уже будто зацементировалась), через полгода с небольшим после того, как на Химмель-штрассе появилась Лизель Мемингер, не произошло событие, бесповоротно изменившее жизнь Ганса Хубермана.

В тот день у него была кое-какая работа.

Он вышел из дому ровно в семь утра.

Тянул за собой тележку с кистями и красками, ничуть не подозревая, что за ним следят.

Когда он добрался до места, к нему подошел молодой незнакомец. Светловолосый, высокий, серьезный.

Мужчины посмотрели друг на друга.

— Вы будете Ганс Хуберман?

Ганс ответил коротким кивком. И потянулся за кистью.

— Буду.

— Вы случайно не играете на аккордеоне?

Тут Ганс замер, так и не тронув кисти. И снова кивнул.

Незнакомец потер челюсть, огляделся и заговорил совсем тихо, но совершенно четко.

— Вы умеете держать слово?

Ганс снял с тележки две жестянки с краской и предложил знакомцу сесть. Прежде чем принять приглашение, юноша протянул руку и представился:

— Моя фамилия Куглер. Вальтер. Я приехал из Штутгарта.

Они сели и с четверть часа негромко говорили — и договорились встретиться позже, вечером.

¹¹ «Хрустальная ночь» (нем. Kristallnacht) — всегерманский и всеавстрийский еврейский погром в ночь с 9 на 10 ноября 1938 г., поводом к которому послужило убийство в Париже 17-летним польским евреем Гершелем Грюншпаном 7 ноября 1938 г. советника германского посольства Эрнста фон Рата.

СЛАВНАЯ ДЕВОЧКА

В ноябре 40-го, когда Макс Ванденбург объявился на кухне дома 33 по Химмель-штрассе, ему было двадцать четыре года. Одежда, казалось, гнула его к земле, а усталость была такова, что, почесавшись он сейчас — сломался бы пополам. Потрясенный и трясущийся, он стоял в дверях.

— Вы еще играете на аккордеоне?

Конечно, на самом деле вопрос был: «Вы еще согласны мне помочь?»

Папа Лизель прошел к двери, открыл ее. Опасливо оглянулся по сторонам и вернулся в дом.

— Никого, — прозвучал вывод.

Макс Ванденбург, еврей, прикрыл глаза и ссутулился, склонившись еще ниже к спасению. Даже мысль о нем была смехотворной, но все же он ее принял.

Ганс проверил, плотно ли задернуты шторы. Нельзя оставить ни щелочки. И пока Ганс проверял, Макс не выдержал. Он скрючился и сцепил руки.

Тьма погладила его.

Пальцы его пахли чемоданом, железом, «Майн кампфом» и выживанием.

И лишь когда он поднял голову, тусклый свет из коридора блеснул ему в глаза. Он заметил девочку в пижаме — она стояла, не прячась.

— Папа?

Макс вскочил, как чиркнувшая спичка. Тьма разбухла, окружив его.

— Все хорошо, Лизель, — сказал Папа. — Иди спать.

Она помедлила секунду и только потом ноги нехотя потащились за нею прочь. А когда остановилась и украдкой бросила еще один, последний взгляд на чужака посреди кухни, она распознала на столе очертания книги.

— Не бойтесь, — услышала она Папин шепот. — Она славная девочка.

Следующий час славная девочка пролежала в постели без сна, слушая тихую невнятицу фраз с кухни.

В забег еще не вышла темная лошадка...

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОГО ДРАЧУНА

Макс Ванденбург родился в 1916 году.

Он рос в Штутгарте.

Мальчишкой он ничего так не любил, как хорошую драку.

Первый бой случился у него в одиннадцать лет — Макс тогда был тощим, как занозистая швабра.

Венцель Грубер.

Вот с кем он подрался.

Языкастый он был, этот Грубер, и с проволочно-курчавыми волосьями. Двор захотел, чтобы они подрались, и никто из двоих не решился отказаться.

Они дрались, как чемпионы.

С минуту.

Но едва началось интересное, мальчиков растащили за воротники. Бдительный родитель.

У Макса из губы струйкой сочилась кровь.

Он попробовал ее на вкус, и вкус ему понравился.

В его округе драчунов было немного, а те, что были, дрались не кулаками. В те дни считалось, что евреи предпочитают все терпеть. Безропотно сносить унижения, а потом

снова своим трудом пробиваться наверх. Понятно, не все евреи одинаковы.

* * *

Максу не исполнилось и двух лет, когда погиб отец, разорванный в куски на поросшем травую холме.

Когда ему было девять, мать окончательно разорилась. Продала музыкальную студию, в которой они и жили, и переехала с Максом в квартиру его дяди. Там он и рос — с шестью кузенами, которые колотили, злили и любили его. Схватки со старшим, Исааком, стали учебной базой для Максовых уличных сражений. Исаак отделял его почти ежевечерне.

В тринадцать ударила новая трагедия — дядя умер.

Как и предписывает вероятность, дядя не был таким сорвиголовой, как Макс. Он был человеком того типа, что безропотно вкалывают за самое мизерное вознаграждение. Жил себе на уме и жертвовал всем ради семейства — и умер от какого-то нароста в желудке. Вроде ядовитого кегельного шара.

Как часто бывает, родня окружила его кровать и смотрела, как он капитулирует.

Почему-то где-то между горем и растерянностью Макс Ванденбург — подросток с жесткими руками, подбитыми глазами и больным зубом — переживал еще и легкое разочарование. Даже досаду. Видя, как дядя медленно тонет в постели, Макс решил, что никогда не позволит себе умереть вот так.

Дядино лицо было таким всепринимавшим.

Таким желтым и безмятежным при всем свирепом сложении его черепа — бесконечной, на километры протянувшейся линии челюсти, торчащих скулах и норах глазниц. Таким спокойным, что мальчику захотелось кое-что спросить.

А где же драка? — недоумевал он.

Где воля к сопротивлению?

Конечно, в тринадцать лет Макс судил слишком сурово. Он еще не заглядывал в лицо никому, вроде *меня*. Пока то есть.

Вместе со всеми он стоял у кровати и смотрел, как дядя умирает — надежное слияние, от жизни к смерти. Свет в окне был серым и оранжевым, оттенка летней кожи, а дяде, казалось, стало легче, когда его дыхание улетучилось совсем.

Когда смерть меня схватит, поклялся тогда мальчик, она почувствует у себя на роже мой кулак.

Лично я такое люблю. Такую глупую отвагу.

Да.

Ужасно люблю.

С того дня Макс стал драться с большей регулярностью. Компания сорвиголов, друзей и соперников, собиралась на маленьком пятачке у Штебер-штрассе, где они и дрались в умирающем свете дня. Чистокровные немцы, случайный еврей, мальчики с востока. Неважно. Когда надо выплеснуть подростковую энергию, нет ничего лучше хорошей драки. Там даже враги были в одном шаге от дружбы.

Макс любил тесный кружок и неизвестность.

Сладость и горечь неопределенности:

Ты или тебя.

Это был такой ток в животе, что вихрится все сильнее, пока не поймешь: дальше терпеть некуда. Единственное средство — наскокивать и бить. Макс был не из тех, кто готов умереть в раздумьях.

Теперь, когда он оглядывался в прошлое, его любимой дракой была пятая по счету драка с высоким, крепким и поджарым пареньком по имени Вальтер Куглер. Им было по пятнадцать. В четырех прежних схватках побеждал Вальтер, однако на сей раз Макс предчувствовал иное. В нем текла новая кровь — кровь победы, — и она имела свойство пугать и восхищать одновременно.

Как всегда, толпа обступила их тесным кругом. Неряшливая земля. Лица зрителей словно обмотаны улыбками. Грязные пальцы тискали деньги, а в воплях и окриках было столько жизни, что не осталось ничего другого.

Боже, сколько в этом было радости и страха, сколько великолепной суеты.

Двух бойцов сковало напряжением момента, лица заряжены, подчеркнуты стрессом. Глазастая сосредоточенность.

С минуту они испытывали друг друга, потом начали сходитья ближе, рискуя больше. В конце концов, это же уличная драка, а не часовой бой за чемпионский титул. Они не могли драться весь день.

— Давай, Макс! — выкрикнул один из друзей. Без единого выдоха между словами. — Давай, Макси-Такси, вломи ему, вломи ему, еврейчик, вломи ему!

Мелкий пацан с клочковатыми мягкими волосами, сломанным носом и болотистыми глазами, Макс был на целую голову ниже соперника. Манера драться у него была совершенно неизящная: низко пригнувшись, он лез вперед, быстро выбрасывая кулаки в лицо Куглеру. Противник, явно более сильный и умелый, держался прямо и отвечал ударами, которые стабильно приходились в Максовы скулы и подбородок.

Макс напирал.

Даже по-тяжелому вбирая удары и наказание, он продолжал наступать. Кровь обесцветила его губы. Скоро она засохнет на зубах.

Вот Макса сбили с ног, зрители завыли. Потянулись руки с деньгами.

Макс поднялся.

Поднявшись с земли вторично, Макс решил сменить тактику и подманить Куглера чуть ближе, чем тот хотел подходить. И когда Куглер приблизился, сумел нанести резкий и короткий прямой в лицо. И попал. Точно в нос.

Враз ослепнув, Куглер подался назад, и тут Макс не упустил случая. Он прынул за Куглером вправо и вмазал еще раз, а ударом в ребра заставил раскрыться. Прикончившая Куглера правая Макса врезалась в подбородок. Вальтер рухнул, светлые волосы наперчились грязью. Он разбросал ноги циркулем. По лицу катились хрусталики слез, хотя Вальтер не плакал. Эти слезы из него вышибли.

Круг считал.

Они всегда считали, на всякий случай. Голоса и числа.

Обычай требовал, чтобы после боя побежденный поднял вверх руку победителя. Когда Вальтер Куглер наконец встал на ноги, он мрачно подошел к Максусу и поднял его руку в небо.

— Пасиб, — сказал ему Макс.

Вальтер ответил предупреждением:

— В следующий раз я тебя убью.

За несколько следующих лет Макс Ванденбург и Вальтер Куглер подрались всего тринадцать раз. Вальтер все время хотел взять реванш за ту первую победу, которую Макс у него вырвал, а Максусу хотелось повторить тот славный миг. В итоге счет был 10:3 в пользу Вальтера.

Они дрались до 1933 года, когда им исполнилось семнадцать. Невольное уважение переросло в настоящую дружбу, и жажда драки покинула их. У обоих была работа, пока в 1935-м Макса не выставили вместе с остальными евреями с механического завода

Йедермана. Было это вскоре после принятия Нюрнбергских законов,¹² лишивших евреев немецкого гражданства и запретивших браки между евреями и немцами.

— Господи, — сказал Вальтер в один вечер, когда они встретились в том закоулке, где прежде обычно дрались. — Вот жизнь была, а? Про такую ерунду и не слышали. — Он шлепнул тыльной стороной ладони по звезде на Максовом рукаве. — Сейчас бы нам и смахнуть нельзя было.

Макс не согласился:

— Да нет, можно. Нельзя жениться на еврейке, но закон не запрещает драться с евреем..

Вальтер улыбнулся:

— Наверное, есть даже такой, который это *поощряет*, — но только если ты победишь.

Следующие несколько лет они виделись, мягко говоря, эпизодически. Макса, как и прочих евреев, постепенно отовсюду изгоняли, постоянно вытирали об него ноги, а Вальтер с головой ушел в работу. Печатная фирма.

Если вы из тех, кого такое интересует, то да, в те годы у Макса были кое-какие девушки. Одну звали Таня, другую Хильди. Ни одна не задержалась надолго. Времени не было — скорее всего, из-за неопределенности и растущего нажима. Макс приходилось лихорадочно искать работу. Что мог он предложить тем девушкам? К 38-му году трудно было представить, что жизнь станет еще хуже.

И тут пришло 9 ноября. «Хрустальная ночь». Ночь битого стекла.

Та самая беда, что уничтожила столько его соплеменников, но для Макса Ванденбурга она оказалась путем к бегству. Ему было двадцать два.

Уже многие еврейские дома хирургически точно разгромили и разграбили, когда раздался дробный стук костяшек в дверь Ванденбургов. Макс, тетка, мать, братья и племянники сгрудились в гостиной.

— Aufmachen!

Семейство переглянулось. Был великий соблазн разбежаться по другим комнатам, но предчувствие — странная вещь. Они не могли пошевелиться.

Опять.

— Открывайте!

Исаак встал и подошел к двери. Дерево жило, оно еще гудело от ударов, которые только что ему достались. Исаак оглянулся на лица, обнаженные страхом, повернул замок и открыл дверь.

Как и ожидалось, за ней стоял штурмовик. В форме.

— Ни за что.

Такова была первая реакция Макса.

Он вцепился в руки матери и Сары — ближайшей к нему кузины.

— Я не поеду. Если мы не можем уехать все, то один я не поеду.

Макс лгал.

Когда остальное семейство вытолкало его, в нем, как непристойная мысль, пробилося облегчение. То, чего он чувствовать не хотел, но все равно чувствовал, да так остро, что хотелось сплевывать. Как он мог? Как мог?

Но он смог.

— Ничего не бери, — сказал ему Вальтер. — Только, что на тебе. Остальное я тебе дам.

¹² Нюрнбергские законы о гражданстве и расе (Законы гетто), приняты рейхстагом 15 сентября 1935 г. Первый — о «гражданах рейха» и «принадлежащих к государству» — требовал от граждан документального подтверждения расовой чистоты. Второй — об «охране немецкой крови и немецкой чести» — запрещал браки и половые контакты между евреями и немцами.

— Макс. — Это мать.

Из ящика стола она вынула ветхий клочок бумаги и сунула ему в карман куртки.

— Если вдруг... — Она еще раз напоследок обняла его, за локти. — Может, это твоя последняя надежда.

Макс заглянул в ее постаревшее лицо и поцеловал крепко-крепко, в губы.

— Пошли. — Вальтер потянул его, и вся родня стала прощаться и совать ему деньги и какие-то ценности. — Там полный хаос, и это как раз то, что надо.

* * *

Они вышли, не оглянувшись.

Это его терзало.

Если б он только обернулся, бросил последний взгляд на свою семью, выходя из квартиры. Может, тогда совесть не давила бы так. Без последнего «прощай».

Без последней сцепки взглядов.

Ничего, кроме ушедших.

Следующие два года он отсиживался в убежище, в пустой кладовке. Там, где прежде работал Вальтер. Еды было мало. Зато полно страхов. Оставшиеся в округе евреи с деньгами эмигрировали. Евреи без денег тоже пробовали, но без особого успеха. Семья Макса попадала в последнюю категорию. Вальтер время от времени проводывал их, стараясь не привлекать лишнего внимания. Но однажды дверь ему открыл незнакомый человек.

Когда Макс услышал эту новость, все его тело как будто смяли в комок — словно страницу, измаранную ошибками. Как мусор.

И все же день за днем он старался развернуть и расправить себя, с отвращением и с благодарностью. Смятый, но почему-то не разорванный в клочки.

В середине 39-го, после шести с лишним месяцев кладовки, решили, что дальше нужно действовать иначе. Изучили бумажку, которую Макс получил, когда дезертировал. Именно так — дезертировал, не просто бежал. Так он на это смотрел сквозь абсурдность собственного облегчения. Мы уже знаем, что было написано на той бумажке:

*** * * ОДНО ИМЯ, ОДИН АДРЕС * * ***

Ганс Хуберман

Химмель-штрассе, 33, Молькинг

— Дело все хуже, — сказал Макс Вальтеру, — теперь нас могут накрыть в любую минуту. — Много сутулились в темноте. — Неизвестно, что случится. Меня могут выследить. Надо тебе, наверное, разыскать то место... Здесь я боюсь у кого-нибудь просить помощи. Могут выдать. — Оставался только один выход. — Я поеду туда и найду этого мужика. Если он стал фашистом — что очень может быть, — развернусь и уйду. По крайней мере, будем знать, richtig?

Макс отдал Вальтеру на поездку все деньги до последнего пфеннига, и через несколько дней, когда тот вернулся, они обнялись, а потом Макс затаил дыхание.

— Ну?

Вальтер кивнул:

— Мужик хороший. До сих пор играет на аккордеоне, про который тебе рассказывала мать, — твоего отца. Он не в партии. Дал мне денег. — На том этапе Ганс Хуберман был простым списком свойств. — Довольно бедный, женат, и у них ребенок.

В Максе зажегся еще больший интерес:

— Сколько?

— Десять. Не бывает все идеально.

— Да. У детей голодные рты.

— Нам и так уже повезло.

Посидели в молчании. Его нарушил Макс:

— Наверное, он меня уже ненавидит, а?

— Не думаю. Он дал мне денег, так? Сказал, уговор есть уговор.

Через неделю пришло письмо. Ганс сообщал Вальтеру Куглеру, что постарается прислать нужные вещи, как только сможет. В письме была односторонняя карта Молькинга и Большого Мюнхена, а также прямого маршрута от станции Пазинг (что понадежнее) до порога Хуберманов. Заканчивалось письмо, как и следовало ожидать.

«Будьте осторожны».

* * *

В середине мая 40-го прибыл «Майн кампф» с ключом, изнутри подклеенным к обложке.

Этот мужик гений, решил Макс, но о поездке до Мюнхена все равно не мог думать без содрогания. Ясно, он не хотел бы — как и остальные причастные к делу, — чтобы поездка эта вообще состоялась.

Но не всегда выходит по нашему хотению.

Особенно в фашистской Германии.

И опять прошло время.

Война разгоралась.

Макс по-прежнему прятался от всего мира, но уже в другой пустой комнате.

И вот — неизбежное.

Вальтера оповестили, что его отправляют в Польшу — и дальше утверждать власть Германии над поляками и евреями равно. Ведь одни не лучше других. Время пришло.

Макс пустился в путь до Мюнхена и Молькинга, и вот он сидит на кухне у чужого человека и просит помощи, которая ему так нужна, и страдает от презрения, которого, как он чувствует, достоин.

Ганс Хуберман пожал Максу руку и представился.

В темноте сварил ему кофе.

Девочка давно ушла, но вот к прибытию приблизились еще чьи-то шаги. Та самая темная лошадка.

В темноте каждый из троих был полностью сам по себе. Каждый вглядывался. И только женщина говорила.

ЯРОСТЬ РОЗИНА

Лизель уже снова погрузилась в сон, когда в кухню ворвался несомненный голос Розы Хуберман. Он растряс девочку.

— Was ist los?

Лизель одолело любопытство — она представляла, какими тирадами может пролиться ярость Розина. На кухне определенно произошло какое-то движение и подвинулся стул.

После десяти минут мучительного самообуздания Лизель выскользнула в коридор, и увиденное немало ее изумило: Роза Хуберман стояла за плечом Макса Ванденбурга, наблюдая, как он жадно глотает ее пресловутый гороховый суп. На столе воздвиглось пламя свечи. Оно не дрожало.

Мама была мрачна.

Ее пухлая фигура тлела тревогой.

Но вместе с тем в ее лице как-то нашлось место и торжеству — и торжество было не от

того, что она спасает живую душу от преследования. Оно больше походило на: «Видали? По крайней мере, *этот* не привередничает». Она переводила взгляд с супа на еврея, потом опять на суп.

Когда Роза снова заговорила, она только спросила, не налить ли добавки.

Макс отказался, предпочтя кинуться к раковине и стошнить. Спина его содрогалась, руки были основательно расставлены. Пальцы цеплялись за металл.

— Езус, Мария и Йозеф, — пробормотала Роза. — Еще один.

Обернувшись, Макс извинился. Слова у него вышли скользкие и мелкие, травленные кислотой.

— Простите. Кажется, переел. Желудок, знаете, слишком давно не... Наверное, не справился, столько...

— Отойдите, — велела Роза. И принялась убирать.

А когда закончила, увидела, что молодой человек у кухонного стола совершенно подавлен. Ганс сидел напротив, ковшиком сложив руки на пласте дерева.

Лизель из коридора было видно осунувшееся лицо чужака, а позади него — беспокойство, будто пачкотня, намалеванное на Мамином лице.

Она смотрела на своих приемных родителей.

Кто эти люди?

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ ЛИЗЕЛЬ

Какими именно людьми были Ганс и Роза Хуберман — вопрос не самый простой для решения. Добрыми? До смешного неосведомленными? Не вполне нормальными?

Определить их опасное положение будет легче.

* * * ПОЛОЖЕНИЕ ГАНСА И РОЗЫ ХУБЕРМАН* * *

И вправду очень скользкое.

Более того — *пугающе* скользкое.

Когда в предутренний час в ваше местоживание у самой колыбели фашизма явится еврей, вам, скорее всего, станет в высшей степени неловко. Тревожно, недоверчиво, паранойно. Тут все играет свою роль, все ведет к ползучему подозрению: последствия окажутся не самые благодные. Страх лоснится. В глазах он безжалостен.

Удивительную вещь стоит отметить: хотя этот переливающийся радугой страх так и тлел в темноте, они как-то сумели не впасть в истерику.

Мама отослала Лизель:

— Bett, Saumensch. — Голос спокойный, но твердый. Крайне необычно.

Через несколько минут вошел Папа и откинул покрывало на пустующей кровати.

— Alles gut, Лизель? Все в порядке?

— Да, Папа.

— Как видишь, у нас гость. — Лизель едва могла разглядеть в темноте рослость Ганса Хубермана. — Сегодня он будет спать здесь.

— Да, Папа.

Еще через несколько минут в комнате был Макс Ванденбург, бесшумный и бесцветный. Этот человек не дышал. Не двигался. И все же как-то перетек с порога на кровать и оказался под одеялом.

— Все в порядке?

Это снова Папа — теперь он обращался к Максусу.

Ответ Макса порхнул с губ, затем пятном плесени расплылся на потолке. Так ему было стыдно.

— Да. Спасибо. — И он сказал это еще раз, когда Папа занял свое обычное место на

стуле у кровати Лизель. — Спасибо.

Прошел еще час, пока Лизель наконец не заснула.

Она спала прочно и долго.

В полдевятого утра с минутами ее разбудила рука.

Голос на конце руки сообщил, что сегодня она не пойдет в школу. Будем считать, заболела.

Проснувшись окончательно, Лизель разглядывала незнакомца в кровати напротив. Из-под одеяла виднелось лишь кособокое гнездышко волос на макушке, и — ни звука, будто человек даже спать приучил себя тише прочих. С великой осторожностью Лизель прошагала вдоль спящего, выходя за Папой в коридор.

Впервые за все время и кухня, и Мама дремали. Стояла какая-то ошеломленная, предначальная тишина. К облегчению Лизель, продлилась она лишь пару минут.

Появились еда и звук ее поедания.

Мама объявила повестку дня. Усевшись у стола, она сказала:

— Слушай, Лизель. Папа тебе сегодня кое-что скажет. — Дело нешуточное — Роза даже не сказала «свинюха». Личный подвиг самоограничения. — Он поговорит с тобой, а ты слушай. Поняла?

Девочка еще не успела проглотить.

— Поняла, свинюха?

Уже лучше.

Девочка кивнула.

Когда Лизель вернулась в спальню забрать одежду, тело на второй кровати повернулось на другой бок и свернулось калачиком. Оно больше не было прямым бревном — вроде буквы «Z», оно пролегло из угла в угол кровати. Зигзагом через постель.

Теперь в усталом свете Лизель увидела его лицо. Рот у чужака открылся, а кожа была цвета яичной скорлупы. Щеки и подбородок укрывала щетина, а уши твердые и плоские. Маленький, но кривой нос.

— Лизель!

Она обернулась.

— Пошевеливайся!

И она пошевелилась — в ванную.

Переодевшись и выйдя в коридор, она поняла, что идти предстоит недалеко. Папа стоял у двери в подвал. Он очень слабо улыбнулся, зажег лампу и повел ее вниз.

Среди кип свернутой холстины, в запахе краски Папа велел ей располагаться поудобнее. На стене пламенели слова, пройденные ими когда-то.

— Мне надо тебе кое-что объяснить.

Лизель села на стопку холстин метровой высоты. Папа — на пятнадцатилитровую банку с краской. Пару минут он подбирал слова. Когда те явились, он встал на ноги, чтобы их произнести. Потер глаза.

— Лизель, — начал он тихо. — Я не знал точно, что это все случится, и потому не говорил тебе. Про меня. Про того человека наверху. — Папа прошелся из угла в угол, свет лампы умножал его тень. Свет превращал Папу в великана, туда-сюда мотающегося по стене.

Когда он остановился, тень нависла за ним, наблюдая. Всегда ведь кто-то наблюдает.

— Знаешь мой аккордеон? — спросил Папа и повел рассказ.

Он рассказал о Первой мировой войне и об Эрике Ванденбурге, о поездке к вдове

павшего солдата.

— Малыш, который в тот день зашел в комнату, — тот человек наверху. Verstehst? Понимаешь?

Книжная воришка сидела и слушала историю Ганса Хубермана. Та длилась добрый час, а потом настал момент истины, который требовал весьма очевидной и неременной лекции.

— Теперь слушай, Лизель. — Папа заставил ее встать и взял за руку.

Они стояли лицом к стене.

Темные силуэты и пропись слов.

Папа держал ее пальцы крепко.

— Помнишь день рождения фюрера, когда мы вечером возвращались с костра? Помнишь, что ты мне обещала?

Девочка подтвердила. Стене она сказала:

— Что не выдам тайны.

— Точно. — Между взявшимися за руки тенями по стене разбрелись намалеванные слова: сидели у них на плечах, лежали на головах и свисали с локтей. — Лизель, если ты кому-нибудь расскажешь про человека наверху, мы все окажемся в большой беде. — Ганс шел по тонкой проволоке: нужно было напугать Лизель, чтобы она оставалась нема как могила, но и успокоить, чтобы не перенервничала. Он выдавал ей фразу за фразой и следил металлическими глазами. Отчаяние и безмятежность. — Самое малое — это нас с Мамой заберут. — Ганс явно боялся, что сейчас слишком перепугает девочку, но он рассчитал риск и решил, что лучше пересыпать страха, чем недосыпать. Согласие девочки должно быть абсолютным и непреложным.

Под конец Ганс Хуберман поглядел на Лизель Мемингер и удостоверился, что она ничего не упустила.

Он огласил ей список последствий.

— Если ты кому-нибудь скажешь про того человека...

Учительнице.

Руди.

Да неважно кому.

Важно, что в любом случае это будет наказуемо.

— Во-первых, — сказал Папа, — я заберу все твои книги до одной — и сожгу. — Это жестоко. — Я брошу их в печь или в камин. — Папа, конечно, вел себя как тиран, но так было нужно. — Поняла?

Потрясение пробило в ней дырку — очень ровную, очень аккуратную.

Навернулись слезы.

— Да, Папа.

— Дальше. — Нужно было оставаться твердым, и для этого пришлось напрячься. — Тебя заберут от меня. Ты этого хочешь?

Лизель уже плакала вовсю:

— Nein.

— Хорошо. — Пальцы Ганса крепче сжали ее руку. — Того человека заберут, а может — и нас с Мамой тоже, и мы никогда, никогда не вернемся.

Это подействовало.

Девочка стала всхлипывать так неудержимо, что Папе смертельно захотелось прижать ее к себе и крепко обнять. Он не стал. Вместо этого сел на корточки и заглянул ей прямо в глаза. И выпустил на волю самые тихие слова своей речи.

— Verstehst du mich? Ты понимаешь меня?

Девочка кивнула. Она плакала, и теперь Папа, разгромленный, сломленный, обнял ее в

крашеном воздухе и керосиновом свете.

— Понимаю, Папа. Правда.

Папино тело заглушило ее голос, и они сидели так еще не одну минуту — Лизель со стиснутым дыханием и Папа, гладивший ее по спине.

Наверху, когда они вернулись, Мама сидела на кухне одинокая и задумчивая. Заметив их, она встала и поманила Лизель — она разглядела высохшие дорожки слез. Роза привлекла девочку к себе и навалила на нее свое типичное зазубренное объятие.

— Alles gut, Saumensch?

Ответ был не нужен.

Все было хорошо.

Но и ужасно тоже.

СПЯЩИЙ

Макс Ванденбург спал три дня.

В иные отрывки этого сна Лизель рассматривала его. Можно сказать, на третий день это стало у нее навязчивой идеей — проверять его, смотреть, дышит ли. Теперь она уже могла толковать его признаки жизни: движения губ, сгущение бороды, едва заметные колыхания хвороста волос на голове, подергивавшейся во сне.

Лизель часто над ним нависала, и ее посещала убийственная мысль: вдруг он только что проснулся и сквозь щелочку между веками видит ее — подсматривает, как она подсматривает. Мысль оказаться застигнутой томила и подхлестывала ее одновременно. Она ужасалась. И желала этого. И лишь когда до нее доносился Мамин оклик, Лизель заставляла себя оторвать ноги от пола, одновременно успокаиваясь и досадуя, что не увидит, как человек проснется.

Иногда, ближе к концу этого сонного марафона, Макс разговаривал.

Шелест перечисляемых имен. Список.

Исаак. Тетя Руфь. Сара. Мама. Вальтер. Гитлер.

Родные, друг, враг.

Они все были с ним под одеялом, и однажды он будто бы заспорил с собой.

— Nein, — прошептал он. И повторил семь раз: «Нет».

Подсматривая, Лизель уже отметила кое-какое сходство между собой и незнакомцем. Они оба появились на Химмель-штрассе в смятении. Обоих донимали сновидения.

Когда пришло время, Макс проснулся с неприятным восторгом непонимания. Рот его открылся через секунду после глаз, и он сел — прямой, как угольник.

— Ай!

Заплата голоса соскользнула с губ.

Он увидел над собой перевернутое вверх тормашками лицо девочки — досадливый миг неузнавания, он потянулся к памяти: точно расшифровать, где и когда он сейчас сидит. Через пару секунд он сумел почесать голову (шорох растопки) и посмотрел на девочку. Движения у него выходили расколотые, а глаза, раз уж теперь открылись, оказались карими и топкими. Густыми и вязкими.

Безотчетным движением Лизель подалась назад.

Слишком медленно.

Чужак вытянул руку, и его пальцы, согретые постелью, сомкнулись у Лизель на запястье.

— Прошу вас.

Его голос тоже зацепился за нее, будто ногтями. Чужак вдавил его ей в мякоть.

— Папа! — Громко.

— Прошу вас! — Робко.

Был предвечерний час, серый и мерцающий, но в комнату разрешалось проникнуть лишь свету грязноватого окраса. Только его пропускала ткань штор. Если вы оптимист, представьте его бронзовым.

Войдя, Папа сразу остановился в дверях и увидел цепляющиеся пальцы Макса Ванденбурга и его отчаянное лицо. И то и другое висло на руке Лизель.

— Смотрю, вы познакомились, — сказал Папа.

Пальцы Макса начали остывать.

ОБМЕН СНОВИДЕНИЯМИ

Макс Ванденбург поклялся, что никогда больше не ляжет спать в комнате Лизель. О чем он только думал в ту первую ночь? Теперь его ужасала сама эта мысль.

Он рассудил: все оттого, что по приезде был слишком ошеломлен. Для него есть только одно место — подвал. Холод и одиночество — пусть. Он еврей, и если ему где-то предназначено существовать, то лишь в подвале или ему подобном тайнике выживания.

— Извините, — покаялся он Гансу и Розе на ступеньках лестницы в подвал. — Теперь я все время буду внизу. Вы меня и не услышите. Я ни звука не издам.

Ганс и Роза, погрязшие в отчаянии такого положения, не возразили — даже про холод. Они натащили в подвал одеял и заправили керосиновую лампу. Роза предупредила, что еда будет скудная, на что Макс с жаром попросил носить ему только объедки — и только те, которые не нужны никому другому.

— Не-не, — заверила его Роза. — Уж я тебя постараюсь кормить.

Еще они стащили вниз матрас — с пустой кровати в комнате Лизель, — а его заменили кипой холстин: выгодный обмен.

Внизу Ганс с Максом уложили матрас под лестницей, а сбоку устроили стену из холстин. Высоты ее хватило, чтобы целиком перекрыть треугольный вход, и, по крайней мере, их легко было сдвинуть, если Макс действительно потребуется свежий воздух.

Папа извинился:

— Довольно убого, я понимаю.

— Лучше, чем ничего, — заверил его Макс. — Лучше, чем я заслуживаю, благодарю вас.

Еще несколько удачно расположенных банок с краской — и Ганс наконец признал: все выглядит просто грудой хлама, неряшливо сваленного в углу чтобы не мешался под ногами.

Одна беда: сдвинуть пару банок и убрать одну-две холстины — и любой сразу почует еврея.

— Ну, будем надеяться, подойдет, — сказал Ганс.

— Должно. — Макс заполз внутрь. И опять: — Благодарю вас.

Благодарю вас.

Для Макса Ванденбурга то были два самых жалких слова, какие он только мог бы произнести; с ними соперничало только «Извините». Его все время подмывало говорить обе эти фразы — пришпоривало бедствие вины.

Сколько раз за те первые часы после пробуждения ему хотелось выбраться из подвала и навсегда покинуть этот дом? Должно быть, не одну сотню.

Но каждый раз все ограничивалось лишь приступом.

Отчего становилось еще хуже.

Он хотел уйти — господи, как же он хотел этого (или, по крайней мере, хотел *хотеть*), но знал, что не уйдет. Это было совсем как в Штутгарте, когда он бросил родных под покровом надуманной верности.

Жить.

Жить на свете.

А расплата — муки совести и стыда.

Первые несколько дней жизни в подвале Лизель обходила Макса стороной. Отвергала его существование. Его хрустящие волосы, холодные, скользкие пальцы.

Его измученное присутствие.

Мама и Папа.

Между ними повисла суровая тягость, упала груда непринятых неудачных решений.

Они раздумывали, нельзя ли Макса перевезти.

— А куда?

Без ответа.

В этой ситуации они остались парализованы и без друзей. Макс Ванденбургу больше некуда было идти. Только они. Ганс и Роза Хуберман. Лизель раньше не видела, чтобы они смотрели друг на друга так часто и так мрачно.

Это они носили в подвал еду, они приспособили пустую банку от краски для Максовых отходов. От содержимого со всей возможной осмотрительностью должен был избавляться Ганс. Роза еще принесла Максиму пару ведер горячей воды помыться. Еврей был грязен.

Всякий раз, как Лизель выходила из дому, прямо за дверью ее поджидала гора холодного ноябрьского воздуха.

Дождь моросил потоками.

Мертвые листья сползли на дорогу.

В недолгом времени навестить подвал настал черед книжной воришке. Ее заставили.

Она нерешительно ступала по лестнице, понимая, что предупреждать о себе словами нет смысла. Он подскочит от одного шарканья ее ног.

Она стояла посередине подвала и ждала; ей казалось, что стоит она в середине бескрайнего сумеречного поля. Солнце садилось за сжатые скирды холстин.

Когда Макс вылез, у него в руках был «Майн кампф». Приехав, он предложил Гансу забрать книгу, но тот сказал, чтобы Макс оставил ее себе.

Ясно, что Лизель, держа Максов обед, не могла оторвать от книги глаз. Ее она несколько раз видела в БДМ, но там ее не читали и на занятиях никак не использовали. Иногда упоминали о ее величии да обещали, что возможность изучить ее появится, когда дети перейдут в старшие подразделения Гитлерюгенда.

Макс, проследив за ее вниманием, тоже стал рассматривать книгу.

— Это? — прошептала Лизель.

В ее голосе была какая-то странная прядь, соструганная и скрутившаяся во рту.

Еврей чуть-чуть наклонил к ней голову.

— Bitte? Извините?

Она отдала гороховый суп и вернулась вверх — красная, запыхавшаяся и дура дурой.

— Это хорошая книга?

Она репетировала, что хотела сказать, в ванной, перед маленьким зеркалом. К ней еще лип запах мочи — перед тем, как она спустилась, Макс как раз пользовался банкой. «So ein G'schtank», — подумала Лизель. Ну и вонючка.

Только своя моча хорошо пахнет.

День ковылял за днем.

Каждый вечер перед тем, как погрузиться в сон, Лизель слышала, как на кухне Папа и Мама обсуждают, что они сделали, что делают теперь и чему нужно случиться дальше. При этом рядом с Лизель постоянно парил образ Макса. И всегда со страдальческим благодарным лицом и заболоченными глазами.

Только раз на кухне повысили голос.

Папа.

— Я знаю!

Голос был как терка, но Папа торопливо перевел его снова в приглушенный шепот.

— Мне нужно туда ходить, хотя бы несколько раз в неделю. Я не могу все время сидеть тут. Нам нужны деньги, и если я перестану играть, пойдут толки. Будут думать, почему я бросил. Я сказал, что на прошлой неделе ты болела, но теперь мы должны все делать как всегда.

В том-то и была трудность.

Жизнь изменилась самым диким образом, но им непременно нужно было вести себя так, будто ровно ничего не произошло.

Представьте себе, каково улыбаться, получив пощечину. Теперь представьте, каково это двадцать четыре часа в сутки.

Вот это и было оно — прятать еврея.

Дни складывались в недели, и появилось по крайней мере смирение с тем, что произошло, как в осаде, — а причиной тому были война, сдержанное слово и некий аккордеон. Кроме того, всего за полгода с небольшим Хуберманы лишились сына и обрели небывало опасную ему замену.

А Лизель больше всего потрясла перемена в Маме. По тому, как расчетливо она делила еду или как старательно обуздывала свой знаменитый язык, и даже по смягчившемуся рисунку ее картонного лица становилось ясно одно.

* * * НЕКОТОРОЕ СВОЙСТВО РОЗЫ ХУБЕРМАН * * *

Она хорошо держалась в острой ситуации.

Даже когда через месяц после Максова дебюта на Химмель-штрассе ревматическая Хелена Шмидт перестала давать белье в стирку и глажку, Роза просто села к столу и придвинула к себе миску.

— Славный суп сегодня.

Суп был ужасный.

* * *

Каждое утро, когда Лизель уходила в школу, и в те дни, когда она отваживалась поиграть в футбол или отправлялась в свой сократившийся прачечный обход, Роза тихо напоминала девочке:

— И помни, Лизель... — Она подносила палец к своим губам и замолкала. Лизель кивала, и Роза говорила: — Умница, свинюха. Теперь иди.

Верная словам Папы, а теперь — и Мамы, Лизель была славной девочкой. Она держала язык за зубами везде и всегда. Тайна была глубоко схоронена в ней.

Как всегда, ее с бельем по городу сопровождал Руди, и он без умолку болтал. Иногда они обменивались наблюдениями о своих отрядах Гитлерюгенда. Руди в первый раз упомянул садиста-вожатого по имени Франц Дойчер. Если он не говорил о замашках Дойчера, то заводил свою обычную пластинку, изображая и разыгрывая в лицах последний гол, который забил на футбольной арене Химмель-штрассе.

— Я знаю, — заверяла его Лизель. — Я там была.

— И что?

— И то, что я все видела, свинух.

— Откуда мне знать? Когда я забил, ты, скорее всего, валялась на земле и подлизывала грязь там, где я пробежал.

Пожалуй, именно Руди помог ей сохранить рассудок — своей дурацкой болтовней, лимонно-пропитанными волосами и нахальством.

Казалось, от него идут круги уверенности в то, что жизнь по-прежнему не более чем шутка, бесконечная череда забитых голов, плутовства и неизменного репертуара бессмысленного трепя.

Кроме того, оставалась еще жена бургомистра и чтение в их библиотеке. Теперь там стало холодно и с каждым приходом становилось холоднее, но Лизель все равно не могла не приходить. Девочка набирала по несколько книжек и читала из каждой по кусочку, пока в один из дней не наткнулась на такую, от которой не смогла оторваться. Книга называлась «Свистун». Лизель она заинтересовала, во-первых, из-за редких встреч с местным свистуном Химмель-штрассе — Пфиффикусом. Она помнила, как тот горбился в старом пальто, как появился на костре в день рождения фюрера.

Первым событием в книге было убийство. Ножом. На венской улице. Неподалеку от собора Святого Стефана.

*** * * МАЛЕНЬКИЙ ОТРЫВОК ИЗ «СВИСТУНА» * * ***

Она лежала перепуганная в луже крови, и в ушах ее звучала странная мелодия. Она вспомнила нож, вонзенный и вынутый, и улыбку. Свистун, как всегда, улыбнулся, бегом скрываясь в черной смертельной ночи...

Лизель не понимала, от слов ли ее бьет дрожь или от холода из окна. Каждый раз, забирая и доставляя белье бургомистра, она читала по три страницы и дрожала, но так не могло продолжаться вечно.

И Макс Ванденбург тоже больше не мог выносить подвала. Он не жаловался — не имел права, — но чувствовал, что медленно распадается в холоде. Его спасение, как оказалось, крылось в чтении и письме — и в книжке под названием «Пожатие плеч».

— Лизель, — позвал Папа однажды вечером, — поди-ка.

После появления Макса в занятиях чтением у Лизель и Ганса получился изрядный перерыв. Видимо, Папа решил, что настал удобный момент возобновить учение.

— На, komm, — сказал он девочке. — Ни к чему расслабляться. Пойди возьми какую-нибудь книжку. Как насчет «Пожатия плеч»?

Но вот что во всем этом смутило Лизель: когда она пришла с книгой в руке, Папа махнул, чтобы она шла за ним в их прежний класс. В подвал.

— Но, Папа, — попыталась она возразить, — как мы...

— А что? Там сидит чудовище?

Начало декабря, день выдался льдистый. С каждой бетонной ступенью подвал становился враждебнее.

— Пап, здесь так холодно.

— Раньше это тебе не мешало.

— Нет, но раньше не было *так* холодно...

Когда они спустились, Папа шепотом спросил Макса:

— Нельзя ли нам одолжить лампу?

Холсты и банки беспокойно задвигались, и свет перешел из рук в руки. Глядя на пламя, Ганс покачал головой и продолжил словами:

— Es ist ja Wahnsinn, net? Дурдом, а? — Не успела рука изнутри поправить холст, Папа поймал ее. — И сам тоже выходи. Прошу тебя, Макс.

И тогда холстины медленно сдвинулись и показали исхудалые лицо и тело Макса Ванденбурга. На сыром свету он стоял в сказочном смущении. Дрожал.

Ганс тронул его за руку, подзывая ближе.

— Езус, Мария и Йозеф. Тебе нельзя тут больше оставаться. Ты замерзнешь до смерти. — Ганс обернулся. — Лизель. Налей ванну. Не очень горячую. Пусть чуток остынет.

Лизель побежала наверх.

— Езус, Мария и Йозеф.

Это донеслось до нее еще раз, когда она уже была в коридоре.

Пока Макс сидел в крохотной ванне, Лизель подслушивала за дверью, представляя, как теплая вода превращается в пар, согревая айсберг Максова тела. У Мамы и Папы в объединенной спальне-гостиной спор достиг вершины — тихие голоса бились о стену коридора.

— Там он загнется, вот увидишь.

— А если кто-нибудь заглянет?

— Да нет, будет вылезать только по ночам. Днем мы все оставляем открытым. Нечего прятать. Сидим в этой комнате, не на кухне. Лучше, если подальше от входной двери.

Молчание.

Потом Мама:

— Ладно... Да, ты прав.

— Если уж ставить на еврея, — продолжил Папа вскоре, — так, по-моему, лучше на живого. — И с того дня завелся новый порядок.

Каждый вечер в комнате Мамы и Папы зажигали камин, и безмолвно появлялся Макс. Садился в углу, весь зажатым и озадаченный — не иначе, добротой этих людей, пыткой выживания и, больше, чем всем этим, великолепием тепла.

При плотно сдвинутых шторах он засыпал на полу, сунув под голову подушку, а пламя истаивало и превращалось в пепел.

Утром он возвращался в подвал.

Безгласный человек.

Еврейская крыса, назад в нору.

Пришло и прошло Рождество с привкусом новой опасности. Как и думали, Ганс-младший не приехал домой (равно облегчение и зловещее разочарование), но, как обычно, приехала Труди, и все прошло гладко.

* * * СВОЙСТВА ГЛАДКОСТИ * * *

Макс не показывался из подвала.

Труди приехала и уехала, ничего не заподозрив.

Они решили, что Труди, при всем ее кротком поведении, довериться нельзя.

— Мы доверяем только тем, кому надо, — заявил Папа, — а это мы трое.

Была кое-какая лишняя еда — с извинениями перед Максом: не его, дескать, вера, но праздник есть праздник.

Тот не жаловался.

Какие у него могли быть основания?

Макс сказал, что он еврей по воспитанию, по крови, но теперь еврейство, как никогда прежде, ярлык — гибельная метка самой невезучей невезучести.

И тут же воспользовался случаем посочувствовать Хуберманам, что их сын не приехал домой. Папа ответил, что тут никто из них не властен.

— В конце концов, — сказал он, — ты и сам должен знать: юноша — еще мальчишка, а мальчишка имеет право заупрямиться.

На том и покончили.

Первые несколько недель у камина Макс оставался бессловесен. Теперь, когда он раз в неделю принимал нормальную ванну, Лизель увидела, что волосы у него — больше не гнездо из прутьев, а, скорее, шапка перьев, болтающихся с головы. Все еще стесняясь чужака, она шепотом сказала Папе:

— У него волосы как перья.

— Что? — Пламя заглушало слова.

— Я говорю, — снова зашептала она, склоняясь ближе, — у него волосы как перья...

Ганс Хуберман перевел взгляд на Макса и кивнул, соглашаясь. Не сомневаюсь, ему хотелось бы иметь такой глаз, как у этой девочки. Они и не догадывались, что Макс слышал каждое слово.

Иногда Макс приносил с собой «Майн кампф» и читал, сидя у огня и закипая от прочитанного. На третий раз Лизель в конце концов набралась храбрости и задала свой вопрос:

— Это — хорошая книга?

Макс поднял глаза от страниц, собрал пальцы в кулак и снова разжал их. Отмахнувшись от гнева, он улыбнулся девочке. Отвел назад свой перистый чуб, потом сбил его на глаза.

— Это лучшая книга на свете. — Посмотрел на Папу, потом на Лизель. — Она спасла мне жизнь.

Девочка передвинулась и скрестила ноги. И тихо спросила:

— А как?

И в гостиной по вечерам началось время историй. Рассказов тихих, едва слышных. Мозаика жизни еврейского уличного драчуна по кусочкам складывалась перед ними.

Иногда в голосе Макса Ванденбурга звучал юмор, хотя материальность этого голоса была сродни трению: будто камнем тихонько терли по огромному валуну. Местами его голос был глубок, местами расцарапан до дыр, а местами крошился совсем. Глубже всего он был в сожалении, а отламывался на кончике шутки или очередного Максова самоосуждения.

— Иисусе распятый! — такой была самая обычная реакция на рассказы Макса Ванденбурга, за которой обычно следовал вопрос.

*** * * ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ * * ***

И сколько ты пробыл в той комнате?

А где сейчас Вальтер Куглер?

И ты не знаешь, что случилось с твоей семьей?

А куда ехала та храпунья?

Счет 10:3 не в твою пользу!

Чего ради ты и дальше с ним дрался?

Когда Лизель оглядывалась на события своей жизни, те вечера в гостиной оказывались едва ли не самыми яркими воспоминаниями. Она так и видела пламя, полыхающее на Максеном яично-скорлупном лице, и даже пробовала языком человеческий привкус его слов. Блюдо его спасения подавалось кусок за куском, будто Макс отрезал каждый от себя и подавал им на тарелке.

— Я такой черствый!

Говоря это, он поднял локоть, загораживая лицо рукой.

— Бросить своих. Явиться сюда. Подвергнуть вас всех опасности... — Изгнав из себя все, он взмолился. Его лицо было избито скорбью и отчаянием. — Извините меня. Вы мне верите? Извините меня, я так виноват, так...

Его руку лизнуло пламя, и Макс отдернул локоть.

Все молча смотрели на него, пока Папа не встал и не подошел к нему ближе. Сел рядом.

— Обжег локоть?

Однажды вечером Папа, Макс и Лизель сидели у огня. Мама была на кухне. Макс опять читал «Майн кампф».

— А знаешь что? — спросил Ганс. Он наклонился к огню. — Лизель вообще-то и сама неплохо читает. — Макс опустил книгу. — У вас с ней больше общего, чем на первый взгляд. — Папа оглянулся, не идет ли Роза. — Она тоже любит как следует подраться.

— Папа!

Лизель на исходе своих одиннадцати лет и по-прежнему тощая, как грабли, привалившись к стене, опешила.

— Я ни разу не дралась!

— Чш-ш, — рассмеялся Папа. Махнул ей, чтобы понизила голос и опять наклонился, на сей раз — к девочке. — А кто это задал тогда трепку Людвигу Шмайкю, а?

— Я ни разу... — Она осеклась. Отпираться дальше не было смысла. — Откуда ты узнал?

— Я встретил в «Кноллере» его папу.

Лизель спрятала лицо в ладони. А когда убрала руки, задала главный вопрос:

— Ты сказал Маме?

— Шутишь? — Ганс подмигнул Максу и шепотом добавил: — Ты ведь еще жива, правда?

В тот вечер к тому же Папа играл дома на аккордеоне в первый раз за несколько месяцев. Играл с полчаса, а потом задал Максу вопрос:

— А ты учился?

Лицо в углу наблюдало за пламенем.

— Учился. — Долгая пауза. — До девяти лет. А потом мать продала студию и перестала преподавать. Оставила у себя только один инструмент, но скоро перестала заниматься со мной, потому что я отказывался. Дурак был.

— Нет, — сказал Папа. — Ты был мальчишка.

А по ночам Лизель Мемингер и Макс Ванденбург проявляли другое свое сходство. Каждый в своей комнате видел свой страшный сон и просыпался: одна — с криком, утопая в простынях, другой — жадно глотая воздух рядом с дымящим огнем.

Иногда, если Лизель с Папой около трех еще читали, они слышали пробуждение Макса.

— Ему снится, как тебе, — говорил тогда Папа, и один раз, растревоженная звуками Максowych страхов, Лизель решила встать. Выслушав его историю, она хорошо могла представить, что именно видит Макс в сновидениях, — разве что не могла определить, какая точно глава навещает его каждую ночь.

Лизель тихонько прошла по коридору до спальни-гостиной.

— Макс?

Шепот был мягкий — облачко в горле сна.

Для начала не раздалось никакого ответа, но скоро Макс сел и обыскал темноту.

Папа не вышел из ее комнаты, и Лизель села у камина по другую сторону от Макса. У них за спиной громко спала Мама. Она вполне могла бы потягаться с той храпуньей из поезда.

От огня уже ничего не осталось, кроме заупокойного дыма, одновременно мертвого и умирающего. И в то утро были еще голоса.

* * * ОБМЕН СНОВИДЕНИЯМИ * * *

Девочка: Расскажи. Что ты видишь, когда тебе вот так снится?

Еврей: ...Я вижу, будто оборачиваюсь и машу на прощанье.

Девочка: У меня тоже есть страшные сны.

Еврей: Что ты видишь?

Девочка: Поезд, и моего братика мертвым.

Еврей: Братика?

Девочка: Он умер, когда я ехала сюда, по дороге.

Девочка и еврей вместе: Да — да.

Приятно было бы сказать, что после этой маленькой победы ни Лизель, ни Макс больше не страдали от своих страшных видений. Было бы приятно, но это неправда. Кошмары приходили к ним, как и прежде, в точности как лучший игрок у противника, про которого ходят слухи, будто он подвернул ногу или заболел — но вот он, разминается вместе с остальными, готовится выйти на поле. Или как поезд, по расписанию прибывающий к ночному перрону, волоча за собой на веревке воспоминания. Куда-то волоком, волоком. Все время неуклюже подпрыгивая.

Изменилось лишь одно — Лизель сообщила Папе, что уже большая и сама справится со своими снами. Секунду-другую казалось, что его это огорчило, но, как всегда бывает с Папой, он сразу прицелился в правильные слова.

— Ну, слава богу. — На полпути он усмехнулся. — По крайней мере, смогу поспать по-людски. А то этот стул меня уже доконал. — Он приобнял девочку, и они двинулись на кухню.

Время шло, и два очень различных мира все четче обособлялись друг от друга: один в стенах дома номер 33 по Химмель-штрассе, другой — тот, что оставался и крутился снаружи. Хитрость была в том, чтобы не перемешивать их.

Во внешнем мире Лизель училась находить новые выгоды. Однажды под вечер, возвращаясь домой с пустым бельевым мешком, она заметила газету, торчавшую из урны. Еженедельное издание «Молькингского Экспресса». Лизель подцепила газету и принесла домой, чтобы подарить Макс.

— Я подумала, — сказала она, — может, тебе понравится разгадывать кроссворды, чтобы убить время.

Макс оценил подарок и, чтоб газета оказалась подобрана не напрасно, прочел ее от корки до корки, а через несколько часов показал Лизель кроссворд, разгаданный целиком, кроме одного слова.

— Проклятое семнадцать по вертикали, — сказал он.

В феврале 1941 года на свой двенадцатый день рождения Лизель получила еще одну новую старую книгу и приняла ее с благодарностью. Книга называлась «Люди из грязи», и в ней было про очень странных отца и сына. Лизель обняла Папу и Маму, а Макс тем временем смущенно стоял в углу.

— Alles Gute zum Geburtstag. — Он слабо улыбнулся. — Самого лучшего тебе на день рождения. — Руки он держал в карманах. — Я не знал, а то бы тоже подарил тебе что-нибудь. — Вопиющая ложь — у него не было в подарок ничего, разве что «Майн кампф», а дарить юной немецкой девушке такую пропаганду он не стал бы ни за что. Это все равно что ягненок подал бы нож мяснику.

Повисло неловкое молчание.

Лизель уже обняла Маму и Папу.

Макс выглядел таким одиноким.

* * *

Лизель сглотнула.

Подошла к Макс и впервые обняла его.

— Спасибо, Макс.

Сначала он лишь стоял, но Лизель его не отпускала, и Макс постепенно приподнял

руки и мягко приложил ладони к лопаткам девочки.

Только потом она узнает, какое беспомощное лицо было в тот миг у Макса Ванденбурга. И еще выяснит, что он тут же решил чем-нибудь ее отблагодарить. Я часто представляю себе, как он пролежал без сна всю ту ночь, раздумывая, каким может быть его подарок.

В итоге подарок явится на бумаге примерно через неделю.

Макс принесет его девочке в предзвездный час, прежде чем спуститься по бетонным ступеням домой, как ему теперь нравилось это называть.

СТРАНИЦЫ ИЗ ПОДВАЛА

Неделю Лизель всеми средствами не допускали в подвал. Еду Максуд доставляли Мама и Папа.

— Но-но, свиноуха, — говорила Мама всякий раз, как Лизель порывалась сходить. И всякий раз отказу было новое объяснение. — А не хочешь ли для разнообразия сделать что-то полезное *здесь* — доглядить, например, белье? Думаешь, носить его по улицам — такая уж заслуга? Вот попробуй погладить! — Когда у тебя репутация язвы, для доброго дела подойдут любые уловки. Розины действовали.

За эту неделю Макс навыврезал страниц из «Майн кампфа» и закрасил их белым. После чего развесил их на прищепках на веревке, протянутой из одного угла подвала в другой. Когда краска высохла, началось самое трудное. У Макса имелось какое-никакое образование, но он уж точно не был ни писателем, ни художником. Несмотря на это, он тасовал слова в голове, пока не сумел изложить все без запинки. И только тогда, на бумаге, вскоробившейся и закрутившейся под давлением высохшей краски, начал он записывать историю. Маленькой кистью, черной краской.

«Зависший человек».

Он подсчитал, что ему понадобится тринадцать страниц, и потому выкрасил сорок, предполагая, что испорченных будет по крайней мере вдвое больше, чем удачных. Еще он делал наброски на страницах «Молькингского Экспресса» — доводил свои примитивные неуклюжие рисунки до хоть как-то приемлемого уровня. Работая, он все время слышал шепот девочки. «У него волосы, — говорила она ему, — как перья».

Закончив, он взял нож, проколол каждую страницу и связал их бечевкой. В итоге получилась тринадцатистраничная книжка, где говорилось вот что:

Всю жизнь я боялся тех, кто зависает надо мной.

Наверное, первым зависшим человеком был мой отец, но он исчез, не успел я его запомнить.

Когда я был мальчишкой, я почему-то любил драться. Меня много раз били. И тогда другой мальчишка, у которого, бывало, из носа капала кровь, зависал надо мной.

Много лет спустя мне нужно было прятаться. Я старался не спать, потому что боялся того, кто мог бы оказаться рядом, когда я проснусь. Но мне повезло. Каждый раз это был мой друг.

Когда я прятался, я видел во сне одного человека. Труднее всего было, когда я поехал его искать.

Только по чистому везению и множеству шагов мне это удалось.

У него я долго проспал.

Три дня, как мне сказали...

И что я увидел, когда проснулся? Надо мной завис не человек, а кто-то другой.

Со временем мы с девочкой поняли, что у нас есть кое-что общее.

Но вот что странное.

Девочка говорит, я похож на что-то другое.

Сейчас я живу в подвале. Во сне у меня по-прежнему живут страшные сны. Однажды ночью после обычного страшного сна надо мной зависла тень. Она сказала: «Расскажи, что тебе снится». И я рассказал.

Взамен она объяснила, из чего сделаны ее сны.

Теперь, я считаю, мы друзья — эта девочка и я. На ее день рождения она подарила мне подарок, а не я ей.

И тут я понял, что лучший человек, что когда-либо зависал надо мной, — это маленькая девочка...

ДОРОГИЕ
ДОРОГИЕ
ДОРА
ДОРОГ

СВЕТ
ВОДА
ДВИЖЕНИЕ
СВЕТ
СВЕТ

Однажды в конце февраля, когда Лизель проснулась в предутренний час, в ее комнату проскользнула фигура. Полностью в духе Макса, она почти не отличалась от бесшумной тени.

Шаря взглядом в темноте, Лизель смутно угадывала, что тень приближается к ней.
— Э-эй?
Ответа не было.

И вообще ничего, кроме почти полного беззвучия его шагов, пока он не дошел до кровати и не положил страницы на пол рядом с носками Лизель. Страницы скрипнули. Едва слышно. Один их край загибался в пол.

— Эй?

На сей раз ответ был.

Лизель не могла бы сказать, откуда именно прозвучали слова. Важно было, что они ее достигли. Пришли и встали на колени у кровати.

— Запоздалый подарок ко дню рождения. Утром посмотришь. Спокойной ночи.

Какое-то время Лизель плавала между сном и явью, уже не зная, приснился ей приход Макса или.

Утром, проснувшись и перекатившись на край, Лизель увидела на полу страницы. Протянув руку, она подобрала их, и бумага зажурчала в ее утренних руках.

«Всю жизнь я боялся тех, кто зависает надо мной...»

Когда Лизель переворачивала страницы, они потрескивали, будто помехи вокруг написанной истории.

«Три дня, как мне сказали... И что я увидел, когда проснулся?»

И там были стертые страницы «Майн кампф» — они давились и задыхались под слоем краски, когда их листали.

«И тут я понял, что лучший человек, что когда-либо зависал надо мной...»

* * *

Лизель перечитала и осмотрела подарок Макса Ванденбурга трижды, с каждым разом замечая новый штрих или новое слово. Закончив третье чтение, она как можно тише выбралась из постели и проскользнула в комнату Мамы и Папы. Выделенное место рядом с огнем пустовало.

Подумав, Лизель поняла, что и впрямь будет уместно, и даже еще лучше — идеально — поблагодарить его там же, где эти страницы создавались.

Она спустилась по ступеням в подвал. Увидела воображаемую фотографию в рамке, выступившую на стене, — секрет с тихой улыбкой.

Всего несколько метров — но такая долгая прогулка до холстин и разных банок с краской, что скрывали Макса Ванденбурга. Отодвинув те холстины, что поближе к стене, Лизель проделала узкий коридор, в который можно было посмотреть.

Сначала она увидела только плечо Макса и медленно, с трудом толкала руку в тощую брешь, пока не дотянулась до этого плеча. Одежда на Максе была холодной. Он не проснулся.

Лизель уловила его дыхание, и плечо едва заметно двинулось вверх и вниз. Какое-то

время Лизель смотрела на него. Потом села, откинувшись на стену.

Сон как будто выследил ее здесь.

Неровные прописи величественно громоздились на стене у лестницы — зазубренные, наивные и милые. Они взирали, как девочка и потайной еврей спят, ее рука у него на плече.

И дышат.

Немецкие и еврейские легкие.

А у стены лежал «Зависший человек», немой и довольный, словно чудесный зуд у ног Лизель Мемингер.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

«СВИСТУН»

с участием:

плавучей книги — игроков — маленького призрака — двух стрижек — юности руди — отверженных и набросков — свистуна и пары ботинок — трех глупостей и перепуганного мальчишки с замороженными ногами

ПЛАВУЧАЯ КНИГА

(Часть I)

По реке Ампер плыла книга.

Мальчик прыгнул в воду, нагнал ее, схватил правой рукой. И усмехнулся.

Он стоял по пояс в стылой декабрьской воде.

— Ну как насчет поцелуя, свиного? — крикнул он.

Окружающий воздух был прелестно, роскошно, тошнотворно холоден, не говоря уже о бетонной ломоте воды, сгущавшейся от его пальцев до бедер.

Как насчет поцелуя?

Как насчет поцелуя?

Бедный Руди.

*** * * НЕБОЛЬШОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ О РУДИ ШТАЙНЕРЕ* * ***

Он не заслуживал той смерти, которой умер.

В ваших видениях размокшие страницы липнут к его пальцам. Вы видите дрожащую светлую челку. И, забегая вперед, решаете, как и я бы решил, что Руди умер в тот же самый день — от переохлаждения. Но нет. Такие воспоминания просто напоминают мне, что Руди не заслуживал той судьбы, что настигла его меньше чем через два года.

По всем статьям, забирать такого мальчишку, как Руди, — просто грабеж: столько жизни в нем, столько всего, ради чего стоит жить, — и все же я почему-то уверен, что ему понравились бы этот битый камень и разбухшее небо в ту ночь, когда он скончался. Он бы заплакал, обернулся и улыбнулся — если бы только увидел книжную воришку на четвереньках рядом со своим уничтоженным телом. Он бы обрадовался, что Лизель Мемингер целует его запыленные губы, убитые бомбой.

Да, я это знаю.

Во тьме моего бьющегося тьмой сердца — знаю. Еще как бы ему это понравилось.

Видите?

Сердце есть даже у смерти.

ИГРОКИ

(КУБИК С СЕМЬЮ ГРАНЯМИ)

Ну да, я грубый. Испортил концовку — не только всей истории, но и этой вот ее части. Преподнес вам два события заранее, потому что нет мне особого интереса нагнетать загадочность. Загадочность скучная. И утомляет. Я знаю, что происходит, и вы тоже. Меня цепляет, озадачивает, занимает и поражает ловкость рук, что привела нас сюда.

Там есть над чем подумать.

Там целая история.

Ясно, что имеется книга под названием «Свистун», о которой нам, конечно, обязательно поговорить, — как и о том, почему так вышло, что она плыла по Амперу сразу перед Рождеством 1941 года. Сначала нужно разобраться со всем этим, как считаете?

Ну и договорились.

Разберемся.

Все началось с игры. Брось кости, спрятав у себя еврея, и вот как ты будешь жить. Примерно вот так.

Стрижка: середина апреля 1941 г.

Жизнь, по крайней мере, стала имитировать нормальную с большей силой.

Ганс и Роза Хуберманы спорили в гостиной — пусть и гораздо спокойнее, чем прежде. Лизель, как повелось, выступала зрителем.

Причина спора родилась минувшим вечером в подвале, где Ганс и Макс сидели среди банок с краской, холстин и слов. Макс спросил, не сможет ли Роза как-нибудь его постричь.

— В глаза лезут, — сказал Макс, на что Ганс ответил:

— Посмотрим, что тут можно сделать.

И вот Роза обшаривала ящики стола. И через плечо швыряла в Папу слова вместе с другим хламом:

— Ну и где эти проклятые ножницы?

— В нижнем нету?

— Там уже смотрела.

— Может, не заметила.

— Я похожа на слепую? — Роза вскинула голову и заревела: — Лизель!

— Да я тут.

Ганс поежился:

— Чертова баба, ты оглуши меня еще, а?

— Замолкни, свинух. — Роза, не прекращая рыться в ящиках, заговорила с Лизель. — Где ножницы, Лизель? — Но Лизель тоже не имела понятия. — Свинюха, с тебя никакого толку, а?

— А она тут при чем?

Еще несколько слов пролетели взад-вперед между женщиной с резиновыми волосами и мужчиной с серебряными глазами, пока Роза не грохнула ящиком.

— А, все равно я его криво постригу.

— Криво? — Папа, казалось, вот-вот и сам начнет рвать волосы у себя на голове, но голос его упал до еле слышного шепота. — Да какой бес его *увидит*? — Он открыл рот, собираясь сказать что-то еще, но вдруг заметил пернатую фигуру Макса Ванденбурга, который вежливо стоял, смущенный, в дверях. Макс держал в руке собственные ножницы, протягивая их не Гансу и не Розе, но двенадцатилетней девочке. Она была самый спокойный вариант. Подрожав губами, он спросил:

— Согласна?

Лизель взяла ножницы, раскрыла. Местами они были ржавыми, местами блестели. Девочка повернулась к Папе, и когда тот кивнул, пошла следом за Максом в подвал.

Еврей сел на банку с краской. Плечи обернуты маленькой холстиной.

— Можно криво, как угодно, — сказал Макс.

Папа устроился на ступеньках.

Лизель взяла в руку первый пучок Максовых волос.

Состригая перистые вихры, Лизель подивилась звуку ножниц. Не щелканье, а скрежет железных лезвий, смыкавшихся на каждой пряди волокон.

Когда дело было сделано — где-то слишком круто, где-то кривовато, — девочка в горстях отнесла Максовы волосы наверх и скормила печи. Затем чиркнула спичкой и стала смотреть, как комок скукоживается и оседает, красный, оранжевый.

И снова Макс стоял в дверях, теперь уже на верхней ступеньке подвальной лестницы.

— Лизель, спасибо. — Голос у него был рослым и хрипловатым, в нем играла затаившаяся улыбка.

И едва сказав это, он снова исчез — обратно в землю.

Газета: начало мая

«У меня в подвале сидит еврей».

«У меня в подвале. Сидит еврей».

На полу в комнате бургомистра, полной книг, Лизель Мемингер так и слышала эти слова. Рядом лежал мешок стирки, а призрачная фигура бургомистровой жены пьяно сутулилась над письменным столом. Перед ней Лизель читала «Свистуна», страницы двадцать два и двадцать три. Вот она подняла глаза. Представила, как подходит, бережно отдирает в сторону пушистые волосы и шепчет женщине на ухо:

«У меня в подвале сидит еврей».

Книга задрожала у девочки на коленях, а тайна была уже на языке. Устроилась там поудобнее. Заложила ногу за ногу.

— Мне пора идти. — На этот раз Лизель и вправду заговорила. У нее дрожали руки. Несмотря на след солнечного света вдаль, мягкий ветерок скакал в открытое окно с дождиком на пару — тот сыпался опилками.

Когда Лизель поставила книгу на место, стул жены бургомистра пристукнул об пол, и женщина подошла. Так всегда бывало в конце. Тонкие кольца скорбных морщинок на миг вспухли, когда женщина протянула руку и снова взяла книгу.

И подала девочке.

Лизель отпрянула.

— Нет, — сказала она, — спасибо. У меня дома хватает книг. Может, в другой раз. Сейчас мы с Папой перечитываем одну. Помните, ту, что я украла из костра.

Жена бургомистра кивнула. Одно можно было сказать о Лизель Мемингер точно — она не краля лишнего. Лишь те книги, без которых никак нельзя. Сейчас у нее хватало книг. Она четыре раза прочла «Людей из грязи», а теперь наслаждалась повторным знакомством с «Пожатием плеч». И каждый вечер перед сном открывала свой верный справочник по рытью могил. Глубоко в нем был схоронен «Зависший человек». Лизель шепотом повторяла слова и трогала птиц. Переворачивала шумные страницы, медленно.

— До свиданья, фрау Герман.

Лизель вышла из библиотеки, прошагала половицами коридора и дальше сквозь чудовищный дверной проем. По привычке постояла минуту на ступенях, глядя на Молькинг внизу. Над городом в тот вечер висела желтая дымка, будто щенят, поглаживала крыши

домов, заполняла, как ванну, улицы.

Спускаясь на Мюнхен-штрассе, книжная воришка петляла между подзонтными мужчинами и женщинами — девочка в дождевике, что без всякого стыда шныряла от урны к урне. Как заводная.

— Вот она!

Лизель радостно рассмеялась медным тучам, протянула руку и подобрала жеваную газету. Хотя первую и последнюю страницы исчертили черные слезы краски, Лизель аккуратно сложила газету вдвое и сунула под мышку. Последние несколько месяцев такое бывало каждый четверг.

Четверг теперь остался единственным днем, когда Лизель Мемингер ходила с бельем, и он обычно приносил какие-никакие выгоды. Девочке ни разу не удалось подавить в себе торжество победителя, находя «Молькингский Экспресс» или другое издание. Находка газеты — удачный день. А если в газете не разгадан кроссворд — и вовсе великолепный. Лизель добиралась домой, закрывала за собой дверь и несла газету Макс Ванденбургу.

— Кроссворд? — спрашивал тот.

— Чистый.

— Отлично.

Улыбаясь, еврей принимал бумажный пакет и начинал читать в скупом пайке подвального света. Частенько Лизель наблюдала, как сосредоточенно он читает, потом решает кроссворд, затем начинает перечитывать газету с первой страницы.

Стало теплеть, Макс из подвала уже не выходил. Днем дверь в подвал держали открытой, чтобы туда натекала из коридора лужица дневного света. И сам-то коридор отнюдь не купался в солнце, но в некоторых ситуациях берешь то, что есть. Чахлый свет — лучше, чем никакого, к тому же приходилось экономить. Керосин еще не упал до опасно низкого уровня, но разумнее было свести его расход к минимуму.

Лизель обычно садилась на холстины. Пока Макс решал кроссворды, она читала. Они сидели в паре метров друг от друга, почти не разговаривали, и в подвале раздавался только шелест страниц. Нередко Лизель оставляла Макс почитать и свои книги, пока сама была в школе. Если Ганса Хубермана и Эрика Ванденбурга сильнее всего связала музыка, то Макса и Лизель удерживало вместе молчаливое сборище слов.

— Привет, Макс.

— Привет, Лизель.

Садись и читали.

А то Лизель принималась на него смотреть. Она решила, что Макс лучше всего можно подвести итог как портрету бледной сосредоточенности. Бежевая кожа. В каждом глазу — болото. И дышал он, как беглец. Отчаянно, хоть и беззвучно. Только грудь выдавала в нем что-то живое.

Все чаще Лизель, закрыв глаза, просила Макса проверить у нее те слова, в которых постоянно путалась, и ругалась, если те по-прежнему ускользали от нее. Потом вставала и раз по десять записывала их краской на стене. Макс Ванденбург и Лизель Мемингер вместе дышали запахами краски и цемента.

— Пока, Макс.

— Пока, Лизель.

В кровати она лежала без сна, представляя его внизу, в подвале. В ее полусонных видениях Макс всегда спал полностью одетым и даже в ботинках — вдруг снова придется убегать. И с открытым глазом.

Синоптик: середина мая

Лизель открыла дверь и рот одновременно.

На Химмель-штрассе ее команда победила команду Руди со счетом 6:1, и Лизель победительницей влетела на кухню, спеша рассказать Папе с Мамой, как она забила гол. Затем она помчалась вниз, чтобы в красках описать все Макс, удар за ударом, а тот, опустив газету, напряженно слушал и смеялся вместе с девочкой.

Когда рассказ о забитом мяче был кончен, добрых несколько минут стояло молчание, пока Макс не поднял медленно взгляд.

— Лизель, ты можешь для меня кое-что сделать?

Все еще взбудораженная голом на Химмель-штрассе, Лизель вскочила с кипы холстин. Она ничего не сказала, но движение ясно показывало: девочка готова на все, что попросит Макс.

— Про свой гол ты мне все рассказала, — начал он, — но я не знаю, что за день там стоит. Я не знаю, забивала ты на солнце или там все затянуто тучами. — Макс запустил руку в коротко стриженные волосы, а болотные глаза молили о простейшем из простого. — Ты можешь сходить наверх и рассказать мне, как выглядит погода?

Естественно, Лизель поспешила вверх по лестнице. Постояла в паре шагов от запляванной двери и, поворачиваясь вокруг себя, рассмотрела небо.

Вернувшись в подвал, она рассказала:

— Небо сегодня синее, Макс, и на нем большое длинное облако, оно растянуто, как веревка. А на конце у него — солнце, как желтая дырка...

В ту минуту Макс понял, что лишь ребенок мог дать ему такой отчет о погоде. Краской на стене он нарисовал длинную веревку с тугими узлами и сочным желтым солнцем на конце — таким, будто в него можно нырнуть. На веревочном облаке он нарисовал две фигуры — худенькую девочку и чахлого еврея: они шли, балансируя руками, к этому капающему солнцу. Под картинкой он написал такую фразу.

*** * *СЛОВА МАКСА ВАНДЕНБУРГА, НАПИСАННЫЕ НА СТЕНЕ* * ***

Был понедельник, и они шли к солнцу по канату.

Боксер: конец мая

Максу Ванденбургу оставался прохладный цемент и много времени наедине с этим цементом.

Минуты были жестоки.

Часы неумолимы.

Всякий миг бодрствования над ним зависала рука времени, которая без колебаний хватала и выкручивала его. Улыбаясь, время стискивало его и оставляло жить. Что за великая злоба — оставить кого-то жить.

По меньшей мере раз в день в подвал спускался перемолвиться словом Ганс Хуберман. Иногда Роза приносила лишнюю горбушку хлеба. Но лишь когда приходила Лизель, Макс понимал, что жить ему снова интереснее всего. Поначалу он пробовал сопротивляться, но это становилось все труднее с каждым днем, когда она являлась — и всякий раз с новым отчетом о погоде: чистое синее небо, или картонные облака, или солнце, которое пробивается, как Бог, садящийся после слишком плотного ужина.

Когда Макс оставался один, самым отчетливым его чувством было исчезание. Вся одежда на нем была серая — рождалась она такого цвета или нет, от брюк до шерстяного свитера и куртки, которая теперь стекала с Макса, как вода. Он часто проверял, не шелушится ли на нем кожа: ему казалось, что он будто растворяется.

Ему нужны были какие-то новые занятия. Первым стала гимнастика. Макс начал с отжиманий — ложился животом на холодный подвальный пол и поднимал корпус. Руки у него едва не переламывались в локтях, и Макс опасался, как бы сердце не просочилось

наружу и не шлепнулось, жалкое, на пол. Подростком в Штутгарте он делал за раз по пятьдесят отжиманий. Теперь, в двадцать четыре года и килограммов на семь легче обычного веса, он едва дотянул до десяти. Через неделю он делал три подхода по шестнадцать отжиманий и по двадцать два приседания. Закончив, сидел у подвальной стены среди своих друзей малярных банок, и сердце колотилось у него в зубах. Мышцы будто спекались.

Иной раз он задумывался, стоит ли вообще так стараться. Иногда, впрочем, когда сердцебиение утихало и тело снова обретало подвижность, Макс тушил лампу и вставал во тьме подвала.

Ему было двадцать четыре, но он еще не разучился фантазировать.

— В синем углу, — начинал он негромкий комментарий, — чемпион мира, арийское чудо — фюрер! — Вздохнув, Макс поворачивался в другую сторону. — А в красном углу — еврей, крысолицый претендент — Макс Ванденбург.

Вокруг него все это воплощалось.

Белый свет опускался на боксерский ринг, толпа стояла и гудела — этот волшебный шум множества людей, говорящих одновременно. И почему каждому нужно столько всего сказать в одну и ту же минуту? Сам ринг идеален. Превосходный настил, славные канаты. Даже отбившиеся ворсинки на каждой сплетенной веревке безупречны и блестят в тугом белом свете. В зале пахнет сигаретами и пивом.

В углу наискось стоит Адольф Гитлер со свитой. Ноги высовываются из-под красно-белого халата с выжженной на спине черной свастики. К лицу подшиты усики. На ухо что-то шепчет тренер, Геббельс. Фюрер переминается с ноги на ногу, улыбается. Улыбка все громче, когда начинается перечисление множества его достижений, и каждое восторженная толпа встречает громом аплодисментов.

— Непобежденный! — провозглашает распорядитель боя. — Против массы евреев и всяких других врагов германской идеи! Герр фюрер, — закончил он, — мы приветствуем вас! — Толпа: буйство.

Затем, когда все утихло, настал черед претендента.

Распорядитель обернулся к Макс, который стоял один в красном углу. Ни халата. Ни свиты. Одиноким юный еврейчик с нечистым дыханием, голой грудью, усталыми руками и ногами. Трусы на нем, конечно, были серыми. Он тоже переминался с ноги на ногу, но едва-едва — берег силы. Он немало попотел в гимнастическом зале, чтобы попасть в весовую категорию.

— Претендент! — запел распорядитель. — Из... — он сделал паузу для эффекта, — *еврейской* нации. — Толпа охнула, как сборище упырей. — Весом в...

Конца речи никто не услышал. Его заглушила брань трибун, а противник Макса тем временем скинул халат и вышел на середину ринга — к оглашению правил и рукопожатию.

— Guten Tag, герр Гитлер. — Макс кивнул, но фюрер только показал ему желтые зубы и тут же вновь прикрыл их губами.

— Господа, — начал плотный рефери в черных брюках и синей рубашке. К горлу прицеплена бабочка. — Во-первых и в главных, пусть бой будет честным. — Дальше он обращался только к фюреру. — Если, конечно, герр Гитлер, вы не начнете проигрывать. Если же такое случится, я вполне охотно закрою глаза на любые бесчестные приемы, к коим вы прибегнете, дабы размазать по рингу этот кусок еврейской вони и грязи. — Рефери с великой учтивостью кивнул. — Все ли ясно?

Тут фюрер и произнес первое слово:

— Хрустально.

Максу же рефери высказал предупреждение:

— А вам, мой еврейский приятель, я скажу, что на вашем месте я бы не лез на рожон. Совсем бы не лез. — С этим противников отослали по углам.

Мгновение-другое тишины.

И гонг.

Первым выскочил фюрер — тощий, на неуклюжих ногах, — напрыгнул на Макса и крепко ударил его в лицо. Толпа завибрировала, гонг еще звенел у нее в ушах, и довольные улыбки хлынули сквозь канаты. Из рта Гитлера рвалось дымное дыхание, а его кулаки взлетали к Максому лицу, доставая ему по губам, по носу, по челюсти, — а Макс даже еще не вышел из своего угла. Чтобы смягчить удары, он поднял обе перчатки к лицу, но тут фюрер переключился на его ребра, почки и легкие. А глаза — о эти глаза фюрера! Такие прелестно карие — как у евреев — и такие решительные, что даже Макс замер на секунду, поймав их взгляд сквозь смачные мазки молотящих перчаток.

Бой состоял только из одного раунда, но он длился много часов, и почти все время происходило одно и то же.

Фюрер долбил еврейскую боксерскую грушу.

Все вокруг было в еврейской крови.

Будто красные дождевые тучи на белом небе ковра под ногами.

Наконец колени Макса начали подгибаться, скулы безмолвно ныли, а восторженное лицо фюрера все уменьшалось, уменьшалось, пока наконец истощенный, избитый и сломленный еврей не рухнул на ринг.

Сначала — рев.

Потом тишина.

Рефери начал отсчет. У него был золотой зуб и густые заросли волос в ноздрях.

Медленно Макс Ванденбург, еврей, поднялся на ноги и выпрямился. Голос у него срывался. Приглашение.

— Ну же, фюрер, — сказал Макс, и на сей раз, когда Адольф Гитлер бросился на своего еврейского противника, Макс увернулся и отправил его в канаты. Он ударил Гитлера семь раз, и всякий раз целил в одно и то же место.

В усы.

Но на седьмом ударе Макс промахнулся. Удар пришелся фюреру в подбородок. Тот сей же миг отлетел на канаты, переломился вперед и приземлился на колени. На этот раз отсчета не было. Рефери затаился в углу. Публика уткнулась в стаканы с пивом. Стоя на коленях, фюрер проверил, нет ли у него крови, и пригладил волосы — справа налево. Вернувшись на ноги к вящему одобрению многотысячной толпы, он чуть подвинулся вперед и вдруг сделал кое-что довольно странное. Повернулся к еврею спиной и стащил с рук перчатки.

Толпа окаменела.

— Он сдался, — прошептал кто-то, но всего через пару секунд Адольф Гитлер вскочил на канаты и заговорил с трибунами:

— Собратья немцы, — закричал он, — ведь вы видели, что здесь сейчас произошло, не так ли? — Гологрудый, победно взирая, он вытянул руку в сторону Макса. — И видите, что наш противник гораздо подлее и злобнее, чем мы когда-нибудь представляли. Разве не видите?

— Видим, фюрер, — отвечали ему.

— Вы видите, что у врага нашлись способы — подлые способы — просочиться сквозь нашу броню и что я, очевидно, не могу выстоять против него в одиночку? — Слова были видимы глазом. Они падали с губ фюрера, как драгоценные камни. — Посмотрите на него! Хорошенько посмотрите. — Все посмотрели. На окровавленного Макса Ванденбурга. — Пока мы с вами разговариваем, он замышляет проникнуть на вашу улицу. Занимает соседний дом. Повсюду кишит его родня, и вот он уже готовится занять ваше место. — Он... — Гитлер бросил на Макса короткий взгляд, полный отвращения. — Он скоро завладеет вами, и скоро он не за прилавком будет стоять в вашей бакалейной лавке, а сидеть в задней комнате и курить трубку. Вы и не заметите, как станете работать на него за жалкую плату, а он с трудом будет ходить под грузом собственных карманов. Вы что, будете стоять и смотреть, как он проделывает все это? Стоять в стороне, как делали раньше ваши правители, когда отдавали вашу страну кому попало, когда продавали ее за несколько подписей? Будете стоять там в бессилии? Или... — тут Гитлер переступил на один канат выше, —

...подниметесь на этот ринг вместе со мной?

Макса передернуло. В животе у него заикнулся ужас.

Адольф прикончил его:

— Заберетесь сюда, чтобы нам вместе одолеть врага?

В подвале дома номер 33 по Химмель-штрассе Макс Ванденбург чувствовал на себе кулаки целой нации. Один за другим немцы лезли на ринг и сбивали Макса с ног. Ему пустили кровь. Дали вволю покорчиться. Их были миллионы — и вот Макс в последний раз поднялся на ноги...

Он смотрел, как следующий немец перебирается через канаты. Девочка, и пока она медленно шла по рингу, Макс увидел, что левую щеку ей процарапала слеза. В правой руке девочка держала газету.

— Кроссворд, — мягко сказала она, — чистый, — и протянула газету ему.

Темно.

Теперь только темно.

Только подвал. Только еврей.

Новый сон: через несколько ночей

Был послеобеденный час. Лизель спустилась по лестнице в подвал. Макс как раз отжимался.

Без его ведома Лизель немного понаблюдала, а когда подошла и села рядом, Макс встал и привалился к стене.

— Я тебе говорил, — спросил он у девочки, — что в последнее время мне стал сниться новый сон?

Лизель чуть повернулась, чтобы увидеть его лицо.

— Но он снится мне, когда я не сплю. — Макс показал на непыхлую керосиновую лампу. — Иногда я тушу свет. Встаю тут и жду.

— Чего?

Макс поправил:

— Не чего. Кого.

Несколько секунд Лизель ничего не говорила. Беседа была из тех, когда нужно, чтобы между репликами проходило какое-то время.

— Кого же ты ждешь?

Макс не пошевелился.

— Фюрера. — Он сказал это совсем обыденно. — Потому и тренируюсь.

— Отжимаешься?

— Верно. — Он подошел к бетонной лестнице. — Каждую ночь я жду в темноте, и по этой лестнице приходит фюрер. Он спускается, и мы с ним деремся по несколько часов.

Лизель уже стояла.

— Кто побеждает?

Сначала Макс хотел ответить, что никто, но тут заметил банки с краской, холсты и где-то на краю поля зрения — растущую кипу газет. Поглядел на прописи, длинное облако и фигуры на стене.

— Я, — сказал он.

Будто он взял ее руку, вложил ей в ладонь свои слова и свернул пальцы в кулак.

Под землей, под Мюнхеном в Германии, двое стояли и разговаривали в подвале. Звучит как начало анекдота:

— В общем, сидят в подвале немец и еврей...

Но это, однако, был не анекдот.

Маляры: начало июня

Другим занятием Макса был остаток «Майн кампф». Все страницы одну за одной он аккуратно вырвал и разложил по полу, чтобы покрыть слоем краски. Потом высушил на веревке и поместил обратно в переплет. Однажды Лизель, вернувшись домой после школы, застала всех троих — Макса, Розу и Папу — за прокрашиванием страниц. Множество листов уже сохли на прищепках — так же, как они, видимо, развешивались для «Зависшего человека».

Все трое посмотрели на Лизель и заговорили:

— Привет, Лизель.

— Бери кисть, Лизель.

— Самое время, свинюха. Где тебя носит?

Водя кистью, Лизель представляла, как Макс Ванденбург боксирует с фюрером — точно, как он это описал.

*** * * ПОДВАЛЬНЫЕ ВИДЕНИЯ, ИЮНЬ 1941 г. * * ***

Мелькают кулаки, толпа лезет из стен.

Макс Ванденбург и Гитлер схватились не на жизнь, а на смерть, отскакивают от лестницы.

На усах фюрера — кровь, как и в его проборе на правой стороне головы.

— Ну же, фюрер, — говорит еврей. И манит к себе. — Давай, фюрер.

Когда видение рассеялось и Лизель закончила первую страницу, Папа подмигнул. Мама выбрала, чтобы не жила краска. Макс осматривал каждую страницу в отдельности, возможно разглядывая то, что планировал на них поместить. Через много месяцев он перекрасит и обложку и даст книге новое название — по заглавию одной из тех историй, которые он в ней напишет и представит в картинках.

В тот день в потайном месте под домом 33 по Химмель-штрассе Хуберманы, Лизель Мемингер и Макс Ванденбург готовили страницы «Отрясательницы слов».

Как хорошо быть маляром.

Бросок костей: 24 июня

И вот выпадает седьмая грань кубика. Через два дня после вторжения Германии в Россию. За три дня до того, как Британия и Советы объединились.

*** * ***

Семь.

Бросаете и смотрите, как катится кубик, отчетливо понимая, что кубик-то — необычный. Утверждаете, что это невезение, но вы все время знали, что так и выйдет. Сами принесли его в комнату. И стол учуял его в вашем дыхании. С самого начала еврей торчал у вас из кармана. Он размазан у вас по лацкану, и уже в ту секунду, когда бросаете кости, знаете, что будет семерка — то самое, что как-то может вам навредить. Кубик падает. Семерка смотрит вам в оба глаза, чудесная и мерзкая, и вы отворачиваетесь, а она устраивается поудобнее у вас на груди.

Просто не повезло.

Так вы говорите.

Ничего страшного.

Убеждаете себя в этом — потому что в глубине души знаете: эта пустячная неудача — сигнал о том, что вас ждет. Вы прячете еврея. Значит, поплатитесь. Так или иначе — придется.

Даже потом, вспоминая, Лизель не усмотрела в том происшествии ничего страшного. Может, потому, что столько всего произошло, прежде чем она стала писать в подвале свою историю. Лизель рассудила: по большому счету то, что бургомистр и его жена отказались от Маминых услуг, вовсе не стало несчастьем. Это никоим образом не было связано с укрыванием евреев. А только с большими событиями войны. Но в то время Лизель определенно увидела в этом отказе кару.

Вообще-то все началось где-то за неделю до 24 июня. Лизель по обычаю подобрала для Макса газету. Вынула из урны на повороте с Мюнхен-штрассе и сунула под мышку. Когда Лизель отдала газету Макс, тот, приступив к первому чтению, поднял взгляд на девочку и показал ей фотографию на первой полосе.

— У этого вы берете белье в стирку?

Лизель отошла от стены. Там она рядом с Максовым рисунком веревочного облака и мокрого солнца писала шесть раз слово «прение». Макс подал ей газету, и девочка подтвердила:

— У него.

Она стала читать статью: там приводились слова бургомистра Хайнца Германа, который говорил, что, хотя дела на фронтах идут лучше некуда, жители Молькинга, как и все сознательные немцы, должны принимать соответствующие меры и готовиться к возможным трудным временам. «Никогда не знаешь, — заявлял бургомистр, — что замышляют наши враги и как они попытаются нас ослабить».

Через неделю слова бургомистра принесли свои скверные плоды. Лизель, как всегда, пришла на Гранде-штрассе и на полу в библиотеке читала «Свистуна». В жене бургомистра не наблюдалось ничего ненормального (или, если уж на то пошло, ничего *необычно* ненормального), пока Лизель не пришла пора уходить.

В сей раз, предлагая девочке взять «Свистуна» с собой, женщина стояла на своем:

— Прошу тебя. — Она почти молила. Книга была зажата в ее твердом аккуратном кулаке. — Возьми. Возьми, пожалуйста.

Лизель, растроганная странностью женщины, не нашла в себе сил еще раз огорчить ее. Книга — серая обложка, желтоватые страницы — переключалась к ней в руку, и девочка двинулась по коридору. Когда она собиралась спросить о белье, жена бургомистра бросила на нее последний взгляд облаченной в халат скорби. Она выдвинула ящик комода и вынула конверт. Голос, комковатый от долгого неупотребления, откашлял слова:

— Прости нас. Это для твоей мамы.

Лизель на миг перестала дышать.

Внезапно ее ноги в ботинках стали какими-то пустыми. Что-то защекотало в горле. Лизель задрожала. Когда наконец протянула руку и присвоила конверт, она вдруг услышала часы в библиотеке. И с мрачным спокойствием поняла, что голос этих часов даже отдаленно не похож на тик-таканье. Скорее, напоминал звук кирки, методично врубающейся в землю. Звук могилы. Ах, если бы только моя уже была вырыта, подумала девочка — потому что в ту секунду Лизель Мемингер хотела умереть. Когда отказывались другие, было не так обидно. У нее всегда оставался бургомистр, его библиотека и связь с бургомистровой женой. К тому же теперь ушел последний клиент, последняя надежда. В этот раз предательство было самое злое.

Как она посмотрит в глаза Маме?

Розу эти последние гроши хоть как-то выручали в разных переулках. Лишняя горсть муки. Кусок сала.

Ильза Герман теперь сама прямо умирала — так хотелось ей поскорее спровадить

Лизель. Девочка прочла это где-то в движении рук, чуть крепче вцепившихся в халат. Неуклюжесть горя еще удерживала женщину в полушаге от девочки, но было ясно, что ей хотелось скорее покончить с делом.

— Скажи маме... — снова заговорила она. Голос у нее чуть окреп, когда одна фраза обратилась двумя. — Что нам жаль. — И она тихонько повела девочку к двери.

Теперь Лизель все это будто свалилось на плечи. Обида, боль окончательного отказа.

Как же так? — мысленно спрашивала она. — Берешь и выпинаешь меня?

Медленно Лизель подобрала пустой мешок и подвинулась к двери. Шагнув за порог, она обернулась и в предпоследний раз за день посмотрела Ильзе Герман в лицо. Прямо в глаза с какой-то почти свирепой гордостью.

— Danke schön, — сказала Лизель, и жена бургомистра улыбнулась бесполезно и как-то побито.

— Если когда-нибудь захочешь прийти просто почитать, — стала врать она (или это девочке, подавленной и огорченной, ее слова показались враньем), — мы будем только рады.

В тот миг Лизель изумилась ширине дверного проема. Такой огромный. Зачем людям нужно заходить в дом через такие широкие двери? Будь с нею Руди, он обозвал бы ее идиоткой — через эти двери в дом заносят вещи.

— До свидания, — сказала девочка, и медленно, с великим унынием дверь закрылась.

Лизель не ушла.

Она долго сидела на крыльце и смотрела на Молькинг. На улице было ни тепло ни холодно, город выглядел ясным и тихим. Молькинг в стеклянной банке.

Лизель открыла конверт. В своем письме Хайнц Герман дипломатично обрисовал, почему ему все-таки приходится отказаться от услуг Розы Хуберман. Самое главное, объяснил бургомистр, что он выказал бы себя лицемером, если бы, советуя другим *готовиться к трудностям*, сам не оставил бы своих маленьких роскошеств.

Наконец она встала и двинулась домой, но стоило завидеть на Мюнхен-штрассе вывеску «STEINER — SCHNEIDERMEISTER», в ней всколыхнулся протест. Огорчение покинуло ее, и девочку обуял гнев.

— Сволочь этот бургомистр, — прошептала Лизель, — а эта *жалкая* женщина. — Если грядут трудные времена — разве не стоит хотя бы поэтому и дальше давать Розе работу? Но нет — ей отказали. По крайней мере, решила Лизель, будут теперь сами стирать и гладить свое чертово белье, как нормальные люди. Как бедняки.

Рука Лизель крепче сжала «Свистуна».

— Вот зачем ты дала мне книгу, — сказала Лизель, — из жалости — чтобы совесть не мучила... — То, что книгу ей предлагали и раньше, дела не меняло.

Лизель развернулась, как в тот раз, давно, и решительно двинулась обратно к дому 8 по Гранде-штрассе. Соблазн побежать был велик, но Лизель держалась, чтобы сберечь дыхание на слова.

Вернувшись к дому, Лизель пожалела, что там нет самого бургомистра. Машина не ютилась умело у тротуара — да оно, пожалуй, и к лучшему. Стой она там, не берусь сказать, что сделала бы с нею Лизель в тот час противостояния богатых и бедных.

Прыгая через две ступеньки, Лизель подскочила к двери и заколотила в нее так, что заболел кулак. Мелкие осколки боли ей очень понравились.

Несомненно, жена бургомистра опешила, снова увидев девочку. Ее пушистые волосы были слегка влажными, а морщинки расплылись, когда она заметила на обычно безучастном лице девочки несомненную ярость. Женщина открыла рот, но оттуда не вылетело ни звука, что оказалось вообще-то кстати, потому что беседой владела Лизель.

— Думаете, — выпалила она, — откупиться от меня этой книгой? — Ее голос, хоть и дрожал, вцепился женщине в горло. Блистающий гнев был плотен и лишал воли, но Лизель продралась сквозь него. И рванулась дальше — туда, где ей пришлось вытирать слезы с

глаз. — Вы дали мне эту свинскую книжку и думаете, что теперь все будет хорошо, когда я приду и скажу Маме, что от нас отказались последние? А вы будете сидеть тут в своем особняке?

Руки бургомистровой жены.

Повисли.

Лицо соскользнуло.

Лизель, однако, не унималась. Она брызгала слова прямо в глаза женщине.

— С вашим мужем. Сидеть тут. — Вот теперь Лизель озлобилась. Озлобилась и озлилась так, что сама от себя не ожидала.

От слов раны.

Да, жестокость этих слов.

Лизель вызывала их из таких мест, которые открылись ей только сейчас, и швыряла в Ильзу Герман.

— Да все равно, — сообщила она ей, — пора уже вам самим стирать ваше вонючее белье. Пора вам признать, что ваш сын погиб. Его убили! Его задушили и разрезали на куски двадцать с лишним лет назад. Или он замерз? Хоть так, хоть так — он умер! Он умер, а вы жалкая сидите тут и дрожите в собственном доме, страдаете за это. Думаете, вы одна такая?

В тот же миг.

Рядом с нею возник брат.

Зашептал ей, чтобы умолкла, но сам-то он тоже умер, и слушать его не было резона.

Он умер в поезде.

Похоронили его в снегу.

Лизель взглянула на него, но не могла заставить себя умолкнуть. Пока не могла.

— А ваша книга, — продолжила Лизель. Она спихнула мальчика со ступеней, так что он упал. — Она мне не нужна. — Лизель говорила уже тише, но все так же горячо. Она швырнула «Свистуна» к тапочкам бургомистровой жены и услышала, как книга щелкнула о цемент. — Не нужна мне ваша несчастная книга...

Тут у Лизель получилось. Она смолкла.

Теперь в ее горле стало голо. Ни слова окрест.

Брат, держась за колено, растворился.

После недоношенной паузы жена бургомистра подалась вперед и подняла книгу. Женщина выглядела избитой и помятой, только на сей раз — не от улыбки. Лизель разглядела это у нее на лице. Кровь стекала у нее из носа и лизала губы. Под глазами синяки. Раскрылись порезы, а к поверхности кожи приливалась россыпь ран. Все от слов. От слов Лизель.

С книгой в руке, выпрямляясь из поклона к сутулости, Ильза Герман опять завела было о том, как ей жаль, но фраза так и не выбралась.

Ударь меня, думала Лизель. Ну, ударь же.

Ильза Герман не ударила ее. Просто попятилась в уродливое нутро своего прекрасного дома, и Лизель опять осталась одна, цепляясь за ступени. Она боялась обернуться, ибо знала: когда обернется, стеклянный колпак над Молькингом окажется разбит и она этому обрадуется.

Чтобы покончить с делом, Лизель еще раз перечитала письмо, и уже у калитки смяла его как можно плотнее в комок и швырнула в дверь, будто камень. Не представляю, чего ожидала книжная воришка, но бумажный комок, стукнувшись в мощную деревянную панель, прочирикал к подножью крыльца. И упал к ее ногам.

— Так всегда, — подытожила Лизель, пинком отправляя письмо в траву. — Все без толку.

Возвращаясь домой, она представляла себе, что станет с бумажкой, когда пойдет

дождь и заново склеенный стеклянный колпак над Молькингом перевернется кверху дном. Лизель так и видела это: слова растворяются буква за буквой, пока не исчезают совсем. Только бумага. Только земля.

А когда Лизель вошла домой, Роза, как назло, была на кухне.

— Ну? — спросила Мама. — Где стирка?

— Сегодня не было, — ответила Лизель.

Роза подошла к столу и села. Она поняла. И вдруг показалась намного старше. Лизель представила, как будет выглядеть Роза, если распустит волосы и они упадут ей на плечи. Серое полотенце резиновых волос.

— Что ж ты там делала, свинюха малолетняя? — Фраза вышла онемелой. Мама не смогла собрать во рту обычного яда.

— Это все из-за меня, — сказала Лизель. — Только из-за меня. Я оскорбила бургомистрову жену, сказала, что хватит плакать над погибшим сыном. И обозвала ее жалкой. И потому они тебе отказали. На. — Лизель взяла горсть деревянных ложек, высыпала на стол перед Розой. — Выбирай.

Роза потрогала одну и взяла в руку, но в ход пускать не стала.

— Я тебе не верю.

Лизель разрывалась между досадой и изумлением. В кои-то веки ей отчаянно хотелось получить «варчен», и не было возможности!

— Это я виновата.

— Нет, не ты, — сказала Мама — и даже встала и погладила Лизель по сальным невымытым волосам. — Я знаю, ты бы так не сказала.

— Я сказала!

— Ладно, сказала.

Выходя из кухни, Лизель услышала, как деревянные ложки брякнули обратно в железную банку. А когда она дошла до своей комнаты, все ложки до единой, вместе с банкой, полетели на пол.

Позже Лизель спустилась в подвал, где Макс Ванденбург стоял в темноте и, вероятнее всего, боксировал с фюрером.

— Макс? — Затеплился свет — красной монетой, поплывшей в углу. — Можешь научить меня отжиматься?

Макс показал и, помогая, несколько раз придержал ее торс, но, несмотря на хилый вид, Лизель была сильной и неплохо управлялась с весом своего тела. Она не считала, сколько раз отжалась в тот вечер в мерцании подвала, но мышцы у нее болели после этого несколько дней. Она не остановилась, даже когда Макс сказал, что уже, наверное, хватит с избытком.

Перед сном Лизель с Папой читали, и Папа заметил, что с девочкой что-то не так. Впервые за целый месяц он остался посидеть с ней, и, пусть немного, это утешило Лизель. Ганс Хуберман каким-то образом всегда знал, что сказать, когда остаться, а когда оставить девочку в покое. Может быть, Лизель была тем единственным, в чем Ганс был настоящим знатоком.

— Что — стирка? — спросил он.

Лизель помотала головой.

Папа не брился несколько дней и каждые две-три минуты потирал колючую щетину. Его серебряные глаза были спокойными и плоскими, чуть теплыми — как всегда, если дело касалось Лизель.

Чтение сошло на нет, Папа заснул. Лишь тогда Лизель заговорила о том, что хотела сказать все это время.

— Папа, — прошептала она, — кажется, я попаду в ад.

Ее ногам было тепло. Коленям — холодно.

Она вспомнила те ночи, когда мочила постель, а Папа стирал простыни и рисовал ей буквы. Сейчас его дыхание скользнуло над одеялом, и Лизель поцеловала его колючую щеку.

— Тебе надо побриться, — сказала она.

— Ты не попадешь в ад, — ответил Папа.

Несколько мгновений Лизель смотрела на его лицо. Потом легла, привалилась к Папе, и они вместе заснули — глубоко под Мюнхеном, но где-то на седьмой грани игрального кубика Германии.

ЮНОСТЬ РУДИ

В конце концов ей пришлось дать ему, что просил.

Он знал, как взяться за дело.

***** ПОРТРЕТ РУДИ ШТАЙНЕРА: *****

ИЮЛЬ 1941 г.

Струйки грязи стискивают лицо.

Галстук как маятник, давно умерший в часах.

Лимонно-фонарные волосы растрепаны, а на лице грустная, нелепая улыбка.

Он стоял в нескольких метрах от крыльца и говорил чрезвычайно убежденно, чрезвычайно радостно.

— Alles ist Scheisse, — объявил он.

Все — дерьмо.

В первое полугодие 1941-го, пока Лизель занималась укрыванием Макса Ванденбурга, кражей газет и отчитыванием бургомистерских жен, Руди претерпевал собственную новую жизнь — в Гитлерюгенде. С начала февраля он стал возвращаться с отрядных собраний в гораздо худшем виде, чем уходил на них. Во множестве таких возвращений бок о бок с ним шагал Томми Мюллер — в таком же состоянии. Неприятность сводилась к трем компонентам.

***** ТРЕХЪЯРУСНАЯ НЕПРИЯТНОСТЬ *****

1. Уши Томми Мюллера.

2. Франц Дойчер — бешеный вожатый.

3. Неспособность Руди не лезть куда не просят.

Если бы только шесть лет назад, в один из самых холодных в истории Молькинга дней Томми Мюллер не потерялся на семь часов! Его ушная инфекция и поврежденные нервы по-прежнему ломали маршевый порядок Гитлерюгенда, а в этом, могу вас заверить, не было ничего хорошего.

Поначалу скольжение под уклон набирало ход постепенно, но от месяца к месяцу Томми последовательно навлекал на себя гнев вожатых — особенно на занятиях по строевой подготовке. Помните день рождения Гитлера в прошлом году? Какое-то время инфекция Томми обострялась. Дошло до того, что он вообще слышал с большим трудом. Не разбирал команд, которые выкрикивали отряду, когда все маршировали в колоннах. И неважно, в зале или на улице, в снегу, в грязи или в щелях дождя.

Целью было, чтобы все остановились одновременно.

— Один щелчок! — говорили им. — Вот что хочет слышать фюрер. Все вместе. Все как один!

И тут Томми.

Мне кажется, хуже было с левым ухом. Из двух оно причиняло больше всего

неприятностей, и когда резкий крик «Стой!» орошал слух остальных, Томми рассеянно и комично шагал дальше. В мгновение ока он умел превратить шагающую шеренгу в месиво.

В одну субботу, в начале июля, в три тридцать с минутами, после череды проваленных из-за Томми Мюллера попыток маршировки, Франц Дойчер (образцовое имя для образцового юного фашиста) окончательно вышел из себя.

— Мюллер, du Affe! — Густые светлые волосы массировали голову Франца, а слова дергали Томми за лицо. — Обезьяна, ты что — ненормальный?

Томми, испуганно сжавшись, попятился, но его левая щека все равно подрагивала, кривясь в маниакально-бодрой гримасе. Казалось, он не просто самодовольно насмехается, но ему в радость эта куча-мала. Франц Дойчер не собирался такого терпеть. Его бледные глаза поджаривали Томми Мюллера.

— Ну? — спросил он. — Что ты нам скажешь?

Тик Томми Мюллера только усилился — и по скорости, и по глубине.

— Ты что, дразнишь меня?

— Хайль, — дернулся Томми в отчаянной попытке купить хоть немного снисхождения, но так и не смог произнести вторую часть.

Тут вперед вышел Руди. Встал перед Францем Дойчером, глядя ему в лицо.

— Он нездоров...

— Я вижу!

— Уши, — договорил Руди. — Он не...

— Ладно, хватит. — Дойчер потер руки. — По шесть кругов вокруг плаца, оба. — Они повиновались, но не слишком быстро. — Schnell! — погнался за ними голос Дойчера.

Когда шесть кругов сделали, им задали муштру в стиле «бегом-арш-встать-лечь-встать», и через пятнадцать долгих минут снова приказали лечь — должно быть, в последний раз.

Руди посмотрел под ноги.

Снизу ему осклабилась кривая лужица грязи.

«Чего уставился?» — как будто спрашивала она.

— Лечь! — скомандовал Франц.

Руди, естественно, перепрыгнул лужу и упал на живот.

— Встать! — Франц улыбался. — Шаг назад. — Они шагнули. — Лечь!

Идея была ясна, и Руди ее воспринял. Он нырнул в грязь и затаил дыхание — и в тот момент, когда он лежал ухом к вязкой земле, муштра закончилась.

— Vielen Dank, meine Herren, — учтиво сказал Франц Дойчер. — Премного благодарен, господа.

Руди поднялся на колени, покопался в грядке уха и глянул на Томми.

Тот закрыл глаза и дергал лицом.

Когда они вернулись домой на Химмель-штрассе, Лизель, еще не сняв форму Гитлерюгенда, играла в классики с младшими детьми. Краем глаза она заметила две унылые фигуры, шагающие к ней. Одна ее окликнула.

Они встретились на крыльце бетонной коробки дома Штайнеров, и Руди рассказал ей о недавнем происшествии.

Через десять минут Лизель села на крыльцо.

Через одиннадцать минут Томми, сидевший рядом, сказал:

— Это все из-за меня, — но Руди отмахнулся от него — где-то между фразой и улыбкой, разрубив пальцем надвое потек грязи. — Это из-за... — снова начал было Томми, но тут уж Руди обрубил фразу совсем и ткнул в него пальцем:

— Томми, хватит, а? — Выглядел Руди каким-то причудливо довольным. Лизель никогда не видела, чтобы кто-то был настолько несчастен и при том так искренне бодр. — Просто посиди и... ну, подергайся там или еще что-нибудь. — И Руди продолжил рассказ.

Он расхаживал.

Теребил галстук.

Слова летели в Лизель и падали куда-то на бетонное крыльцо.

— Этот Дойчер, — бодро подытожил Руди. — Достал нас, а, Томми?

Тот кивнул, дернул лицом и заговорил — хотя, может, и не в такой последовательности:

— Это все из-за меня.

— Томми, что я сказал?

— Когда?

— Только что! Помолчи, ладно?

— Конечно, Руди.

* * *

Через несколько минут Томми несчастно побрел домой, и Руди попробовал новую и, похоже, тонкую тактику.

Жалость.

Сидя на крыльце, он поразглядывал грязь, заскорузло облекшую его форму, потом безнадежно посмотрел Лизель в лицо.

— Ну и что скажешь, свинюха?

— Насчет чего?

— Сама знаешь.

Лизель ответила в обычной манере:

— Свинух, — засмеялась она и направилась домой, благо — недалеко. Смесь грязи и жалости, конечно, сбивает с толку, но это одно, а целовать Руди Штайнера — что-то совсем другое.

Грустно улыбаясь с крыльца и вороша рукой в волосах, он окликнул Лизель.

— Придет день, — предупредил он. — Придет день, Лизель!

Через два с небольшим года в подвале ей время от времени ужасно хотелось дойти до соседнего дома и увидеть Руди, даже если писала она в предутренний час. И Лизель понимала, что в нем, а потом и в ней самой жажду преступления питали, скорее всего, те вязкие дни в Гитлерюгенде.

В конце концов, несмотря на обычные приступы непогоды, лето уже начало входить в силу. Яблоки сорта «клар», наверное, уже начали созревать. Впереди ждали новые кражи.

ОТВЕРЖЕННЫЕ

Когда пришло время кражи, Лизель и Руди сначала придерживались той мысли, что воровать надежнее в стае. Анди Шмайкль пригласил их на реку, на сбор шайки. Среди «прочего» на повестке дня значился план рейда по садам.

— Так ты теперь главарь? — спросил Руди, но Анди покачал головой, тяжелой от разочарования. Он явно жалел, что не сгодился.

— Не я. — Его холодный голос был теплее обычного. Будто непропеченный. — Есть там один.

* * * **НОВЫЙ АРТУР БЕРГ** * * *

У него был ветер в волосах и туман в глазах, и он был таким малолетним преступником, у которого нет других причин воровать, кроме той, что ему это нравится.

Его звали Виктор Хеммель.

У Виктора Хеммеля, не в пример большинству людей, занятых в разных воровских

искусствах, было все. Он жил в лучшей части Молькинга, на холме, на вилле, которую хорошенько дезинфицировали после того, как выжили оттуда евреев. У него были деньги. У него были сигареты. Но хотел он большего.

— Хотеть немного больше — это не преступление, — заявил он, валяясь в траве, а сборище мальчишек расположилось вокруг. — Хотеть большего — для нас, немцев, это фундаментальное право. Что говорит наш фюрер? — И сам ответил на свою риторику. — Мы должны взять то, что принадлежит нам по праву!

На первый взгляд Виктор Хеммель был типичный малолетний трепач. К сожалению, бывая в ударе, он выказывал определенную харизму, будто внушал другим: «делай как я».

Когда Лизель с Руди подошли к компании на берегу, девочка услышала, как он задал еще один вопрос:

— Так где эти двое полудурков, которых вы мне расписывали? Уже десять минут пятого.

— На моих часах — еще нет, — сказал Руди.

Виктор Хеммель приподнялся на локте:

— У тебя и часов-то нет.

— Был бы я тут, будь у меня часы?

Новый главарь сел и улыбнулся — ровными белыми зубами. После чего перенес свое рассеянное внимание на девочку:

— Кто маленькая шлюшка? — Лизель, хорошенько привыкшая к словесным оскорблениям, стояла и разглядывала подернутую туманом ткань его глаз.

— В прошлом году, — пустилась перечислять она, — я украла не меньше трех сотен яблок и не один десяток картошек. Мне не сильно мешает колючая проволока, и я не отстану здесь ни от кого.

— Это правда?

— Да. — Лизель не поежилась и не отступила в сторону. — Я прошу только небольшой доли в добыче. Время от времени — десяток яблок. Какие-нибудь остатки для нас с другом.

— Ну, полагаю, это можно устроить. — Виктор закурил и, вынув сигарету из рта, держал у самых губ. Специально постарался выпустить следующую затяжку девочке в лицо.

Лизель не закашлялась.

* * *

Шайка была та же, что в прошлом году, единственное исключение — главарь. Лизель сначала удивилась, почему у руля не встал никто из прежних мальчишек, но, переводя взгляд с лица на лицо, поняла, что никто больше не годится. Они без колебаний шли воровать, но ими нужно было командовать. Им *нравилось*, когда ими командуют, а Виктору Хеммелю нравилось быть командиром. Уютный такой мирок.

На минуту Лизель затосковала по Артуру Бергу. Или он тоже уступил бы главенство Хеммелю? Это не имело значения. Лизель знала только, что в Артуре Берге не было ни единой жилки тирании, а новый главарь сплошь был свит из них. В прошлом году она знала, что, если застрянет на дереве, Артур за ней вернется, что бы он там ни утверждал. Теперь же, в сравнении, Лизель мгновенно поняла: этот Хеммель не почешется даже оглянуться.

Он стоял, разглядывая долговязого мальчишку и худосочную с виду девочку.

— Значит, хотите со мной воровать?

Чего им было терять? Оба кивнули.

Он подошел поближе и взял Руди за волосы:

— А ну-ка вслух.

— Конечно, — сказал Руди, и тут же его отпихнули назад — челкой вперед.

— А ты?

— Ясно дело. — Лизель хватило проворства уклониться от такого же обращения.

Виктор улыбнулся. Затоптал сигарету, глубоко вздохнул и почесал грудь.

— Что ж, мои господа, моя шлюшка, — похоже, пора за покупками.
Когда компания тронулась, Лизель и Руди пошли замыкающими, как они всегда ходили раньше.

— Он тебе нравится? — шепотом спросил Руди.

— А тебе?

Руди секунду помолчал.

— По-моему, полная гнида.

— По-моему — тоже.

Компания удалялась.

— Скорей, — сказал Руди. — Отстаем.

Через несколько километров показалась первая усадьба. Но там компанию ждал удар. Деревья, которые должны ломиться от яблок, как они рассчитывали, стояли хилые и больные с виду, и с веток жалко свисали только редкие плоды. То же самое — и в следующей. Может, год неурожайный, а может, они не угадали время.

Под вечер, когда делили добычу, Лизель и Руди получили одно яблоко-заморыш на двоих. По правде сказать, улов был невероятно скуден, но, кроме того, и Виктор Хеммель — хозяин поприжимистей.

— И как это называется? — спросил Руди, держа яблоко на ладони.

Виктор даже не обернулся.

— А на что похоже? — Слова обронули через плечо.

— Одно вшивое яблоко?

— На! — В их сторону полетело наполовину сгрызенное другое яблоко и упало обкусанным боком в грязь. — Это можешь взять тоже.

Руди взвился:

— К чертовой матери. Мы топали пятнадцать километров не ради полутора худосочных яблок, правда, Лизель?

Та не ответила.

У нее не было времени — едва она успела открыть рот, Виктор Хеммель уже сидел на Руди верхом. Прижав ему коленями руки к земле, схватив за горло. Яблоки подобрал не кто иной, как Анди Шмайкль — по приказу Виктора.

— Ему больно, — сказала Лизель.

— Да ну? — Виктор опять улыбался. Лизель коробило от этой улыбки.

— Мне не больно. — Слова из Руди выскочили разом, его лицо покраснело от напряжения. Из носа потекла кровь.

Виктор нажал сильнее и через пару затянувшихся мгновений отпустил Руди, слез с него и отошел прочь на несколько беспечных шагов. Сказал:

— Вставай, парень, — и Руди, благоразумно рассудив, сделал, что было велено.

Виктор снова небрежно подступил к Руди и встал ровно перед ним. Мягко потрепал его по плечу и ухмыльнулся. И шепотом:

— Если не хочешь, чтобы эта кровь хлынула фонтаном, советую тебе уносить ноги, малыш. — Глянул на Лизель. — И мелкую сучку прихвати.

Никто не шевельнулся.

— Ну, чего ждешь?

Лизель взяла Руди за руку, и они ушли, но прежде Руди еще раз обернулся и плюнул кровавой слюной Виктору Хеммелю на ботинок. Это вызвало одно финальное замечание.

*** * * ЛЕГКАЯ УГРОЗА ВИКТОРА ХЕММЕЛЯ РУДИ ШТАЙНЕРУ * * ***

— Ты за это заплатишься чуть позже, дружок.

Говорите про Виктора Хеммеля что хотите, но он определенно имел терпение и крепкую память. Прошло около пяти месяцев, прежде чем он подкрепил свое заявление

делом.

НАБРОСКИ

Лето 1941 года — если вокруг таких, как Руди и Лизель, оно вставало стеной, то в жизнь Макса Ванденбурга проникало буквами и красками. В самые одинокие мгновения в подвале вокруг него начинали громоздиться слова. Видения лились, сыпались, а время от времени хромали прочь из-под его рук.

У него было то, что он называл скудным пайком инструментов:

Закрашенная книга.

Горсть карандашей.

Голова мыслей.

И, как простой ребус, он собирал все это вместе.

Сначала Макс собирался написать только свою историю.

Его замысел был рассказать про все, что с ним случилось: что привело его в подвал на Химмель-штрассе, — но в итоге вышло совсем не то. Максова ссылка произвела на свет кое-что совершенно другое. Набор разрозненных мыслей — и он предпочел их все принять. Они казались *верными*. И были реальнее писем, которые он писал родным и другу Вальтеру Куглеру, прекрасно зная, что никогда не сможет их отправить. Оскверненные страницы «Майн кампф» одна за другой превращались в серию набросков, где для Макса отливались все те события, что подменили его прежнюю жизнь нынешней. Иные занимали минуты. Другие отнимали часы. Макс решил, что, когда закончит свою книгу, подарит ее Лизель, она тогда немного повзрослеет, а вся нынешняя белиберда, как он надеялся, закончится.

С той минуты, как Макс опробовал карандаши на первой закрашенной странице, он держал книгу закрытой. Бывало, и во сне он не выпускал ее из пальцев, а не то она лежала у него под боком.

Однажды днем после отжиманий и приседаний Макс заснул, сидя у стены. Лизель, спустившись в подвал, увидела, что рядом с Максом, косо прислонившись к его бедру, сидит книга, и любопытство взяло свое. Лизель наклонилась и подхватила ее — и выждала, не шевельнется ли Макс. Не шевельнулся. Сидел, уткнувшись в стену затылком и лопатками. Едва различая, как он дышит — туда-сюда, — Лизель открыла книгу и просмотрела несколько случайных страниц...

Не фюрер — дирижер!

Какой славный денек, а?..

Испугавшись того, что увидела, Лизель положила книгу обратно, точно как та сидела, опираясь на Максону ногу.

Голос перепугал ее.

— Danke schön, — сказал он, и когда она перевела взгляд, проследив путь звука до его хозяина, на еврейских губах слабо выступала довольная улыбка.

— Господи боже, — ахнула Лизель. — Макс, ты меня напугал.

Он вернулся в сон, а девочка потащила ту же мысль за собой вверх по лестнице.

Макс, ты меня напугал.

«СВИСТУН»

И БОТИНКИ

Таким же порядком все шло до конца лета с заходом глубоко в осень. Руди изо всех сил старался выжить в Гитлерюгенде. Макс отжимался и рисовал. Лизель отыскивала газеты и писала слова на стене подвала.

Но стоит добавить, что у любого порядка есть, по крайней мере, один слабый перекосяк, и однажды все переворачивается или соскальзывает с одной страницы на другую. В нашем случае основным фактором стал Руди. Или, по крайней мере, Руди и свежееудобренный плац.

В конце октября все вроде бы шло как обычно. Перемазанный грязью мальчишка шагнул по Химмель-штрассе. Через несколько минут его ждали дома, и он соврет, что в Гитлерюгенде всему отряду устроили добавочную муштру на плацу. Родители ожидали, что он даже рассмеется. Но не дождалось.

У Руди уже не осталось ни смеха, ни вранья.

В ту среду Лизель, присмотревшись, заметила, что Руди без рубашки. И страшно зол.

— Что случилось? — спросила она, когда ее друг протащился мимо.

Руди вернулся к ней и протянул рубаху, зажатую в руке.

— Понюхай.

— Что?

— Ты что, глухая? Понюхай, говорю.

Лизель несмело наклонилась и уловила исходящий от коричневой рубашки мерзостный дух.

— Езус, Мария и Йозеф! Это?..

Мальчик кивнул:

— Оно и на подбородке у меня. На подбородке! Еще повезло, что не наглотался!

— Езус, Мария и Йозеф.

— На Гитлерюгенде недавно удобрили плац. — Он еще раз неуверенно и с отвращением оглядел скомканную ткань. — Кажется, коровье.

— А этот, как его — Дойчер, — знал, что оно там?

— Сказал, что нет. Но улыбался.

— Езус, Мария и...

— Смени пластинку, а?

Какая-нибудь победа — вот что требовалось Руди в тот момент. Он проиграл Виктору Хеммелю. В Гитлерюгенде — неприятность за неприятностью. Хоть обмылок успеха — вот чего он хотел, и он был твердо настроен этого добиться.

Руди зашагал было дальше к дому, но, уже дойдя до бетонного крыльца, передумал и двинулся обратно к Лизель, медленно и целеустремленно.

Спокойно и сдержанно он заговорил:

— Знаешь, что поднимет мне настроение?

Лизель передернуло.

— Думаешь, я соглашусь — когда ты в таком...

Руди она, казалось, разочаровала:

— Да нет, не то. — Он вздохнул и подошел ближе. — Кое-что другое. — Секунду подумав, он приподнял голову, чуть-чуть. — Глянь на меня. Весь измазанный. Воняю коровьим навозом или собачьим дерьмом, с какой стороны ни погляди, и, как всегда, подыхаю с голоду. — Он помолчал. — Мне надо отыграться, Лизель. Честно.

Лизель понимала.

Она подошла бы к нему ближе, если б не вонь.

Кража.

Им надо что-нибудь украсть.

Нет.

Им надо украсть что-нибудь, украденное у *них*. И неважно что. Лишь бы поскорее.

— В этот раз — только мы с тобой, — предложил Руди. — Без всяких хеммелей, без всяких шмайклей. Только ты и я.

Лизель не могла с собой совладать.

У нее зачесались руки, рванулся пульс, а губы растянулись в улыбке — и все одновременно.

— Заманчиво.

— Ну и договорились. — И, как ни старался, Руди не смог спрятать навозной усмешки, что расцвела на его лице. — Завтра?

Лизель кивнула.

— Завтра.

План был идеальный за исключением одного:

Они не представляли, за что взяться.

Фрукты отошли. На лук и картошку Руди сморщил нос, а второй заход на Отто Штурма и его груженный деревенской снедью велик они отвергли сразу. Один раз вышло гнусно. Второй был бы полным скотством.

— Ну и куда мы, к черту, премся? — спросил Руди.

— Почему я знаю? Ты придумал, разве нет?

— Это не значит, что и тебе не надо чуточку подумать. Я не могу думать обо всем.

— Да ты вообще ни о *чем* не...

Они спорили на ходу, шагая по городу. Выйдя на окраину, увидели первые сады: деревья в них стояли изнуренными статуями. Ветки серые, и, поднимая головы, дети видели только шершавые сучья и пустое небо.

Руди сплюнул.

Они повернули обратно в Молькинг, перебирая возможности.

— А как насчет фрау Диллер?

— А что насчет нее?

— Может, если мы скажем «хайль Гитлер», у нас получится что-нибудь спереть?

Час или около того они бродили по Мюнхен-штрассе — и вот дневной свет дополз до конца, а они уже почти сдались.

— Беспользуха, — сказал Руди, — а я хочу жрать даже сильнее, чем всегда. Господи, да я с голоду подыхаю. — Он прошел еще десяток шагов, потом остановился и оглянулся. — Что с тобой? — спросил он, потому что Лизель замерла, а к ее лицу пристал момент озарения.

И как это она не подумала о них раньше?

— Ну что? — Руди уже терял терпение. — Что там, свинюха?

В тот момент Лизель принимала решение. Сможет ли она и впрямь выполнить то, о чем думает? Да и можно ли так мстить человеку? Можно ли кого-нибудь *настолько* презирать?

Лизель повернулась и зашагала в другую сторону. Когда Руди догнал ее, Лизель чуть притормозила в тщетной надежде на какое-нибудь прояснение. В конце концов, она уже виновата. Ее вина еще не подсохла. Семя уже разворачивалось в цветок с темными лепестками. Лизель взвешивала, сможет ли довести дело до конца. На перекрестке она остановилась.

— Я знаю место.

Они пересекли реку и поднялись по склону.

На Гранде-штрассе двери сияли лоском, а черепица крыш лежала фальшивыми локонами, приглаженными идеально. Стены и окна вылизаны, а трубы, казалось, вот-вот начнут выпускать колечки дыма.

Руди стал как вкопанный.

— Дом бургомистра?

Лизель серьезно кивнула. Помолчала.

— Они отказали моей маме.

Когда подобралась к дому, Руди спросил, как же, помилуй бог, они пролезут внутрь, но Лизель знала как.

— Знание места, — ответила она. — Знание... — Увидев окно библиотеки, Лизель остолбенела. Оно было закрыто.

— Ну? — спросил Руди.

Лизель медленно развернулась на пятках и быстро пошла прочь.

— Не сегодня, — сказала она.

Руди рассмеялся:

— Так и знал. — Он догнал Лизель. — Грязная свинюха, я так и знал. Тебе туда не попасть, даже если у тебя будет ключ.

— Думаешь? — Она зашагала еще быстрее, отмахнувшись от его замечания. — Нужно просто дождаться момента. — Мысленно Лизель сбрасывала с себя невольную радость оттого, что окно оказалось закрыто. Она бранила себя. «Ну и зачем, Лизель?» — спрашивала она. Зачем надо было беситься, когда эти отказали Маме? Неужели так трудно было удержать длинный язык за зубами? Теперь, как видно, жена бургомистра стала совсем другой — после того, как ты орала и визжала на нее. Наверное, взяла себя в руки, взялась за ум. Наверное, больше не станет мерзнуть в своем доме и окно будет всегда заперто... Глупая ты свинюха!

Однако через неделю, в пятый раз придя в верхнюю часть Молькинга, они увидели, чего ждали.

Открытое окно всасывало узкую полоску воздуха.

Только это им и нужно.

Руди остановился первым. Потыкал Лизель в ребра тыльной стороной ладони.

— А не открыто ли то окно? — шепотом спросил он. Рвение высунулось из его голоса и рукой легло на плечо девочки.

— Jawohl, — ответила она. — Так точно.

И в сердце у нее вдруг стало жарко.

Всякий раз, когда они обнаруживали, что окно плотно захлопнуто, Лизель под внешним разочарованием прятала яростное облегчение. Хватит ли у нее наглости забраться в дом? И вообще, для кого и для чего она туда ползет? Для Руди? Найти немного еды?

Нет, невыносимая правда была такой:

Ей нет дела до еды. И Руди, как ни жаль было это сознавать, имеет к ее плану лишь косвенное отношение. Ей нужна книга. «Свистун». Лизель претило получить его от одинокой жалкой старухи. А вот украсть — это чуть более приемлемо. Украсть его — в каком-то извращенном смысле — было почти все равно что заслужить.

Свет менялся целыми блоками оттенков.

Массивный ухоженный дом притягивал детей. Их мысли зашуршали шепотом.

— Хочешь жрать? — спросил Руди. Лизель ответила:

— Помираю, как хочу! — Книгу.

— Смотри — наверху свет зажегся.

— Вижу.

— Не расхотела жрать, свинюха?

Секунду-другую они нервно посмеялись и стали для порядка рядиться, кто ползет в окно, а кто встанет на вассаре. Руди, видимо, полагал, что, как единственный мужчина, лезть должен он, но Лизель явно знала дом. Так что лезть ей. Она представляла, что находится по ту сторону окна.

Так и сказала.

— Лезть надо мне.

Лизель зажмурилась. Крепко.

Она заставляла себя вспомнить, представить бургомистра и его жену. Воссоздавала в красках, как мало-помалу подружилась с Ильзой Герман, — и тут же напоминала себе, как их дружба, получив сапогом по лодыжкам, осталась лежать у обочины. Подействовало. Лизель их возненавидела.

Они оглядели улицу и молча пересекли двор.

И скорчились под щелью в окне первого этажа. Дыхание стало громким.

— Теперь, — предложил Руди, — дай мне свои ботинки. Чтобы не шуметь.

Не прекословя, Лизель развязала потрепанные черные шнурки и оставила ботинки на земле. Поднялась, и Руди мягко приоткрыл окно ровно так, чтобы Лизель могла пролезть. Скрип окна раздался над их головами как рев низколетящего самолета.

Лизель подтянулась на карниз и протиснулась в комнату. Разуться, поняла девочка, — это блестящий ход: она стукнулась пятками о деревянный пол крепче, чем ожидала. Ее подошвы болезненно раздались от удара, так что в кожу врезались швы носков.

В самой комнате все было как всегда.

В пыльном сумраке Лизель стряхнула подступившую ностальгию. Прокралась вглубь и дала глазам привыкнуть к темноте.

— Ну что там? — громко зашептал Руди снаружи, но Лизель только отмахнулась, что означало «Halt's Maul». Не шуми.

— Еду, — напомнил он. — Еду найди. И сигареты, если сможешь.

И то и другое, однако, интересовало Лизель в последнюю очередь. Она была дома — среди бургомистровых книг всех расцветок и видов, с золотыми и серебряными буквами. Она чуяла запах страниц. Почти ощущала вкус слов, громоздившихся вокруг. Ноги принесли ее к правой стене. Лизель знала, где то, что ей нужно, точное место, но когда подошла к полке со «Свистуном», на месте его не оказалось. Только узкая щель.

Тут она услышала шаги наверху.

— Свет! — зашептал Руди. Он совал слова в приоткрытое окно. — Свет погас!

— Scheisse.

— Они спускаются!

Повисла секунда нечеловеческой длины, вечность моментального решения. Глаза Лизель побежали по комнате — и тут она заметила «Свистуна»: он терпеливо лежал на бургомистерском столе.

— Быстрее, — поторопил Руди, но Лизель спокойно и уверенно прошла к столу, подхватила книгу и осторожно полезла в окно. Головой вперед, но все же сумела приземлиться на ноги, и снова болезненно — на этот раз больно было лодыжкам.

— Давай, — увещевал ее Руди. — Бежим, бежим. Schnell!

Свернув за угол и очутившись на дороге обратно к реке и Мюнхен-штрассе, Лизель остановилась и наклонилась отдышаться. Она стояла, переломившись пополам, воздух замерзал у нее во рту, сердце колоколом било в ушах.

То же самое и Руди.

Подняв голову, он увидел книгу у Лизель под мышкой. И попытался заговорить.

— Что, — с трудом выдавил он, — за книга?

Темнота уже поистине сгущалась. Лизель тяжело дышала, воздух в горле понемногу таял.

— Больше ничего не нашла.

Увы, у Руди было чутье. На ложь. Он искоса посмотрел на нее и объявил то, в чем уже не сомневался:

— Ты не за едой туда полезла, да? Ты взяла, что хотела...

Лизель распрямилась, и тут на нее накатила слабость от следующего открытия.

Ботинки.

Она посмотрела на ноги Руди, потом на его руки, потом на землю вокруг него.

— Что? — спросил он. — Что такое?

— Свинух, — набросилась на него Лизель. — Где мои ботинки? — Руди побелел, и тут у Лизель уже не осталось сомнений.

— Там, около дома, — предположил Руди, — или нет?

Он в отчаянии огляделся, моля, чтобы вопреки всему он все-таки ботинки принес. Он представил, как подбирает их с земли, ах, если бы и в самом деле, — но ботинок не было. Они лежали бесполезные, или много хуже — обличительные — у стены дома № 8 по Гранде-штрассе.

— Dummkopf! — выбранил он себя и шлепнул по уху. И, пристыженный, усталый на носки Лизель — зрелище не обещало ничего хорошего. — Идиот! — Но верное решение нашел быстро. — Жди тут, — серьезно сказал он и мигом скрылся за углом.

— Смотри не попадись, — крикнула ему вслед Лизель, но он не услышал.

Пока его не было, минуты давили.

Стемнело окончательно, и Лизель уже не сомневалась, что, когда вернется, «варчен» ей обеспечен.

— Ну давай же, — бормотала Лизель, но Руди не появлялся. Она представила, как вдали рвется вперед и раскатывается, приближаясь, полицейская сирена. Сгущаясь.

И по-прежнему — ничего.

Лишь когда Лизель вышла в грязных мокрых носках обратно на перекресток, она увидела Руди. Деловито рыся к ней, он высоко и бодро нес свое торжествующее лицо. Зубы скрипели в усмешке, а в руке у него болтались ботинки.

— Меня чуть не убили, — сказал он, — но все получилось. — Когда перешли реку, он подал Лизель ботинки, и та бросила их наземь.

Сев на дорогу, подняла глаза на своего лучшего друга.

— Danke, — сказала она. — Спасибо.

Руди поклонился.

— К вашим услугам. — И отважился на большее. — Наверное, бесполезно спрашивать, не положен ли мне за это поцелуй?

— За то, что ты принес мои ботинки, которые сам же забыл?

— Справедливо.

Он поднял руки и продолжал говорить на ходу, так что Лизель пришлось специально прилагать усилия, чтобы не слушать. Она уловила только последние слова:

— ...все равно, может, и не захочу тебя целовать — если у тебя изо рта пахнет так же, как из ботинок.

— Меня от тебя тошнит, — сообщила она Руди, надеясь, что он не заметил незаконченной мимолетной улыбки, сорвавшейся с ее губ.

На Химмель-штрассе Руди выхватил у нее книгу. Под фонарем прочитал заглавие и спросил, о чем это.

Лизель мечтательно ответила:

— Про одного убийцу.

— И все?

— Ну и там все время полицейский его ловит.

Руди вернул ей книжку.

— Кстати, я думаю, нам обоим что-то подобное грозит, когда вернемся домой. Особенно тебе.

— Почему это?

— Ты же знаешь — твоя Мама...

— А что Мама? — Лизель воспользовалась вопиющим правом любого человека, у которого когда-нибудь была семья. Для него вполне нормально скулить, ныть и распекать других членов семьи, но никому *другому* он этого не позволит. Тут уж он лезет в бутылку и выказывает верность семье. — Разве с ней что-то не так?

Руди осекся:

— Ладно, свинюха, извини. Я ничего плохого не имел в виду.

Даже в ночи Лизель видела, как вырос Руди. У него удлинялось лицо. Копна светлых волос едва заметно потемнела — и, казалось, черты лица меняли форму. Только одно никогда не изменится. На него невозможно долго сердиться.

— У вас сегодня есть что-нибудь приличное пожрать? — спросил Руди.

— Вряд ли.

— И у нас. Жалко, что нельзя есть книги. Артур Берг раз сказал что-то такое. Помнишь?

До конца пути они вспоминали славные былые денечки, а Лизель часто поглядывала на «Свистуна» — его серую обложку и оттиснутое черным название.

Перед тем как разойтись по домам, Руди остановился на секунду и сказал:

— Пока, свинюха. — И рассмеялся. — Спокойной ночи, книжная воришка.

Так в первый раз Лизель нарекли ее титулом, и она не смогла скрыть, что он ей весьма по душе. Как нам обоим известно, она и раньше крада книги, но в конце октября 1941 года это было признано официально. В тот вечер Лизель Мемингер стала книжной воришкой по-настоящему.

ТРИ АКТА ГЛУПОСТИ В ИСПОЛНЕНИИ РУДИ ШТАЙНЕРА

* * * РУДИ ШТАЙНЕР, ЧИСТЫЙ ГЕНИЙ * * *

1. Украл самую большую картофелину у Мамера, местного бакалейщика.

2. Задирался с Францем Дойчером на Мюнхен-штрассе.

3. Совсем перестал ходить на Гитлерюгенд.

В первом случае Руди подвела жадность. Стоял типичный унылый день середины ноября 1941 года.

Сначала Руди довольно виртуозно — ни дать ни взять начинающий криминальный гений — просочился сквозь очередь домохозяек с продуктовыми карточками. Ему почти удалось остаться никем не замеченным.

Но каким бы незаметным он ни был, Руди догадался схватить самую большую картофелину на лотке — ту самую, на которую зарилась половина очереди. Они все увидели, как над лотком возникла тринадцатилетняя пятерня и схватила картофелину. Хор толстомясых валькирий изобличил вора, и Томас Мамер рванулся к своему грязному овощу.

— Meine Erdapfel, — воскликнул он. — Мои земляные яблоки!

Картофелина еще оставалась в руках у Руди (одной он ее удержать не мог), а домохозяйки столпились вокруг него на манер команды борцов. Нужно было срочно что-то говорить.

— Наша семья, — объяснил Руди. Струйка прозрачной жидкости весьма кстати вытекла у него из носа. Руди счел за лучшее не вытирать ее. — Мы все голодаем. Моей сестренке нужно новое пальто. Последнее у нее украли.

Бакалейщик Мамер был не дурак. Держа Руди за ворот, он спросил:

— И ты хотел одеть ее в картошку?

— Нет, сударь. — Руди искоса заглянул в единственный глаз поимщика, видимый ему. Мамер походил на бочку и смотрел на мир двумя пулевыми дырками. Зубы у него теснились

во рту, как толпа болельщиков на футболе. — Мы три недели назад обменяли все наши карточки на пальто, и теперь нам нечего есть.

Бакалейщик держал Руди в одной руке, картофелину — в другой. Он крикнул своей жене страшное слово:

— Polizei.

— Нет, — взмолился Руди, — пожалуйста. — Потом он скажет Лизель, что ничуть не испугался, но в тот момент сердце у него оборвалось, тут я не сомневаюсь. — Не надо полицию. Пожалуйста, не надо.

— Polizei. — Мамер стоял непоколебимо, а мальчик извивался и сражался с воздухом.

В тот день в очереди стоял еще и учитель, господин Линк. Он был из тех школьных учителей, что не были ни священниками, ни монахами. Нацелившись, Руди приклеился к его глазам.

— Герр Линк! — Это был последний шанс. — Герр Линк, скажите ему, пожалуйста. Скажите ему, какие мы бедные.

Бакалейщик навел на учителя вопросительный взгляд.

Герр Линк вышел вперед и сказал:

— Верно, герр Мамер. Семья парнишки — бедняки. Они с Химмель-штрассе. — Толпа, состоявшая преимущественно из женщин, зашумела: они знали, что Химмель-штрассе никак не назовешь образцом молькинской идиллии. Все знали, что это довольно бедный район. — У него восемь братьев и сестер.

Восемь!

Руди пришлось проглотить улыбку, хотя свободу он еще не получил. По крайней мере, учитель уже врет. Герр Линк ухитрился добавить Штайнерам еще троих ребятшек.

— Он часто приходит в школу без завтрака. — И толпа домохозяйек опять зашептала. Ситуация будто покрывалась слоем краски, придавшим ей значительности и выразительности.

— И значит, ему позволено красть мою картошку?

— Самую большую! — выкрикнула одна дама.

— Спокойнее, фрау Метцинг, — остерег ее Мамер, и она тут же примолкла.

Сначала общее внимание было направлено на Руди и его заговор. Потом перескакивало туда-сюда: с мальчика на картошку, с картошки на Мамера — от самого милостивого предмета к самому неприглядному, — и что именно заставило бакалейщика смилостивиться, мы так и не узнаем.

Жалкий вид мальчика?

Благородство герра Линка?

Несдержанность фрау Метцинг?

Какая бы ни была тому причина, Мамер бросил картофелину обратно на лоток и выволок Руди за порог магазина. Крепко пихнул его под зад правым ботинком и сказал:

— Больше не появляйся.

С улицы Руди смотрел, как Мамер прошел за прилавок, чтобы отпустить следующему покупателю продукты и порцию сарказма.

— Вот гадаю, какую картошку вы захотите взять, — сказал бакалейщик, одним глазом приглядывая за парнишкой.

Для Руди то было еще одно поражение.

* * *

Второй акт глупости был столь же опасен — но по иным причинам.

Из этой свары Руди вышел с подбитым глазом, треснутыми ребрами и новой стрижкой.

На занятиях в Гитлерюгенде у Томми Мюллера опять возникли сложности, и Франц

Дойчер только и ждал, когда же вылезет Руди. Долго ждать ему не пришлось.

Он основательно загрузил Руди и Томми физподготовкой, пока остальные сидели в классе, изучая тактику. Бегая на холоде, они видели за стеклом теплые головы и плечи товарищей. Но даже когда Руди и Томми вернулись к остальным, муштра не закончилась. Едва Руди плюхнулся на стул в углу и щелчком смахнул грязь с рукава на окно, Франц с ходу задал ему любимый гитлерюгендовский вопрос.

— Когда родился наш фюрер Адольф Гитлер?

Руди поднял глаза:

— Что-что?

Вопрос повторили, и очень глупый Руди Штайнер, который прекрасно знал дату — 20 апреля 1889 года, — назвал дату рождения Христа. Он даже упомянул Вифлеем, чтобы расширить ответ.

Франц помазал друг об друга ладони.

Очень плохой знак.

Он подошел к Руди и отправил его обратно на улицу — еще несколько кругов вокруг стадиона.

Руди бежал один, и после каждого круга его снова спрашивали о дне рождения фюрера. Он пробежал семь кругов, пока не дал правильный ответ.

Главная беда стряслась через несколько дней после того занятия.

Камень ударил мишень прямо в позвоночник, хотя и не так крепко, как хотелось бы. Франц Дойчер обернулся и, похоже, очень обрадовался, увидев Руди, который стоял на тротуаре с Лизель, Томми и маленькой сестрой Томми Кристиной.

— Бежим, — дернулась Лизель, но Руди даже не двинулся.

— Сейчас мы не на Гитлерюгенде, — пояснил он. Большие парни уже подошли. Лизель держалась рядом с другом, дергающийся Томми и малышка Кристина — тоже.

— Герр Штайнер, — объявил Франц — и тут же оторвал Руди от земли и швырнул на тротуар.

Когда Руди поднялся, это лишь пуще разъярило Дойчера. Он еще раз бросил мальчика на мостовую, наподдав коленом по ребрам.

И снова Руди встал на ноги, и парни засмеялись над своим другом. Не лучшая новость для Руди.

— Не можешь внушить? — сказал самый рослый. У него были синие и холодные, как небо, глаза, и Францу Дойчеру не надо было повторять дважды. Он твердо решил, что теперь уж Руди на земле и останется.

Их обтекла небольшая толпа; Руди махнул кулаком Дойчеру в живот, но даже не задел. В ту же секунду его левый глаз обжег удар кулака. Посыпались искры, и Руди оказался на мостовой, еще не успев этого понять. Получил второй удар в то же место и почувствовал, как глаз становится желтым, черным и синим сразу. Три слоя бодрящей боли.

Уже развившаяся толпа стеснилась и злорадно глядела, поднимется ли Руди. Но нет. На этот раз он остался лежать на холодной сырой земле, чувствуя, как она впитывается через одежду и растекается в нем.

В глазу у него еще полыхало, и он слишком поздно заметил, что Франц стоит над ним с новеньким складным ножом в руке, готовый наклониться и полоснуть.

— Нет! — воспротивилась Лизель, но рослый удержал ее. Зазвучавшие у нее в ухе слова были глубокими и старыми.

— Не бойся, — заверил парень Лизель, — Ничего он не сделает. Кишка тонка.

Он ошибся.

Франц коленопреклоненно сложился, подаваясь ближе к Руди, и прошептал:

— Ну, когда родился наш фюрер? — Каждое слово было тщательно воссоздано и вложено Руди прямо в ухо. — Скажи, Руди, когда он родился? Говори, не бойся, все

нормально.

Что же Руди?

Что он ответил?

Повел себя благоразумно или по воле собственной глупости еще глубже погряз в трясине?

Он посмотрел в бледно-голубые глаза Франца Дойчера счастливым взглядом и прошептал в ответ:

— В пасхальный сочельник.

Секунда — и нож был у него в волосах. На том этапе жизни у Лизель это была уже вторая стрижка. Волосы еврея остригли ржавыми ножницами. А ее лучшего друга обработали сверкающим ножом. Никто из ее знакомых не стригся за деньги.

Что касается Руди, то в этом году он уже глотал грязь, купался в удобрениях, был едва не удушен начинающим уголовником, и вот — будто бы на сладкое — прилюдное унижение на Мюнхен-штрассе.

Челка по большей части срезалась легко, но при каждом взмахе ножа находилось несколько волосков, которые до последнего цеплялись за жизнь и потому выдирались с корнем. И с каждым вырванным волоском Руди морщился, его синяк пульсировал, а ребра пронзала боль.

— Двадцатого апреля тысяча восемьсот восемьдесят девятого, — приговаривал Франц Дойчер; и когда он увел свою шайку прочь, толпа рассеялась, и только Лизель, Томми и Кристина остались рядом со своим другом.

Руди тихо лежал на земле в поднимающейся сырости.

И вот нам остается акт глупости номер три — прогуливание занятий в Гитлерюгенде.

Руди не сразу перестал ходить — показать Дойчеру, что не боится его, — но через пару недель полностью прервал членство.

Гордо облачившись в форму, он выходил с Химмель-штрассе в сопровождении верного вассала Томми.

Но вместо Гитлерюгенда они шли за город и гуляли вдоль Ампера, пускали блинчики, швыряли в воду огромные бульжники — в общем, ничем хорошим не занимались. Руди старательно пачкал форму, и ему удавалось обманывать мать — по крайней мере, до первого письма. А вот тогда он услышал зловещий призыв из кухни.

Сначала родители пригрозили ему. Он не пошел.

Потом они умоляли его ходить. Он отказался.

В конце концов только возможность сменить отряд вернула его на истинный путь. Штайнерам повезло: если бы Руди вскоре не появился на занятиях, родителей бы оштрафовали за его прогулы. Старший брат Курт спросил, не хочет ли Руди перейти во «флигер-дивизион» — летную дружину, где занимались изучением самолетов и пилотирования. В основном там строили модели, и там не было Франца Дойчера. Руди согласился, и Томми тоже перешел. Один раз в жизни его идиотское поведение принесло благие плоды.

Когда в новом отряде Руди задавали знаменитый вопрос о фюрере, он с улыбкой отвечал:

— 20 апреля 1889 года, — и тут же шепотом сообщал Томми другую дату: день рождения Бетховена, Моцарта или Штрауса. Композиторов они проходили в школе, где Руди, несмотря на свою очевидную глупость, отлично успевал.

ПЛАВУЧАЯ КНИГА (Часть II)

В начале декабря к Руди Штайнеру наконец-то пришла победа — хотя и не совсем обычным образом.

День был холодный, но тихий. Собирался снег.

После школы Руди и Лизель зашли в мастерскую Алекса Штайнера, а когда отправились домой, увидели, как из-за угла выныривает старый друг Руди Франц Дойчер. Лизель в те дни завела привычку всюду носить с собой «Свистуна». Ей нравилось держать его в руке. Или гладкий корешок, или жесткий обрез. Лизель первой заметила Дойчера.

— Смотри, — показала она. Дойчер размашисто шагал к ним с другим вожатым Гитлерюгенда.

Руди весь втянулся в себя. Потрогал заживающий глаз.

— Не сегодня. — Он пошарил взглядом по улицам. — Если обойти церковь, можно вдоль реки и потом вернуться.

Без дальнейших слов Лизель поспешила за Руди, и они успешно избежали встречи с учителем — чтобы выйти прямо в лапы другому.

Поначалу они ничего не заподозрили.

Компания, шагавшая через мост и дымившая сигаретами, могла состоять из кого угодно, но уже было слишком поздно сворачивать, когда обе группы узнали друг друга.

— Ай, они нас увидели.

* * *

Виктор Хеммель улыбался.

Заговорил он крайне дружелюбно. Это могло значить только то, что он в самом опасном настроении.

— Ба, да это никак Руди Штайнер со своей маленькой шлюшкой. — Он плавно встретился с ними и выхватил из рук девочки «Свистуна». — Что читаем?

— Слушай, отдай, — попытался образумить его Руди. — Одно дело мы с тобой. А она тут ни при чем.

— «Свистун». — Теперь Хеммель обращался к Лизель. — Интересно?

Лизель откашлялась.

— Ничего. — Увы, она себя выдала. Взглядом. В нем было волнение. Лизель точно заметила момент, когда Хеммель понял, что книга — ценный трофей.

— Вот что я тебе скажу, — продолжил он, — за пятьдесят марок можешь получить ее назад.

— Пятьдесят марок! — Это был Анди Шмайкль. — Брось, Виктор, за такие деньги можно купить тысячу книжек.

— Я что, просил тебя говорить?

Анди смолк. Будто с маху захлопнул рот.

Лизель попробовала сделать бесстрастное лицо.

— Можешь оставить себе. Я уже прочитала.

— И что там в конце?

Проклятье!

До конца Лизель еще не добралась.

Она замялась, и Виктор Хеммель моментально все разгадал.

Руди кинулся на выручку:

— Хорош, Виктор, не цепляйся к ней. Тебе же я нужен. Я все сделаю, что захочешь.

Парень лишь отмахнулся от него, подняв книгу в руке повыше. И поправил Руди.

— Не так, — сказал он. — Это я сделаю все, что захочу. — И зашагал к реке. Все — за ним по пятам, стараясь не отстать. Полушагом, полубегом. Кто-то протестовал. Кто-то подзадоривал.

Все произошло быстро и спокойно. Вопрос, притворно-дружелюбный голос.

— Скажи-ка, — спросил Виктор. — Кто был последним олимпийским чемпионом по

метанию диска в Берлине? — Он обернулся к Руди и Лизель. Он стал разминать руку. — Кто же это был? Черт, на языке вертится. Тот американец, да? Карпентер или как-то...

Руди:

— Пожалуйста!

Течение обвалилось.

Виктор Хеммель начал *вращение*. Книга великолепно выпорхнула из его руки. Раскрылась и затрепетала, страницы шелестели, пока она обмахивала землю по воздуху. Резче ожидаемого книга замерла в полете и, будто засосанная рекой, рухнула вниз. Шлепнулась, ударившись о воду, и поплыла по течению.

Виктор покачал головой:

— Высота маловата. Неважный бросок. — Он снова улыбнулся. — Но все равно тянет на медаль, а?

Смеха Руди с Лизель не стали слушать.

В особенности Руди — он рванул вдоль берега, пытаясь не упустить книгу из виду.

— Ты ее видишь? — крикнула Лизель.

Руди мчался.

Он бежал у края воды, указывая, где книга.

— Вон! — Он остановился, махнул рукой и снова побежал, чтобы обогнать. Вскоре скинул пальто, прыгнул в воду и добрал до середины реки.

Лизель, перейдя на шаг, видела, как мучителен каждый его шаг. Обжигающий холод.

Подойдя ближе, Лизель увидела, как книга проплыла мимо Руди, но он быстро догнал ее. Протянул руку и схватил размокший кирпич картона и бумаги.

— «Свистун»! — крикнул Руди. В тот день вниз по Амперу плыла только одна книга, но он все равно счел нужным объявить название.

Интересно еще заметить, что Руди не поспешил выбраться из опустошительно холодной воды, едва книга оказалась у него в руке. Он стоял еще целую минуту или около того. Он так и не объяснил этого Лизель, но, по-моему, она отлично понимала, что причина у него была двойная.

* * * МЕРЗЛЫЕ МОТИВЫ РУДИ ШТАЙНЕРА * * *

1. После стольких месяцев неудач этот миг был его единственной возможностью насладиться хоть какой-то победой.
2. Положение, требующее такой самоотверженности — удобный случай обратиться к Лизель с обычной просьбой.
Разве сможет она отказать ему?

— Как насчет поцелуя, свиногоха?

По пояс в ледяной воде он постоял еще несколько лишних мгновений, затем выбрался на берег и подал книгу Лизель. Штаны облепляли ему ноги, и Руди не останавливался. По правде, я думаю, он боялся. Руди Штайнер боялся поцелуя книжной воришки. Наверное, слишком его хотел. Наверное, он так невероятно сильно любил ее. Так сильно, что уже больше никогда не попросит ее губ и сойдет в могилу, так и не отведав их.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ «ПОЧТАЛЬОН СНОВ»

с участием:

дневника смерти — снеговика — тринадцати подарков — следующей книги — кошмара с еврейским трупом — газетного неба — посетителя — «шмунцеллера» — и прощального поцелуя в отравленные щеки

ДНЕВНИК СМЕРТИ: 1942

Это был год, стоивший целой эпохи, как 79-й или 1346-й — да и многие другие. Что там коса, черт побери, там была нужна метла или швабра. А мне — отпуск.

*** * * КУСОЧЕК ПРАВДЫ * * ***

У меня нет ни косы, ни серпа.

Черный плащ с капюшоном я ношу, лишь когда холодно.

И этих черт лица, напоминающих череп, которые, похоже, вам так нравится цеплять на меня издали, у меня тоже нет.

Хотите знать, как я выгляжу на самом деле?

Я вам помогу.

Найдите себе зеркало, а я пока продолжу.

По-моему, сейчас я веду себя довольно эгоистично — все о себе да о себе. О моих путешествиях, о том, что я видел в 42-м. С другой стороны, вы ведь человек — самовлюбленность вам должна быть понятна. Дело в том, что я не просто так рассказываю вам, что я тогда видел. Многие события скажутся на Лизель Мемингер. Придвинут войну ближе к Химмель-штрассе — и потащат за компанию меня.

Да, в том году концы у меня были дальние: из Польши в Россию, потом в Африку и опять все сначала. Можете со мной поспорить и сказать, что мне в любой год приходится так мотаться, но иногда человеческому роду приходит на ум разойтись на всю катушку. Растет производство тел и отлетающих душ. В дело идет пара бомб — и готово. Или газовые камеры, или трескотня далеких пулеметов. Если все это не вполне довершает начатое, люди хотя бы лишаются привычного крова, и я повсюду вижу бездомных. Они часто бегут за мной, когда я прохожу улицами разоренных городов. Умоляют забрать их, не понимая, что я и так слишком занят.

— Ваше время еще придет, — заверяю я их и стараюсь не оглядываться. Иногда хочется вспылить — как-нибудь так: «Разве вы не видите, что у меня и без вас работы по уши?», но я молчу. Жалуюсь про себя, не отрываясь от работы, и в иные годы души и тела не складываются — они множатся.

*** * * КРАТКАЯ ПЕРЕКЛИЧКА НА 1942 ГОД * * ***

- 1. Загнанные евреи — их души у меня на руках, мы сидим на крыше, подле дымящих труб.**
- 2. Русские солдаты — они брали минимум боеприпасов, рассчитывая взять остальное у павших товарищей.**
- 3. Промокшие тела на французском побережье — выброшенные на гальку и песок.**

Я мог бы и продолжить, но, думаю, пока хватит и трех примеров. Во всяком случае, от этих трех у вас во рту возникнет привкус пепла, который определял все мое существование в том году.

Столько людей.

Столько красок.

Они до сих пор во мне — словно пружина. Травят мою память. Так и вижу их высокими горами, громоздятся одно на другое. Воздух как пластмасса, горизонт как застывающий клей. Это небо изготовлено людьми, проткнутое и потекшее, и в нем — мягкие тучи угольного цвета, бьются, как черные сердца.

И тут.
Смерть.
Пробирается во всем этом.
Снаружи: невозмутимая, непоколебимая.
Внутри: подавленная, растерянная и убитая.

Не кривлю душой (понимаю, что уже слишком много жалею) — я еще не оправился от Сталина в России. Так называемой «второй революции» — истребления собственного народа.

И тут Гитлер.

Говорят, война — лучший друг смерти, но мне следует предложить вам иную точку зрения. Война для меня — как новый начальник, который требует невозможного. Стоит за спиной и без конца повторяет одно: «Сделайте, сделайте...» И вкалываешь. Исполняешь. Начальник, однако, вас не благодарит. Он требует еще больше.

Часто я пытаюсь припомнить разрозненные кусочки прекрасного, которые я в то время тоже встречал. Перелопачиваю свое собрание историй.

Вот и сейчас я нашел одну.

Мне кажется, половина ее вам уже известна, и если пойдете со мной, я покажу вам остальное. Покажу вторую половину книжной воришки.

Сама того не зная, она готовится к огромному множеству событий, о которых я упомянул всего минуту назад, но и вас она тоже ждет.

Она носит снег — представьте себе, в подвал.

Полные горсти мерзлой воды кого хочешь заставят улыбнуться, но никому не помогут забыть.

Смотрите, вот она.

СНЕГОВИК

Начало 1942 года для Лизель Мемингер кратко описывается примерно так:

Ей исполнилось тринадцать лет. Грудь у нее еще оставалась плоской. У нее еще не начались кровотечения. Молодой человек из подвала теперь был у нее в постели.

*** * * ВОПРОС И ОТВЕТ * * ***

Как Макс Ванденбург оказался в постели Лизель?

Он упал.

Мнения были разные, но Роза Хуберман заявила, что корень зол — прошлое Рождество.

24 декабря было голодным и зябким, но был и крупный плюс — никаких долгих визитов. Ганс-младший одновременно стрелял в русских и продолжал бойкотировать семейное общение. Труды смогла заехать только в выходные перед Рождеством, на несколько часов. На праздник она уезжала с семьей, где работала. На каникулы для совершенно иного класса Германии.

В сочельник Лизель принесла в подарок Максу две пригоршни снега.

— Закрой глаза, — сказала она. — Вытяни руки.

Как только снег перешел из рук в руки, Макс поежился и рассмеялся, но глаз не открыл. Сначала он лишь наскоро попробовал снег, позволив ему впитаться в губы.

— Это сегодняшняя сводка погоды?

Лизель стояла рядом.

Она тихонько тронула Макса за рукав.

Тот снова поднял ладонь ко рту.

— Спасибо, Лизель!

Таково было начало самого чудесного на свете Рождества. Мало еды. Никаких подарков. Зато у них в подвале был снеговик.

Доставив первые пригоршни снега, Лизель убедилась, что на улице никого нет, а потом вынесла из дому все ведра и кастрюли, какие только нашла. И насыпала в них с горкой снега и льда, покрывавшего узкую полоску мира — Химмель-штрассе. Наполнив все емкости, Лизель внесла их в дом и стаскала в подвал.

Раз уж все по-честному, Лизель первой бросила снежок в Макса и получила ответный в живот. Макс даже бросил один в Ганса Хубермана, когда тот решил заглянуть к ним.

— Arschloch! — взвизгнул Папа. — Лизель, дай-ка мне снега. Полное ведро! — На несколько минут они забыли. Визга и выкриков больше не было, но то и дело вылетали короткие смешки. Ведь они были всего лишь люди, они играли в снегу, но в доме.

Папа поглядел на полные снега кастрюли.

— А что будем делать с остальным?

— Снеговика, — ответила Лизель. — Надо слепить снеговика.

Ганс покричал Розу.

В ответ ему швырнули привычное:

— Что там еще, свинух?

— Спустись-ка, а?

Когда жена появилась, Ганс Хуберман рискнул жизнью, броском отправив в нее великолепный снежок. Совсем чуть-чуть промазав, тот ударил в стену и рассыпался, дав Маме повод ругаться, не переводя дыхания, довольно долго. Пробранившись, Роза спустилась и помогла им лепить. Потом даже принесла пуговицы для глаз и носа и кусок бечевки для снеговиковой улыбки. И даже шарф и шляпу надели на снеговика, росту в котором было всего полметра с небольшим.

— Это карлик, — сказал Макс.

— Что будем делать, когда растает? — спросила Лизель.

У Розы уже был готов ответ:

— Ты его подотрешь, свинюха, да скоренько.

Папа не согласился:

— А он не растает. — Он потер руки и подышал в них. — Тут такой мороз.

И хотя снеговик все же растаял, где-то в душе каждого из них он так же гордо и высился. Наверное, стоял у каждого перед глазами, когда они в тот сочельник наконец заснули. В ушах звучал аккордеон, в глазах маячил снеговик, а Лизель еще и думала о словах Макса, когда простилась с ним у камина.

*** * * РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ МАКСА ВАНДЕНБУРГА * * ***

— Часто мне хочется, чтобы это все скорее закончилось, Лизель, но тут ты обязательно берешь и делаешь что-нибудь такое — например, спускаешься в подвал со снеговиком в руках.

Увы, тот вечер предвещал Максиму резкое ухудшение здоровья. Первые симптомы были довольно невинны и типичны. Постоянный озноб. Дрожащие руки. Учатившиеся видения боксерского матча с фюрером. И лишь когда его перестали согревать отжимания и приседания, он забеспокоился всерьез. Как близко бы к огню он ни садился, все равно не мог добиться хоть сколько-нибудь нормального самочувствия. День ото дня вес его, спотыкаясь, спадал. Режим упражнений поломался и рассыпался, а Макс остался лежать щекой на угрюмом полу подвала.

До самого конца января Макс пытался поставить себя на ноги, но к началу февраля дошел до ручки. С трудом просыпался у огня, залеживался до позднего утра, рот у него кривился, а скулы стали распухать. Когда его спрашивали, он говорил, что с ним все

нормально.

В середине февраля, за несколько дней до тринадцатилетия Лизель, он вышел к камину на пределе сил. И едва не упал в огонь.

— Ганс, — прошептал он, и его лицо будто стянуло судорогой. Ноги подогнулись, и он ударился головой о футляр аккордеона.

Тут же деревянная ложка плюхнулась в суп, и рядом с Максом оказалась Роза Хуберман. Она взяла в руки голову Макса и рывкнула через всю комнату на Лизель:

— Что стоишь столбом, принеси одеял. Положи на свою кровать. А ты! — Это настал черед Папы. — Помоги мне поднять его и перенести в ее комнату. Schnell!

Лицо Папы озабоченно натянулось. Его серые глаза лязгнули, и он в одиночку поднял Макса. Тот был легок, как ребенок.

— Может положим его здесь, к нам на кровать?

Но Роза уже подумала об этом.

— Нет. Здесь весь день должны быть открыты шторы, а то подозрительно выглядит.

— И то верно. — Ганс вынес Макса из комнаты.

С одеялами в руках Лизель стояла и смотрела.

В коридоре — безвольные ступни и свисающие волосы. С него свалился ботинок.

— Шевелись.

Мама по-утиному вступила в комнату следом.

* * *

Положив в постель, они завалили и замотали Макса одеялами.

— Мама?

Говорить дальше у Лизель не сразу хватило духу.

— Что? — Волосы у Розы были так туго стянуты в узел, что оторопь брала. Когда она повторила вопрос, эти волосы, похоже, натянулись еще сильнее. — Что, Лизель?

Девочка подошла ближе, боясь ответа.

— Он живой?

Узел кивнул.

Роза обернулась и сказала со всей твердостью:

— Послушай-ка, Лизель. Я не для того взяла этого человека в дом, чтобы смотреть, как он помирает. Ясно?

Лизель кивнула.

— Теперь ступай.

В коридоре Папа обнял ее.

Ей это было очень нужно.

Позже Лизель подслушала ночной разговор Ганса и Розы. Мама уложила ее спать у них в комнате, рядом с их кроватью, на полу, на матрасе, который притащили из подвала. (Были подозрения, не заразный ли он, но в итоге заключили, что для страхов нет оснований. Ведь Макс страдал не от инфекции, так что матрас принесли и застелили свежей простыней.)

Полагая, что девочка уже спит, Мама высказала свое мнение:

— Это все чертов снеговик, — зашептала она. — Наверняка с него все началось — возиться со снегом и льдом в такой холодрыге.

Папа был настроен более философски:

— Роза, это началось с Адольфа. — Он приподнялся. — Надо его проверить.

В течение ночи Макса проведали семь раз.

* * * СЧЕТ ПОСЕЩЕНИЙ МАКСА ВАНДЕНБУРГА * * *

Ганс Хуберман: 2

Роза Хуберман: 2
Лизель Мемингер: 3

Утром Лизель принесла из подвала его книгу рисунков и положила на тумбочку у кровати. Ей было ужасно, что в прошлом году она заглянула в эту книгу, и теперь Лизель держала ее плотно закрытой из уважения.

Когда в комнату вошел Папа, Лизель не обернулась и не посмотрела на него, но заговорила в стену над Максом.

— И зачем я притащила весь этот снег? — сказала она. — Ведь это все от него, так, Папа? — Она сцепила руки, словно для молитвы. — Зачем мне понадобилось лепить этого снеговика?

Но Папа, к его несгибаемой чести, остался тверд.

— Лизель, — сказал он, — так было надо.

Часами она сидела с Максом, пока тот дрожал, не просыпаясь.

— Не умирай, — шептала она. — Макс, пожалуйста, не умирай.

Он был вторым снеговиком, который таял у нее на глазах, только этот был другой. Парадокс.

Чем холоднее он становился, тем сильнее таял.

Это было как Максов приезд, снова.

Перья снова превратились в хворост. Гладкое лицо стало грубым. И признаки, которые высматривала Лизель, были на месте. Макс был жив.

В первые несколько дней она садилась и говорила с ним. В свой день рождения она рассказывала ему, что на кухне его дожидается огромный торт, если только он очнется.

Он не очнулся.

Торта не было.

*** * * ФРАГМЕНТ ПОЗДНЕЙ НОЧИ * * ***

Много позже я понял, что в те дни я и вправду побывал на Химмель-штрассе, 33. Должно быть, в один из тех редких моментов, когда девочки с ним рядом не было, потому что я видел только мужчину в кровати. Я встал на колени. Приготовился сунуть руки сквозь одеяла. И тут он воспрянул — с непостижимой силой оттолкнул мою тяжесть.

Я отступил — столько работы ждало меня впереди, что мне было в радость встретить отпор в этой темной тесной комнате.

Я даже позволил себе на миг закрыть глаза и замереть в безмятежности, прежде чем вышел вон.

На пятый день в доме случилось большое оживление — Макс открыл глаза, пусть лишь на несколько секунд. Он мало что увидел, кроме Розы (и в каком, должно быть, жутком увеличении), которая, схватив суповую миску, едва не выплеснула ему в рот, как из катапульты.

— Глотай, — посоветовала она. — Не думай. Просто глотай. — Когда Мама отдала миску Лизель, та попробовала еще раз заглянуть Максу в лицо, но все загородила спина кормильницы.

— Он очнулся?

Роза обернулась — отвечать было нечего.

Прошла почти неделя, и Макс снова очнулся, на сей раз — в присутствии Папы и Лизель. Оба сидели и смотрели на тело в постели, и тут раздался слабый стон. Если такое бывает, Папа упал вверх со стула.

— Смотри! — ахнула Лизель. — Не отключайся. Макс, не отключайся.
Какой-то миг Макс глядел на нее, но так и не узнал. Глаза изучали ее, будто ребус.
Потом он опять пропал.

— Папа, что это с ним?

Ганс плюхнулся — обратно на стул.

Позже он предложил Лизель почитать Максу.

— Давай, Лизель, ты теперь так хорошо читаешь — наплевать, что никому невдомек, откуда у тебя взялась эта книга.

— Я же говорила тебе, Папа. Одна монахиня в школе дала.

Папа поднял руки в дурашливом протесте.

— Знаю, знаю. — Он вздохнул с высоты. — Только... — Он подбирал слова постепенно. — Не попадись. — Это говорил человек, который украл еврея.

Начиная с того дня Лизель вслух читала «Свистуна» Максу, который занимал ее кровать. Огорчало ее одно — приходилось пропускать целые главы из-за того, что многие страницы слиплись. Книга не просохла как следует. И все же Лизель продвигалась — и дошла до места, откуда до конца оставалось чуть больше четверти книги. Всего в книге было 396 страниц.

А во внешнем мире Лизель каждый день мчалась из школы домой, надеясь, что Максу стало лучше.

— Он очнулся? Он поел?

— Иди на улицу, — умоляла ее Мама. — Ты мне дырку в животе проешь своими разговорами. Иди. Ступай на улицу, поиграй в футбол, ради бога.

— Хорошо, Мама. — Лизель потянулась к дверной ручке. — Но ты же придешь за мной, если он очнется, да? Выдумай что-нибудь. Заори, как будто я что-то натворила. Заругайся на меня. Все поверят, не бойся.

Тут даже Розе пришлось улыбнуться. Он уперла костяшки в бока и заметила, что Лизель еще не настолько взрослая, чтобы говорить такое и не получить «варчен».

— И забей гол! — пригрозила Мама. — Иначе домой можешь не возвращаться.

— Ладно, Мама.

— Два гола, свинюха!

— Да, Мама.

— И прекрати мне перечить!

Лизель поразмыслила и выскочила на улицу — схватиться с Руди на скользкой от грязи дороге.

— Самое время, жопоческа, — по обыкновению приветствовал ее Руди, пока они боролись за мяч. — Где была?

Через полчаса, когда мяч расплющился под колесом редкой на Химмель-штрассе машины, Лизель нашла свой первый подарок для Макса Ванденбурга. Когда мяч признали безнадежно испорченным, дети недовольно разбрелись по домам, оставив его издыхать на холодных волдырях дороги. Лизель с Руди остались над шкурой. На боку, словно рот, зияла дыра.

— Хочешь взять? — спросила Лизель.

Руди пожал плечами.

— На что мне в говно раздавленный мячик? Воздух в него теперь нипочем не накачаешь, так ведь?

— Берешь или нет?

— Нет, спасибо. — Руди небрежно потыкал мяч ногой, будто это было мертвое животное. Или животное, которое *могло* быть мертвым.

Руди пошел домой, а Лизель подобрала мяч и сунула его под мышку. И тут услышала, как Руди ее окликнул.

— Эй, свиноуха. — Лизель выжидала. — *Свиноуха!*

Она сдалась.

— Ну чего?

— У меня еще есть велик без колес, если хочешь.

— Засунь его себе...

Последнее, что она услышала, не сходя с места на улице, был смех этого свиноуха Руди Штайнера.

Дома Лизель сразу направилась к себе в спальню. Положила мяч в изножье Максовой кровати.

— Извини, — сказала она, — это не бог весть что. Но когда ты очнешься, я тебе все про него расскажу. Расскажу, что это был самый серый день, какой только можно представить, и машина с выключенными фарами проехала прямо по мячу. Потом из нее вышел мужик и наорал на нас. А *потом* спросил у нас дорогу. Вот наглость, а?

Ей хотелось завопить: «Очнись!»

Или встряхнуть его.

Ничего она не сделала.

Оставалось одно — глядеть на мяч, на его потоптанную шелушащуюся шкуру. Это был первый подарок из многих.

*** * * ПОДАРКИ № 2–5 * * ***

Одна лента, одна сосновая шишка.

Одна пуговица, один камень.

Тот футбольный мяч подал ей идею.

Теперь всякий раз по дороге в школу и из нее Лизель высматривала выброшенные вещи, которые могли бы оказаться ценными для умирающего. Сначала она удивлялась, отчего это так важно. Как столь очевидно бесполезное может кого-нибудь утешить? Ленточка в сточной канаве. Сосновая шишка на дороге. Пуговица, нечаянно подкатившаяся к стене школьного класса. Плоский круглый камень с берега реки. Во всяком случае, они показывали, что ей не все равно, и, наверное, дадут им тему для беседы, когда Макс очнется.

Оставаясь одна, она репетировала такие беседы.

«Так что это там такое? — сказал бы Макс. — Что за хлам?»

«Хлам? — Она представляла, что сидит на краю кровати. — Это не хлам, Макс. Это от них ты пришел в себя».

*** * * ПОДАРКИ № 6–9 * * ***

Одно перо, две газеты.

Фантик от конфеты. Облако.

Перо было красивое и застряло в дверных петлях церкви на Мюнхен-штрассе. Оно криво торчало там, и Лизель сразу бросилась его спасать. Волокна слева были ровно причесаны, зато правую половину составляли изящные края и дольки зазубренных треугольников. Описать другими словами никак не выходило.

Газеты были извлечены из холодных глубин урны (добавить нечего), а фантик был выцветший и плоский. Лизель нашла его около школы и подняла к небу посмотреть на свет. На фантике обнаружился коллаж из отпечатавшихся подошв.

Наконец, облако.

Как можно подарить человеку кусок неба?

В конце февраля Лизель стояла на Мюнхен-штрассе и смотрела, как над холмами плывет гигантское одинокое облако, словно белое чудовище. Оно карабкалось по горам. Солнце затмилось, и вместо него на город взирало белое чудовище с серым сердцем.

— Посмотри-ка туда, — сказала она Папе.

Ганс склонил голову и объявил то, что показалось ему очевидным.

— Тебе надо подарить его Максу, Лизель. Наверное, можно положить его на тумбочку, как другие подарки.

Лизель поглядела на Папу, будто он сошел с ума.

— Ага, а как?

Папа тихонько пристукнул ее по макушке костяшками пальцев.

— Запомни. А потом опиши ему.

— ...Оно было как большой белый зверь, — рассказывала она в своем следующем карауле у постели, — и вылезло из-за гор.

Когда наконец после нескольких разных поправок и дополнений фраза сложилась, Лизель поняла, что добилась, чего хотела. Она представила, как видение переходит из ее рук в руки Макса, сквозь одеяла, и после записала свои слова на клочке бумаги и прижала его речным камнем.

*** * * ПОДАРКИ № 10–13 * * ***

Один оловянный солдатик.

Один чудесный листик.

Законченный «Свистун».

Пласт горя.

Солдатик был затоптан в грязь возле дома Томми Мюллера. Оцарапанный и побитый, что для Лизель уже было достаточной причиной. Даже раненный, он еще мог стоять.

Лист был кленовый, его Лизель нашла в школьном чулане между метлами, ведрами и швабрами. Дверь в чулан была чуть приоткрыта. Листик был сухой и твердый, как поджаренный хлеб, и по всей его коже тянулись холмы и долины. Неведомо как этот лист попал в школьный коридор и в тот чулан. Половинка звезды на стебле. Лизель подобрала его и повертела в пальцах.

В отличие от остальных подарков этот лист она не стала класть на тумбочку. Она прицепила его булавкой к задернутой шторе перед тем, как начать последние тридцать четыре страницы «Свистуна».

В тот день она не ужинала, не ходила в туалет. Не пила. Целый день в школе она обещала себе, что сегодня закончит книгу и Макс Ванденбург будет ее слушать. Он очнется.

Папа сидел в углу на полу — как обычно, безработный. К счастью, он скоро уходил с аккордеоном в «Кноллер». Уперев подбородок в колени, он слушал, как читает девочка, которую он так старался научить азбуке. Гордый чтец, Лизель выстроила перед Максом Ванденбургом последние пугающие слова книги.

*** * * ПОСЛЕДНИЕ ОСТАТКИ «СВИСТУНА» * * ***

...В то утро венский воздух за стеклами вагона был туманен, люди ехали, очевидно, на работу, и убийца насвистывал свою веселую мелодию. Он купил билет. Учтиво поздоровался с другими пассажирами и кондуктором. Он даже уступил место пожилой даме и вежливо поддержал разговор с игроком, который говорил об американских лошадях. В конце концов, Свистун любил поговорить. Он разговаривал с людьми и тирался к ним в доверие, обманом добивался расположения к себе. Он говорил с ними и когда убивал их, истязал, проворачивал нож. Только если поговорить было не с кем, он принимался свистеть — именно поэтому он насвистывал после убийства...

— Так вы думаете, всех обскачет номер седьмой, верно?

— Разумеется. — Игрок ухмыльнулся. Доверие уже завоевано. — Он подкрадется сзади и прикончит их всех до одного! — Он перекрикивал стук колес.

— Как скажете. — Свистун ухмыльнулся и принялся размышлять, скоро ли найдут

новенький «БМВ» с телом инспектора.

— Езус, Мария и Йозеф. — Ганс не мог удержаться от недоверия. — И такое тебе дала монахиня? — Он поднялся и пошел прочь из комнаты, поцеловав Лизель в лоб. — Пока, Лизель, меня ждет «Кноллер».

— Пока, Папа.

— Лизель!

Девочка не отозвалась.

— Иди поешь!

На это она ответила.

— Иду, Мама. — На самом деле она сказала эти слова для Макса, подходя и кладя дочитанную книгу на тумбочку, к остальным подаркам. Зависнув над ним, она не удержалась. — Ну же, Макс, — прошептала она, и даже шаги Мама за спиной не помешали ей бесшумно заплакать. И не помешали снять с ресниц глыбу соленой воды и оросить ею лицо Макса Ванденбурга.

Мама обняла Лизель.

Мамины руки проглотили ее.

— Я понимаю, — сказала Роза.

Она понимала.

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ, СТАРЫЙ КОШМАР И ЧТО ДЕЛАТЬ С ЕВРЕЙСКИМ ТРУПОМ

Они сидели на берегу Ампера, и Лизель сказала Руди, что подумывает завладеть еще одной книгой из бургомистерского дома. Вместо «Свистуна» она несколько раз читала Максу «Зависшего человека». Хватало лишь на пару минут. Еще она пробовала «Пожатие плеч» и даже «Наставление могильщику», но все это было не то. Хорошо бы добыть что-нибудь новое, думала Лизель.

— Ты хоть последнюю-то прочла?

— Ясное дело.

Руди швырнул в реку камень.

— Интересно хоть?

— Ясное дело.

— «Ясное дело, ясное дело». — Руди попытался выворотить новый камень, но порезал палец.

— Так тебе и надо.

— Свинюха.

Если человек заканчивает разговор словом «свинюха», «свинух» или «засранец», это значит, что ты его уделал.

Для кражи условия были идеальные. Стоял мрачный день начала марта, температура чуть выше нуля — это куда более неуютно, чем минус десять. На улицах почти никого. И дождь — как серая карандашная стружка.

— Так мы идем?

— На великах, — сказал Руди. — Ты возьми какой-нибудь из наших.

* * *

В этот раз Руди значительно сильнее хотел лезть в окно сам.

— Сегодня моя очередь, — сказал он, пока они ехали, примерзая пальцами к рулям.

Лизель соображала быстро.

— Знаешь, Руди, наверное, лучше тебе не лазить. Там все заставлено всякими вещами.

И темно. Балбес вроде тебя обязательно споткнется или во что-нибудь врежется.

— Премного благодарен. — В таком настроении Руди трудно было удержаться.

— И еще там надо прыгивать. Выше, чем ты думаешь.

— Ты что, хочешь сказать, что я, по-твоему, не сумею?

Лизель встала на педалях.

— Вовсе нет.

Переехали мост, и дорога завилась по холму, на Гранде-штрассе. Окно было открыто.

Как в прошлый раз, они оглядели дом. В освещенном окне первого этажа, где была, видимо, кухня, что-то можно было разглядеть. Там двигалась туда-сюда какая-то тень.

— Проедем несколько кругов вокруг квартала, — сказал Руди. — Хорошо, что взяли велики, а?

— Главное, не забудь свой.

— Очень смешно, свинюха. Велик-то чуть побольше твоих вонючих ботинок.

Они катались уже с четверть часа, а жена бургомистра все еще была внизу, слишком близко к библиотеке. Как она смеет так бдительно торчать на кухне! Для Руди кухня, несомненно, и была главной целью. Он пролез бы туда, набрал столько еды, сколько сможет унести, и лишь потом, если у него останется свободная секунда (только если останется), он бы на пути к выходу сунул в штаны какую-нибудь книгу. Все равно какую.

Однако у Руди был недостаток — нетерпение.

— Уже поздно, — сказал он, и стал поворачивать прочь. — Ты едешь?

Лизель не поехала.

Тут и думать не о чем. Она не для того тряслась всю дорогу в гору на этом ржавом велике, чтобы теперь уйти без книги. Лизель сунула велик рулем в сточную канаву, огляделась, не видать ли соседей, и двинулась к окну. На хорошей скорости, но без суеты. В этот раз она сняла ботинки без рук, наступая на задники.

Пальцы ухватились покрепче за дерево, и она проскользнула в дом.

Теперь, пусть лишь самую малость, но Лизель было спокойнее. В какие-то несколько секунд она обошла комнату, выискивая заглавие, которое ее бы не отпустило. Три или четыре раза уже почти протянула руку. И даже раздумывала, не взять ли несколько книг, но и в этот раз решила не нарушать сложившуюся систему. Сейчас ей была необходима только одна книга. Лизель вглядывалась в полки и ждала.

Свежая темнота влезла через окно за ее спиной. В воздухе околачивался запах пыли и воровства, и тут Лизель увидела.

Красная книга с черными буквами по корешку. «Der Traumträger». «Почтальон снов». Лизель подумала о Максе Ванденбурге и его снах. О муках совести. О спасении. О брошенных родных. О боксе с Гитлером. А еще подумала о своих снах — о брате, умиравшем в поезде и явившемся на крыльце вот тут, за углом от этой самой комнаты. Книжная воришка посмотрела на окровавленное колено мальчика — она спихнула его со ступеней собственной рукой.

Лизель вытянула книгу с полки, сунула ее под мышку, влезла на подоконник и выпрыгнула наружу — все в одно движение.

Ее ботинки Руди держал в руках. И велосипед наготове. Едва Лизель обулась, они покатали прочь.

— Езус, Мария и Йозеф, Мемингер! — Прежде Руди никогда не звал ее по фамилии. — Ты полный псих. Ты это понимаешь?

Лизель, очумело давя на педали, согласилась.

— Понимаю.

На мосту Руди подытожил их вечерние приключения:

— Эти люди или полные безумцы, — сказал он, — или просто любят подышать свежим воздухом.

*** * * НЕБОЛЬШАЯ ПОДСКАЗКА * * ***

Или, может, на Гранде-штрассе просто была одна женщина, у которой теперь появилась другая причина держать окно библиотеки открытым — впрочем, это во мне говорит цинизм; или надежда. Или то и другое вместе.

Лизель сунула «Почтальона снов» за пазуху и начала его читать в ту же минуту, едва оказалась дома. Сев на деревянный стул у своей кровати, она раскрыла книгу и прошептала:

— Макс, это новая книга. Специально для тебя. — Она стала читать: — «Глава первая: Вполне уместно, что, когда на свет появился почтальон снов, весь город спал...»

Каждый день Лизель читала по две главы из новой книги. Одну утром перед школой, другую — сразу же после возвращения. Иную ночь, когда не могла уснуть, она прочитывала еще полглавы. Иногда она так и засыпала, завалившись со стула на край кровати.

Это стало ее миссией.

Она кормила Макса «Почтальоном снов», как будто он мог питаться словами. Во вторник ей показалось, что Макс шевельнулся. Она поклялась бы, что глаза его открылись. Но если он их и открыл, то лишь на миг, и скорее, это сыграло воображение Лизель, принявшей желаемое за действительное.

К середине марта появились первые трещины.

Однажды днем на кухне Роза Хуберман — подходящий человек для острых ситуаций — едва не сорвалась. Она повысила голос, но тут же поспешила сбросить его. Лизель оторвалась от книги и тихонько вышла в коридор. Подойдя, насколько смогла, она все равно едва слышала Мамины слова. А когда расслышала, тут же пожалела, потому что это были страшные слова. Это была реальность.

*** * * СОДЕРЖАНИЕ МАМИНОГО ГОЛОСА * * ***

— Что, если он не очнется?

Что, если он здесь умрет, Ганси?

Скажи. Господи, что мы будем делать с телом? Мы не можем оставить его здесь — мы задохнемся от вони... и не можем вынести его вон и потащить по улице. И всем говорить:

«Нипочем не угадаете, что мы нашли сегодня утром у себя в подвале...»

Нас увезут навсегда.

Она была совершенно права.

Еврейский труп — большая неприятность. Хуберманы должны были выходить Макса Ванденбурга не просто ради него, но и ради самих себя. Напряжение сказывалось даже на Папе, который всегда был образцом спокойствия.

— Послушай. — Голос у него был тих, но тяжел. — Если это случится — если он умрет, — нам просто придется что-то придумать. — Лизель поклялась бы, что слышала, как он сглотнул. Будто его ударили в горло. — Моя тележка, пара холстин...

Лизель вошла на кухню.

— Не сейчас, Лизель.

Это сказал Папа, хоть и не посмотрел на девочку. Он рассматривал собственное искаженное лицо в перевернутой ложке. Локтями зарылся в стол.

Книжная воришка не уходила. Сделав еще несколько шагов, девочка села. Зябкими пальцами нащупывала края рукавов, а с губ ее слетела фраза:

— Он еще не умер. — Слова упали на стол и расположились посередине. Все трое смотрели на них. Полунадежды не смели подняться выше. Он еще не умер. Он еще не умер. Первой заговорила Роза.

— Кто хочет есть?

Ужин, пожалуй, оставался единственным временем, которому не повредила болезнь Макса. Они о ней не забывали, сидя втроем за кухонным столом над добавками хлеба, супа или картошки. Каждый о ней думал, но все молчали.

Всего через несколько часов Лизель проснулась среди ночи, удивляясь, отчего у нее так зашло сердце. (Это выражение она узнала из «Почтальона снов», который по своей сути оказался полной противоположностью «Свистуну», — это была книга о брошенном ребенке, который хотел стать священником.)

Лизель села и стала жадно глотать ночной воздух.

— Лизель? — Папа перевернулся на бок. — Что такое?

— Ничего, Папа, все хорошо. — Но в тот миг, когда она закончила фразу, Лизель снова увидела все, что сейчас произошло с ней во сне.

*** * * ОДИН МАЛЕНЬКИЙ ОБРАЗ * * ***

В основном — все так же.

Поезд идет с той же скоростью.

Заходится в кашле брат.

Но в этот раз Лизель не видно его лица, обращенного в пол.

Медленно она к нему склоняется. Рукой осторожно поднимает, взяв за подбородок, и тут перед нею оказывается лицо Макса Ванденбурга с широко распахнутыми глазами.

Он смотрит на нее. На пол падает перо.

Тело теперь больше, пропорционально голове.

Поезд скрежещет.

— Лизель?

— Я же говорю, все хорошо.

Дрожа, она слезла с матраса. Поглупев от испуга, прошла по коридору к Максусу. Проведя немало минут у него под боком, когда все замедлилось, она попробовала истолковать сон. Было ли это предзнаменование Максовой смерти? Или просто реакция на дневной разговор на кухне? Может, Макс теперь заменил ей брата? Если так, то можно ли столь небрежно отбросить собственную плоть и кровь? А может, это было даже глубоко затаенное желание Максовой смерти. В конце концов, если такую участь заслужил ее брат Вернер, то и этот еврей вполне заслуживает.

— Неужели ты так думаешь? — прошептала Лизель, стоя над кроватью. — Нет. — Этому она поверить не могла. Ее ответ подтвердился, когда онемелость тьмы пошла на убыль, и на тумбочке проступили очертания разнообразных предметов, больших и маленьких. Подарки.

— Очнись, — сказала она.

Макс не очнулся.

Еще восемь дней.

На уроке раздался стук костяшек в дерево.

— Войдите, — крикнула фрау Олендрих.

Открылась дверь, и весь класс удивленно посмотрел на Розу Хуберман, замершую на пороге. Один-два ученика ахнули при таком зрелище — женщина в виде небольшого комода с помадной ухмылкой и едкими, как хлорка, глазами. Это. Была легенда. Роза пришла в своей лучшей одежде, но волосы у нее растрепались — и *впрямь* полотенце седых резиновых прядей.

Учительница явно оробела.

— Фрау Хуберман... — Ее движения толкались друг с другом. Она обежала глазами класс. — Лизель?

Лизель посмотрела на Руди, встала и торопливо пошла к дверям, чтобы скорее

покончить с неловкостью. Дверь захлопнулась у нее за спиной, и вот они с Розой в коридоре, одни.

Роза смотрела в сторону.

— Что, Мама?

Та обернулась.

— Не штокай мне, свинюха малолетняя! — Скорость этих слов пропорола Лизель насквозь. — Моя гребенка! — Струйка смеха выкатилась из-под двери, но тут же втянулась обратно.

— Мама?

Лицо Розы было сурово, но улыбалось.

— Куда ты затолкала мою гребенку, глупая свинюха, воровка малолетняя? Сто раз говорила не трогать мою расческу, а тебе хоть кол на голове теши!

Розина тирада продолжалась еще, наверное, с минуту, и Лизель успела сделать пару отчаянных предположений о возможном местопребывании названной гребенки. Поток слов оборвался внезапно — Роза притянула Лизель к себе, на пару секунд буквально. Даже в такой близости ее шепот было почти невозможно расслышать.

— Ты просила наорать. Ты сказала, все поверят. — Роза оглянулась по сторонам, а ее голос был как нитка с иголкой. — Он очнулся, Лизель. Он в сознании. — Она вынула из кармана солдатика в ободранном мундире. — Просил отнести тебе. Он ему больше всех понравился. — Роза отдала девочке солдатика, крепко взяла ее за плечи и улыбнулась. Прежде чем Лизель успела что-то сказать, Роза поставила жирную точку. — Ну? Отвечай! Больше ты нигде ее не могла забыть?

Он жив, думала Лизель.

— ...Нет, Мама. Прости, Мама, я...

— Ну что с тебя толку? — Роза выпустила ее, кивнула и пошла прочь.

Еще несколько секунд Лизель постояла. Коридор был огромным. Она посмотрела на солдатика в ладони. Инстинкт подталкивал ее бежать домой прямо сейчас, но благоразумие не позволяло. Вместо этого она сунула покореженного солдатика в карман и вернулась в класс.

Все ждали.

— Глупая корова, — прошептала Лизель себе под нос.

Дети опять засмеялись. Фрау Олендрих не стала.

— Что такое?

Лизель была в такой вышине, что чувствовала себя неуязвимой.

— Я сказала, — с широкой улыбкой пояснила она, — глупая корова. — И в ту же секунду на ее щеке зазвенела ладонь фрау Олендрих.

— Не смей так говорить о матери, — сказала учительница, но подействовало слабо. Девочка только стояла и пыталась удержаться от улыбки. В конце концов, она не хуже любого тут умеет получать «варчен». — Иди на место.

— Да, фрау Олендрих.

Руди, сидевший рядом, осмелился заговорить.

— Езус, Мария и Йозеф, — зашептал он, — у тебя на щеке вся ее рука. Большая красная рука. Пять пальцев!

— Отлично, — сказала Лизель, потому что Макс был живой.

Когда она пришла домой, Макс сидел в кровати со сдутым мячом на коленях. От бороды у него чесалось лицо, и стоило большого труда держать заболоченные глаза открытыми. Рядом с подарками стояла пустая миска из-под супа.

Они не сказали друг другу «Привет».

Скорее, столкнулись зазубренными краями.

Скрипнула дверь, девочка вошла и встала перед больным, глядя на миску.

— Мама влила его тебе в горло силком?

Он кивнул, довольный, утомленный.

— Но он был очень вкусный.

— Мамин суп? Правда?

Улыбки у него не вышло.

— Спасибо за подарки. — Скорее — едва заметный разрыв губ. — Спасибо за облако.
Твой Папа мне объяснил про него.

Через час Лизель тоже попробовала кое в чем признаться.

— Мы не знали, что нам делать, если ты умрешь, Макс. Мы...

Много времени у него это не заняло.

— То есть как от меня избавиться?

— Прости.

— Нет. — Он не обиделся. — Вы правы. — Он вяло поиграл со сдутым мячом. — Вы правильно делали, что думали об этом. В вашем положении мертвый еврей так же опасен, как и живой, а может, и хуже.

— И еще мне снился сон. — Сжимая в руке солдатика, Лизель подробно описала свой сон. Она собиралась еще раз просить прощения, но Макс перебил:

— Лизель. — Он дождался, когда она посмотрит на него. — Никогда не проси у меня прощения. Это я должен просить его у тебя. — Он окинул взглядом все, что она ему принесла. — Посмотри на них. Какие подарки. — Он взял в руку пуговицу. — А Роза сказала, что ты читала мне каждый день по два раза, а иногда и по три. — Теперь он смотрел на шторы, как будто видел сквозь них. Сел чуть повыше и промолчал с десятков безмолвных фраз. На его лице прокралась тревога, и он тоже признался девочке кое в чем. — Лизель? — Он чуть подался вправо. — Я боюсь, — сказал он, — что снова засыпаю.

Лизель твердо ответила:

— Тогда я тебе почитаю. А начнешь дремать, я буду шлепать тебя по щекам. Брошу книжку и буду тебя трясти, пока не проснешься.

Весь остаток дня и добрую часть вечера Лизель читала Макс. Он сидел в постели и впитывал ее слова, уже в сознании, до десяти часов с минутами. Во время короткой передышки Лизель подняла глаза от книги и увидела, что Макс спит. Встревожившись, она толкнула его книгой. Он проснулся.

Макс засыпал еще три раза. Дважды она его разбудила.

Следующие четыре дня он каждое утро просыпался в ее постели, потом — у камина, и наконец, в середине апреля — в подвале. Он окреп, избавился от бороды, вернулись огрызки веса.

Во внутреннем мире Лизель то было время великого облегчения. А во внешнем мире многое пошатнулось. В конце марта засыпали бомбами город под названием Любек. Следующим в очереди будет Кёльн, и вскоре дойдет до многих других немецких городов, включая Мюнхен.

Да, начальник стоял у меня за плечом.

«Сделай, сделай...»

Бомбы летели — и с ними я.

ДНЕВНИК СМЕРТИ: КЁЛЬН

Падшие часы 30 мая.

Не сомневаюсь, Лизель Мемингер крепко спала, когда больше тысячи самолетов пролетели к городу, известному под именем Кёльн. В итоге мне достались пятьсот человек или около того. Еще пятьдесят тысяч неприкаянно совались между призрачными грудями щебня, пытаюсь понять, где какая сторона и где чьи обломки.

Пятьсот душ.

Я зацеплял их пальцами, будто чемоданы. Или закидывал за спину. На руках я выносил

только детей.

К тому времени, как я закончил, небо было рыжее, как подожженная газета. Если приглядеться, можно было прочесть слова, заголовки реляций, описывающих положение на фронтах, и так далее. Как бы мне хотелось сорвать это все, скомкать газетное небо и отбросить прочь. Руки у меня ныли, и мне было нельзя riskовать и обжигать себе пальцы. Впереди еще столько работы.

Как и ожидалось, многие умерли мгновенно. Другие протянули чуть дольше. Мне нужно было посетить еще несколько мест, повидать разные небеса и собрать еще душ, и когда я позже вернулся в Кёльн — вскоре после того, как прошли последние самолеты, — мне случилось увидеть кое-что совершенно небывалое.

Я нес обуглившуюся душу девочки-подростка и поднял мрачный взгляд наверх, где небо теперь было сернистым. Рядом — группа девочек лет десяти. Одна крикнула:

— Что это там?

Вытянула руку и показала пальцем на черный предмет, медленно валившийся с неба. Сначала он был черным пером, вьющимся, парящим. Или чешуйкой пепла. Потом стал больше. Та же девочка — рыжая, в конопушках, как и положено, — опять подала голос, на сей раз более горячо.

— Да что это там?

— Это мертвец, — предположила другая девчушка. Черные волосы, хвостики, косой пробор посередине.

— Нет, это бомба!

Но для бомбы оно падало слишком медленно.

Юная душа еще немного тлела у меня на руках, а я прошел следом за ними еще несколько сот метров. Как и девочки, я не сводил глаз с неба. Меньше всего мне хотелось бы смотреть на такое одинокое лицо моей ноши. Красивая девочка. Теперь вся смерть у нее впереди.

Как и девочек, меня застал врасплох метнувшийся к нам голос. Это рассерженный отец загонял детей домой. Рыжая возразила. Точки ее конопушек вытянулись в запятыя.

— Но, папа, — смотри.

Мужчина сделал несколько мелких шагов и скоро определил, что это падает.

— Топливо, — сказал он.

— В каком смысле?

— Топливо, — повторил он. — Топливный бак. — Лысый человек в расчлененной пижаме. — Они сожгли весь керосин из этого бака и избавились от пустой емкости. Смотрите, вон еще один.

— И вон!

Дети есть дети, и через секунду они усердно выискивали в небесах пустые баки, опускавшиеся на землю.

Первый бак приземлился с гулким стуком.

— Папа, можно, мы возьмем его себе?

— Нет. — Разбомбленный и оглушенный, этот папа явно был не в настроении. — Мы не можем его взять.

— Почему?

— Я спрошу своего папу, нельзя ли мне его забрать, — сказала другая девочка.

— И я.

Прямо посреди каменных обломков Кёльна компания ребятшек собирала пустые топливные баки, сброшенные врагом. А я, как всегда, собирал людей. Я устал. Год между тем не дошел еще и до середины.

ПОСЕТИТЕЛЬ

Нашелся новый мяч для уличного футбола на Химмель-штрассе. Это была хорошая новость. Другая была несколько тревожная — к ним двигался патруль НСДАП.

Они обходили весь Молькинг, улицу за улицей, дом за домом, и теперь стояли у лавки фрау Диллер, наскоро перекуривая и готовясь продолжить свои дела.

В Молькинге уже имелась кучка бомбоубежищ, но вскоре после бомбардировки Кёльна решили, что еще несколько городу не повредит. И вот НСДАП проверяла каждый дом и подвал в Молькинге, выясняя, может ли он стать кандидатом в убежища.

Издалека за инспекцией наблюдали дети.

Они видели, как над стайкой партийцев вился дымок.

Лизель только что вышла и сразу направилась к Руди и Томми. Харальд Молленхауэр побежал за улетевшим мячом.

— Что тут такое творится?

Руди сунул руки в карманы.

— Партия. — Он смотрел, как его дружок выковыривает мяч из палисадника фрау Хольцапфель. — Проверяют все дома и кварталы.

Моментальная сухость охватила рот Лизель изнутри.

— Зачем?

— Ты что, вообще ничего не знаешь? Расскажи ей, Томми.

Томми растерялся:

— Ну, я не знаю.

— Вы оба безнадежные. Нужно больше бомбоубежищ.

— Что — подвалы?

— Нет, чердаки. Конечно подвалы. Боже, Лизель, ты и впрямь тупица, а?

Мяч вернулся в игру.

— Руди!

Руди повел мяч, а Лизель так и стояла столбом. Как вернуться домой, не вызвав подозрений? Дым у магазина фрау Диллер почти растаял, и компания мужчин начала рассеиваться. Знакомым жутким порядком накатила паника. Горло и рот. Воздух стал песком. Думай, думала она. Давай, Лизель, думай, думай.

Руди забил гол.

Далекie голоса поздравляли его.

Думай, Лизель...

И она придумала.

Точно, — сказала она себе. — Только надо все чисто проделать.

Партийцы продвигались по улице, рисуя на некоторых дверях краской буквы LSR, а мяч порхал по воздуху — и прилетел к одному из ребят постарше, Клаусу Беригу.

*** * * LSR * * ***

Luft Schutz Raum:

Бомбоубежище

Парень развернулся с мячом — и в этот миг налетела Лизель, и они столкнулись с такой силой, что игра автоматически остановилась. Мяч покатился в сторону, а все игроки сбежались. Лизель одной рукой держалась за содранное колено, другой — за голову. Клаус Бериг держался за правую голень, морщась и сквернословя.

— Где она? — прошипел он. — Я ее убью!

Убийства не будет.

Хуже.

Добродушный партийный инспектор видел происшествие и исполнително затрусил к

компании.

— Что тут случилось? — спросил он.

— Да она бешеная. — Клаус показал на Лизель, и мужчина помог ей подняться. Табачное дыхание партийца насыпало перед лицом девочки прокопченный песчаный холм.

— Не похоже, что ты вообще сейчас сможешь играть, детка, — сказал он. — Где ты живешь?

— У меня все нормально, — ответила она. — Правда. Я сама могу дойти. — Главное — отвали от меня, отвали!

Тут и вмешался Руди, вечный вмешивальщик.

— Я помогу тебе дойти, — сказал он. Ну почему бы ему для разнообразия не заняться своими делами?

— Правда, — сказала Лизель. — Ты играй, Руди. Я справлюсь.

— Нет, нет. — Его было не свернуть. Вот упрямец! — Это ж минута-две.

Ей снова пришлось думать, и снова у нее получилось. Руди принялся ее поднимать, и она заставила себя упасть еще раз, на спину.

— Папу, — сказала она. Небо, заметила девочка, ослепительно синее. Ни намек на облако. — Можешь привести его, Руди?

— Сиди тут. — Обернувшись направо, он крикнул: — Томми, пригляди за ней, ладно? Не давай ей шевелиться.

Томми резво взялся за дело.

— Я присмотрю, Руди. — Он встал над ней, дергаясь и стараясь не улыбаться, а Лизель не сводила глаз с партийца.

Через минуту над ней спокойно стоял Ганс Хуберман.

— Папа.

На его губах шевелилась огорченная улыбка.

— Я все думал, когда это случится.

Папа поднял Лизель и повел домой. Игра продолжалась, а инспекция была уже в нескольких домах от Хуберманов. И за той дверью им никто не открыл. Руди опять закричал:

— Вам помочь, герр Хуберман?

— Нет, нет, играйте, герр Штайнер. — «Герр Штайнер». Папу Лизель невозможно было не любить.

Едва зашли домой, Лизель все выложила. Попыталась найти тропу между молчанием и отчаянием.

— Папа.

— Не разговаривай.

— Партия, — прошептала она. Папа остановился. Оборол желание распахнуть дверь и выглянуть на улицу. — Они проверяют подвалы, где сделать убежища.

Папа усадил ее.

— Умница, — сказал он и тут же крикнул Розу.

У них была минута, чтобы придумать план. Чехарда мыслей.

— Давайте его в комнату Лизель, — предложила Мама. — Под кровать.

— Ты что? А если они и комнаты решат осмотреть?

— У тебя есть другой план?

Поправка: у них не было минуты.

В дверь дома 33 по Химмель-штрассе раздались семь drobных ударов, и было уже поздно кого-то куда-то переводить.

Голос.

— Откройте!

Удары их сердец насакивали друг на друга, сменяя ритм. Свое Лизель попыталась съесть. Вкус сердца во рту не очень-то бодрит.

Роза прошептала:

— Езус, Мария...

В тот день на высоте оказался Папа. Он бросился к подвальной двери и кинул с лестницы предостережение. Вернувшись, заговорил быстро и без пауз.

— Значит, так, на фокусы времени нет. Можно отвлекать их сотней способов, но сейчас осталось только одно. — Он повел глазами на дверь и закончил: — Не делать ничего.

Не этого ждала от него Роза. Ее глаза расширились.

— Ничего? Ты что, *спятил*?

Стук повторился.

Папа был тверд.

— Ничего. Мы сами даже не будем спускаться — нам абсолютно плевать.

Все чуть не замерло.

Роза смирилась.

Окаменев от напряжения, она покачала головой и пошла открывать дверь.

— Лизель. — Папин голос клинком прошел сквозь девочку. — Главное — спокойно, *verstehst*?

— Да, Папа.

Она постаралась сосредоточиться на своем разбитом колене.

— Ага!

Роза в дверях еще спрашивала о причине такого вторжения, а добряк партиец уже приметил Лизель.

— Бешеная футболистка! — Он усмехнулся. — Как твое колено? — Фашистов обычно представляют не особенно жизнерадостными, но этот мужчина определенно был весельчак. Войдя, он сразу игриво склонился над коленом Лизель, делая вид, что изучает рану.

Неужели он знает? — думала Лизель. Может, он почуял, что мы прячем еврея?

Папа подошел от раковины с влажной тряпичкой и стал промакивать разбитое колено Лизель.

— Жжет? — Его серебряные глаза были внимательны и спокойны. Испуг в них легко можно было принять за беспокойство о ребенке.

Роза крикнула из кухни:

— Жжет, да мало. Может, это ей будет урок.

Партиец выпрямился и рассмеялся:

— Мне кажется, эта девочка там не берет никаких уроков, фрау?..

— Хуберман. — Картон пошел складками.

— ...фрау Хуберман, мне кажется, она их *дает!* — Он выдал Лизель улыбку. — Всем этим мальчишкам. Верно, детка?

Папа задел салфеткой ссадину, и Лизель вместо ответа поморщилась. А заговорил Ганс. Тихо извинился перед девочкой.

Повисла неловкость молчания, и партиец вспомнил, зачем пришел.

— Если не возражаете, — объяснил он, — мне нужно спуститься в ваш подвал на пару минут, чтобы посмотреть, годится ли он для убежища.

Папа еще разок ткнул в раненое колено.

— У тебя и синяк будь здоров, Лизель. — И между делом ответил зависшему над ним партийцу. — Конечно. Первая дверь направо. Извините за беспорядок.

— Пустяки — я сегодня кое-где такое видал, что хуже не будет. Сюда?

— Угу.

*** * * САМЫЕ ДОЛГИЕ ТРИ МИНУТЫ В ИСТОРИИ ХУБЕРМАНОВ * * ***

Папа сидел у стола. Роза, беззвучно шевеля губами, молилась в углу. Лизель вся сварилась: колено, грудь, мышцы рук. Не думаю, чтобы кто-то из них беспокоился, чт#243; они будут делать, если подвал признают годным для убежища.

Сначала надо было пережить инспекцию.

Все прислушивались к шагам фашиста в подвале. Раздавался шорох рулетки. Лизель не могла отогнать мысль о Максе: как он сидит сейчас под лестницей, свернувшись вокруг своей книги рисунков, прижимая ее к груди.

Папа встал. Новая идея.

Он вышел в коридор и крикнул:

— Как вы там, управляетесь?

Ответ поднялся по ступенькам через голову Макса Ванденбурга:

— Еще минутку, и все.

— Хотите чаю или кофе?

— Нет, спасибо!

Вернувшись на кухню, Папа велел Лизель принести книгу, а Розе — заняться обедом. Он решил, что хуже всего — сидеть с озабоченными лицами.

— Давай, Лизель, — сказал он громко. — Поторопись. Болит, не болит — мне дела нет. Тебе надо закончить книгу, ты же собиралась.

Лизель старалась не сорваться.

— Да, Папа.

— Ну так чего ты ждешь? — Лизель видела, что подмигнуть Папе стоило немалых усилий.

В коридоре она едва не столкнулась с партийцем.

— Не поладили с папой, а? Не переживай. Я и сам так же со своими детьми.

Они пошли каждый своей дорогой, и, войдя в комнату, Лизель упала на колени, не замечая лишней боли. Она слушала: сначала заключение, что подвалу не хватает глубины, потом прощания, одно из которых было брошено по коридору:

— До свиданья, бешеная футболистка!

Лизель опомнилась:

— Auf Wiedersehen! До свидания!

«Почтальон снов» плавился в ее руках.

По словам Папы, Роза стекла прямо у плиты в тот же миг, как инспектор оказался за дверью. Они зашли за Лизель и спустились в подвал, отодвинули правильно уложенные холстины и банки с краской. Макс Ванденбург сидел под лестницей, сжимая, как нож, свои ржавые ножницы. Подмышки у него промокли насквозь, а слова упали с губ, как язвы.

— Я не пустил бы их в ход... — тихо сказал он. — Я... — Он плашмя приложил ржавые лезвия ко лбу. — Простите, что вам пришлось это вынести.

Папа закурил. Роза взяла ножницы.

— Ты жив, — сказала она. — Все мы живы.

Извиняться уже давно было поздно.

«ШМУНЦЕЛЛЕР»

Через несколько минут раздался новый стук в дверь.

— Господи помилуй, еще один!

Тревога моментально вернулась.

Макса загородили.

Роза тяжело затопала вверх по лестнице, но когда открыла дверь, там были не фашисты. Там стоял не кто иной, как Руди Штайнер. Желтоволосый и благонамеренный.

— Зашел проведать, как там Лизель.

Услышав голос Руди, Лизель двинулась вверх по лестнице.

— С этим я сама разделаюсь.

— Ее парень, — пояснил Папа банкам с краской. И выпустил очередной клуб дыма.
— Он не *мой* парень, — возразила Лизель, но без досады. Злиться после такого близкого попадания было невозможно. — Я иду лишь потому, что Мама сейчас заорет.
— Лизель!
Девочка была на пятой ступеньке.
— Ну, видел?

У дверей Руди переминался с ноги на ногу.
— Пришел узнать... — Он осекся. — Что это за запах? — Он потянул носом. — Ты что там, курила?
— Ой. Я сидела с Папой.
— А у вас есть курево? А то, может, продали бы.
Но у Лизель было не то настроение. Он сказала тихо, чтобы не услышала Мама.
— Я не краду у своего Папы.
— Но крадешь в других местах.
— Ты не мог бы еще погромче?
Руди пустил «шмунцеля»:
— Смотри, что воровство делает с людьми. Ты ж от каждой тени шарахаешься.
— А ты будто ни разу ничего не украл.
— Ну да, но от тебя-то воровством так и несет. — Руди не на шутку вдохновился. — Может, по правде, это никакое не курево. — Он наклонился к ней и улыбнулся. — Это запах преступницы. Тебе надо вымыться. — Он обернулся и закричал Томми Мюллеру: — Эй, Томми, иди скорей понюхай, что за вонь!
— Что ты сказал? — Томми не подведет. — Я не слышу!
Руди мотнул головой в сторону Лизель.
— Бесполезно.
Она стала затворять дверь.
— Исчезни, свинух, только тебя мне сейчас не хватало.
Весьма довольный собой, Руди спустился на улицу. У калитки он вспомнил, что хотел выяснить все это время. На несколько шагов он вернулся.
— Alles gut, Saumensch? Колено я имею в виду.
Июнь. Германия.
Всё на пороге распада.
Лизель этого не знала. У нее не нашли еврея в подвале. У нее не забрали приемных родителей, и она сама внесла большой вклад в обе эти удачи.
— Все нормально, — ответила она Руди, не имея в виду никаких футбольных ссадин.
У нее все было в порядке.

ДНЕВНИК СМЕРТИ: ПАРИЖАНЕ

Пришло лето.
У книжной воришки все складывалось отлично.
А у меня было небо цвета евреев.

Когда их тела переставали выискивать щели в двери, восставали их души. Ногти царапали дерево и нередко вгонялись в него силой чистого отчаяния, а души устремлялись ко мне, прямо в мои руки, и мы выбирались из тех душевых — на крышу и дальше, в надежный простор вечности. Мне поставляли их без перерыва. Минута за минутой. Душ за душем.

Никогда не забуду первый день в Освенциме, первый приход в Маутхаузен. Там, в Маутхаузене, мне потом не раз приходилось подбирать души у подножья высокого обрыва — когда побег жутко не получался. Изломанные тела и мертвые милые сердца. И все равно

это было лучше газа. Кого-то я ловил еще на середине. Спасены, думал я, подхватывая их души в воздухе, пока оставшаяся часть их существа — телесная оболочка — рушилась на землю. Все были легки, как ореховые скорлупки. Небо в тех местах дымное. Печной запах, но такой холодный.

Я содрогаюсь, когда вспоминаю все это, пытаюсь стереть из памяти.

Дую теплом себе в ладони, чтобы разогреть их.

Но трудно согреть руки, если души еще дрожат.

— Боже.

Думая о них, это имя я произношу всегда.

— Боже.

Говорю это дважды.

Произношу Его имя в тщетных попытках понять.

— Но понимать — это не твоя работа. — Это я сам себе возражаю. Бог никогда ничего не говорит. Думаете, вы один такой, кому он не отвечает? — Твоя работа — это... — И тут я перестаю себя слушать, потому что, сказать прямо, я себя утомляю. Такие мысли меня ужасно выматывают, а предаваться усталости — такой роскоши я лишен. Я обязан продолжать работу, потому что хотя и не для каждого человека на земле, но для подавляющего большинства это верно: смерть никого не ждет, а если и ждет, то обычно не очень долго.

23 июня 1942 года, группа французских евреев в немецкой тюрьме на польской земле. Первый, кого я забрал, был у дверей, его сознание несло, потом перешло на шаг, замедлилось, замедлилось...

Прошу вас, не сомневайтесь, когда я говорю: в тот день каждую душу я принимал, будто новорожденную. Я даже поцеловал нескольких в изможденные отравленные щеки. Я слышал их последние задущенные вопли. Исчезающие слова. Я наблюдал их видения любви и освобождал от страха.

Я унес их всех, и, как никогда, в тот день мне нужно было чем-то отвлечься. В безысходном отчаянии я посмотрел на мир сверху.

Я смотрел, как небо становилось из серебряного серым, потом — цвета дождя. Даже облака старались смотреть в другую сторону.

Иногда я брался представлять, как все выглядит над облаками, без вопросов зная, что солнце светловолосо, а бескрайняя атмосфера — гигантский синий глаз.

Они были французы, они были евреи, они были вы.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ «ПОЛНЫЙ СЛОВАРЬ И ТЕЗАУРУС ДУДЕНА» с участием:

шампанского и аккордеонов — трилогии — немногих сирен — похитителя неба — делового предложения — долгой прогулки в дахау — покоя — идиота и нескольких мужчин в плащах

ШАМПАНСКОЕ И АККОРДЕОНЫ

Летом 1942 года город Молькинг готовился к неизбежному. Были еще такие, кто не верил, что маленькое предместье Мюнхена может быть мишенью, но большинство населения отлично понимало, что это вопрос не «если», но «когда». По ночам начали затемнять окна, четко пометили все убежища, и каждый знал, где находится ближайший подвал или погреб.

Для Ганса Хубермана, однако, тревожные перемены обернулись кое-каким подспорьем. В несчастливые времена удача как-то улыбнулась его малярному ремеслу. Владельцы жалюзи отчаянно хотели прибегнуть к услугам Ганса. Трудность была в том, что черная краска обычно используется лишь как добавка, чтобы затемнить другие краски, так что она вскоре закончилась, и найти ее было нелегко. Но Ганс был хороший мастеровой, а у хорошего мастерового много приемов. Он брал угольную пыль и мешал ее в краску, а кроме того, не заламывал цену. Он конфисковал из глаз неприятеля свет окон многих домов в разных частях Молькинга.

Иногда он брал с собой на работу Лизель.

Они катили Гансовы краски через город, чуя голод на иных улицах и качая головами от богатства других. Много раз по дороге с работы их останавливали женщины, у которых не было ничего, кроме детей и нищеты, и умоляли Ганса покрасить им жалюзи.

— Извините, фрау Галлах, у меня не осталось черной краски, — отвечал он, но где-нибудь на следующей улице непременно сдавался. Высокий человек, длинная улица. — Завтра, — обещал он, — первым делом. — И едва занималось утро, он уже был там, красил жалюзи задаром или за чашку теплого чая с печенюшкой. Вечером накануне он изобретал новый способ превратить в черный синюю, зеленую или бежевую краску. И никогда не советовал хозяевам завешивать окна ненужными одеялами — знал, что они станут нужными, когда придет зима. Известно было, что Ганс красил людям жалюзи даже за половину сигареты — выкуренной на двоих с хозяином на крыльце. Дым и смех вились вокруг их беседы, а после Ганс вставал и шел дальше, к следующему заказчику.

Я четко помню, что сказала Лизель Мемингер о том лете, когда пришло ее время писать. За десятилетия многие слова выцвели. Бумага мучительно истерлась в моем кармане от движения, но многие фразы все равно невозможно забыть.

*** * * МАЛЕНЬКИЙ ОБРАЗЕЦ НАПИСАННЫХ ДЕВОЧКОЙ СЛОВ * * ***

То лето было новым началом и новым концом.

Оглядываясь в прошлое, я вижу свои скользкие от краски руки и слышу Папины шаги по Мюнхен-штрассе и знаю, что маленький кусочек лета 1942 года принадлежит только одному человеку. Кто еще мог взять за покраску цену в полсигареты? Только Папа, это было в его духе, и я любила его.

Всякий день, когда они работали вдвоем, Папа рассказывал девочке истории. О Великой войне, о том, как его убогий почерк помог ему выжить, о том дне, когда он познакомился с Мамой. Он сказал, что в свое время Мама была красавица, и кроме того, разговаривала очень спокойно.

— Трудно поверить, я понимаю, но это чистая правда. — Каждый день была своя история, и Лизель прощала Папу, если какую-то он рассказывал не один раз.

Иной раз, бывало, если Лизель замечается, Папа легонько клевал ее кистью точно между глаз. Если, не рассчитав, он оставлял на кисти слишком много краски, она текла дорожкой сбоку по носу Лизель. Девочка смеялась и пыталась отплатить тем же, но подстеречь Ганса Хубермана за работой было нелегко. Именно здесь он больше всего оживал.

Если они делали перерыв, чтобы поесть или попить, Папа обязательно играл на аккордеоне, и именно это запомнилось Лизель лучше всего. Выходя утром на работу, Папа толкал или тянул свою тележку, а Лизель всегда несла аккордеон.

— Лучше нам оставить дома краску, — говорил ей Ганс, — чем забыть музыку. — Когда садились перекусить, Ганс резал хлеб и размазывал по нему остатки джема, полученного по карточке. А не то клал на кусок тонкий ломтик мяса. Они ели вместе, сидя на банках с краской, и, еще дожевывая последние куски, Папа уже вытирал пальцы и тянулся расстегнуть футляр аккордеона.

В складках его руби лежали дорожки хлебных крох. Испятнанные краской пальцы гуляли по кнопкам и перебирали клавиши или замирали, удерживая ноту. Руки качали мехи, давая инструменту воздух, нужный для дыхания.

Каждый день Лизель сидела, зажав ладони между колен, в лучах длинноногого солнца. Всякий раз ей не хотелось, чтобы день кончался, и всякий раз грустно было видеть, как большими шагами надвигается темнота.

Что до самой работы, то, пожалуй, увлекательнее всего для Лизель было смешивать колер. Как и большинство людей, она думала, что Папа просто идет с тележкой в магазин красок или скобяную лавку, просит нужные цвета — и все. Она не догадывалась, что краски по большей части — это комья или кирпичи. Их надо раскатывать пустой бутылкой из-под шампанского. (Бутылки от шампанского, объяснил Ганс, подходят идеально, потому что их стекло потолще, чем у обычных винных бутылок.) Потом добавляют воду, белила и клей — и это не говоря о трудностях вымешивания нужных цветов.

Наука Папиного ремесла внушала Лизель еще больше уважения к нему. Делить с ним хлеб и музыку было здорово, но Лизель приятно было узнать, что Папа более чем искусен в своем деле. Умение подкупает.

Однажды, через несколько дней после Папиной лекции о смешивании колера, они работали в одном из благополучных домов к востоку от Мюнхен-штрассе. Время шло к обеду, когда Папа кликнул Лизель в дом. Им пора было идти на следующий заказ, а голос Папы звучал необычайно густо.

Лизель вошла, и ее отвели на кухню — там две пожилые дамы и господин сидели на изящных и очень культурных стульях. Дамы были хорошо одеты. У мужчины были седые волосы и бакенбарды вроде щеток. На столе стояли высокие стаканы. Наполненные потрескивающей жидкостью.

— Ну, — сказал господин, — прошу.

Он взял стакан, и за ним потянулись остальные.

День стоял теплый. Лизель немного насторожил холод ее стакана. Она повернулась к Папе за одобрением. Он улыбнулся и сказал:

— Prost, Mädel. Твое здоровье, девочка. — Стаканы звякнули, и едва Лизель поднесла свой к губам, ее ужалил колючий и тошнотворно-сладкий вкус шампанского. Рефлекс заставил ее выплюнуть прямо Папе на рубу, и вино, пенясь, растеклось по ткани. Все пальнули смехом, и Ганс посоветовал ей попробовать еще. На сей раз она смогла проглотить и насладиться вкусом восхитительно нарушенного запрета. Здорово. Пузырьки жевали язык. Щекотали желудок. И даже по пути к следующей работе Лизель слышала в себе тепло тех иголок и булавок.

Папа, волоча тележку, сообщил Лизель, что в том доме ему сказали, что денег у них нет.

— Тогда ты попросил шампанского?

— А почему нет? — Он посмотрел на девочку: глаза его в тот миг были серебряными, как никогда. — Не хотел, чтобы ты думала, будто шампанским можно только раскатывать краску. Только не говори Маме, — предупредил он. — Договорились?

— А Максу можно рассказать?

— Конечно, Максу можно.

В подвале, когда Лизель писала о своей жизни, она поклялась, что никогда больше не станет пить шампанское: оно никогда не будет таким вкусным, как в тот теплый июльский день.

И то же самое с аккордеонами.

Много раз ей хотелось спросить Папу, не мог бы он и ее научить играть, но почему-то всякий раз ее что-то останавливало. Наверное, тайная интуиция подсказывала, что она

никогда не сможет играть, как Ганс Хуберман. Само собой, даже лучшие аккордеонисты мира не могли бы с ним сравниться. Им было далеко до той небрежной сосредоточенности Папиного лица. И никогда бы у них из губ не свисала полученная за покраску сигарета. И они не могли бы сделать мелкую ошибку и сопроводить ее смешком запоздалого оправдания на три ноты. Так, как он, — никогда.

По временам в подвале Лизель забывшись, вслушивалась в голос аккордеона, звучащий в ушах. И чувствовала на языке сладкий ожог шампанского.

Бывало, она сидела у стены и мечтала, чтобы теплый палец в краске еще хоть раз скользнул по ее носу, или хотела увидеть шершавую, как наждак, текстуру Папиных ладоней.

Стать бы снова такой беспечной, нести в себе такую любовь, не узнавая ее, принимая ее за смех и хлеб, намазанный лишь запахом джема.

То было лучшее время в ее жизни.

Но то было время ковровых бомбардировок.

Не забывайте.

Дерзкая и яркая трилогия счастья продолжится до конца лета и захватит начало осени. А после резко оборвется, потому что яркость проложит путь страданию.

Наступали тяжелые времена.

Надвигались парадом.

*** * * «СЛОВАРЬ ДУДЕНА»,¹³ ТОЛКОВАНИЕ № 1 * * ***

***Zufriedenheit* — счастье:** производное от *счастливый* — испытывающий радость и довольство.

Близкие по смыслу слова: *удовольствие, приятность, удачливый, процветающий.*

ТРИЛОГИЯ

Пока Лизель работала, Руди бегал.

Круг за кругом по «Овалу Губерта», вокруг квартала и наперегонки со всеми от начала Химмель-штрассе до лавки фрау Диллер, давая соперникам разную фору.

Бывало, когда Лизель помогала Маме на кухне, Роза, выглянув в окно, замечала:

— Что этот малолетний свинух придумал на этот раз? Вся эта беготня под окнами.

Лизель подходила к окну.

— Он хотя бы не красится больше в черный.

— И то хлеб, верно?

*** * * ПРИЧИНЫ РУДИ * * ***

В середине августа проводился фестиваль Гитлерюгенда, и Руди намеревался выиграть четыре соревнования: 1500, 400, 200 метров, и конечно, стометровку.

Ему нравились его новые вожатые, и он хотел порадовать их, а еще — показать своему старому другу Францу Дойчеру, кто есть кто.

— Четыре золотые медали, — сказал он Лизель однажды вечером, когда они вместе бегали вокруг Овала Губерта. — Как Джесси Оуэнз тогда, в тридцать шестом.

— Ты все еще на нем помешан, да?

Ноги Руди рифмовались со вдохами.

¹³ «Дуден» — название орфографического словаря немецкого языка (первое издание — 1880) по имени автора — лексикографа Конрада Дудена (1829–1911).

— Вообще-то нет, но это было бы классно, скажи? Показал бы всем этим дебилам, которые говорят, что я чокнутый. Увидят, что я поумнее их.

— Но ты правда сможешь выиграть все четыре забега?

Они замедлили шаг и остановились в конце беговой дорожки, и Руди упер руки в бока.

— Должен.

Руди готовился шесть недель, и когда настал день фестиваля в середине августа, небо было солнечно-горячим и безоблачным. Траву утоптали гитлерюгендовцы и их родители, всюду кишели вожатые в коричневых рубашках. Руди Штайнер был в исключительной форме.

— Смотри, — показал он. — Дойчер.

За купами толпы белокурое воплощение гитлерюгендовского стандарта давало указания двум мальчишкам из своего отряда. Те кивали, время от времени растягиваясь. Один прикрыл глаза от солнца, подняв руку, будто в салюте.

— Хочешь поздороваться? — спросила Лизель.

— Нет, спасибо. Я лучше потом.

Когда выиграю.

Эти слова не были сказаны, но они точно там висели, где-то между синими глазами Руди и наставническими ладонями Дойчера.

Сначала был обязательный марш вокруг стадиона.

Гимн.

Хайль Гитлер.

Только после этого можно начинать.

Когда возраст Руди вызвали на старт забега на полторы тысячи метров, Лизель пожелала ему удачи в типично немецкой манере.

— Hals und Beinbruch, Saukerl.

Пожелала свинуху сломать ногу и шею.

* * *

Мальчики собрались на дальнем конце округлого поля. Одни разминались, другие собирались с духом, остальные были там просто потому, что надо.

Рядом с Лизель сидела мать Руди Барбара с младшими детьми. Тонкое одеяло было усыпано детишками и вырванной травой.

— Вы видите Руди? — спросила Барбара детей. — Он крайний слева. — Барбара Штайнер была добрая женщина, а волосы у нее всегда выглядели только что причесанными.

— Где? — спросила одна из девочек. Наверное, Беттина, самая младшая. — Я вообще никого не вижу!

— Крайний. Да нет, не там. *Вон там.*

Они еще не закончили опознание, когда пистолет стартера выбросил дымок и хлопок. Маленькие Штайнеры бросились к ограде.

На первом круге вперед выдвинулась группа из семи мальчиков. На втором их было уже пять, а на третьем — четверо. Руди держался четвертым весь забег до последнего круга. Мужчина справа от Лизель стал говорить, что лучше всех выглядит второй бегун. Самый рослый.

— Вот погоди, — говорил он своей невпечатленной жене. — За двести метров до финиша он рванет. — Мужчина не угадал.

Жирный распорядитель в коричневой форме сообщил бегунам, что остался последний круг. Этот деятель явно не страдал от карточной системы. Он прокричал сообщение, когда группа лидеров пересекла черту, и тут вперед рванулся не второй, а четвертый бегун.

Причем на двести метров раньше.

Руди мчался.

И ни разу не оглянулся назад.

Он уходил в отрыв, будто натягивал резиновый трос, пока чужие надежды на выигрыш не лопнули окончательно. Он нес себя по дорожке, а трое за его спиной вырывали друг у друга огрызки. На финишной прямой не было ничего, кроме белокурой головы и простора, и когда Руди пересек черту, он не остановился. Не вскинул руки? И даже не согнулся, переводя дух. Лишь прошел еще двадцать метров и наконец оглянулся через плечо и посмотрел, как линию пересекают остальные.

По дороге к своим он сначала поздоровался с вожатыми, потом с Францем Дойчером. Оба кивнули.

— Штайнер.

— Дойчер.

— Похоже, кроссы, что ты у меня бегал, пошли на пользу, а?

— Вроде того.

Руди не улыбнется, пока не выиграет все четыре забега.

* * * ФАКТ ДЛЯ СВЕДЕНИЙ * * *

Теперь за Руди числились не только школьные успехи. В нем признали и одаренного спортсмена.

Лизель сначала бежала на четыреста. Пришла седьмой, потом четвертой в забеге на двести. Перед собой она видела только подколенные сухожилия и качающиеся хвостики девочек впереди. В секторе для прыжков в длину ее больше порадовал взбитый ногами песок, чем длина прыжка, да и толкание ядра тоже не стало триумфом. Она понимала: сегодня — день Руди.

В финале на 400 метров Руди шел первым с самого старта и до конца, а 200 выиграл с минимальным отрывом.

— Устал? — спросила его Лизель. К тому времени уже миновал полдень.

— Нет, конечно. — Тяжело дыша, он растирал икры. — О чем ты говоришь, свинюха? Что ты, к черту, понимаешь?

Когда стали объявлять отборочные на 100 метров, Руди медленно поднялся на ноги и влился в цепочку подростков, двинувшихся к дорожке. Лизель пошла за ним.

— Эй, Руди. — Она потянула мальчика за рукав. — Удачи!

— Я не устал, — сказал он.

— Я знаю.

Он подмигнул ей.

Он устал.

В своем отборочном забеге Руди снизил темп и прибежал вторым, а через десять минут забеги завершились и объявили финал. Руди достались два грозных соперника, и Лизель нутром чувствовала, что в этот раз Руди не выиграть. Томми Мюллер, который свой забег закончил предпоследним, стоял у ограды рядом с Лизель.

— Он победит, — сообщил ей Томми.

— Я знаю.

Нет, не победит.

Когда финалисты вышли на старт, Руди упал на колени и принялся руками копать стартовую колодку. Сию же секунду к нему направился плешивый коричневорубашечник и велел прекратить. Лизель видела указующий перст взрослого и разглядела, как падает на землю грязь, которую Руди стряхивал с ладоней.

Вызвали на старт, и Лизель крепче вцепилась в ограду. Кто-то из бегунов сорвался раньше времени; стартовый пистолет выстрелил дважды. Это был Руди. Судья опять что-то

сказал ему, и мальчик кивнул. Еще раз — и его снимут.

Второй выход на старт Лизель смотрела с напряжением, и первые несколько секунд не могла поверить в то, что видит. Еще один фальстарт — и допустил его все тот же участник. Лизель уже нарисовала в воображении идеальный забег: Руди отставал, но вырвался к победе на последних десяти метрах. На самом деле она увидела дисквалификацию Руди. Его проводили к краю дорожки, и поставили там одного смотреть, а остальные бегуны вышли на линию.

Выстроились и рванули.

Первым с отрывом по меньшей мере в пять метров добежал парень с ржаво-каштановыми волосами и длинным махом.

Руди остался.

Позже, когда день окончился и солнце ушло с Химмель-штрассе, Лизель сидела с другом на тротуаре.

Они говорили обо всем, кроме главного: от лица Франца Дойчера после забега на 1500 до истерики, которую закатила одиннадцатилетняя девочка, проиграв соревнования по метанию диска.

Но прежде чем они разошлись по домам, голос Руди потянулся и вручил Лизель правду. Эта правда ненадолго присела у девочки на плече, но спустя несколько мыслей проникла в ухо.

*** * * ГОЛОС РУДИ * * ***

— Я нарочно так сделал.

Когда признание дошло до нее, Лизель задала единственный доступный вопрос.

— Но зачем, Руди? Зачем ты так сделал?

Он стоял, уперев руку в бок, и не отвечал. Только умудренная улыбка и неторопливые перекаты вальсяжной походки, что понесли его домой. Больше они об этом случае не разговаривали.

Лизель же часто думала, каков мог быть ответ Руди, уговори она его сказать. Может, трех медалей ему хватило, чтобы доказать то, что хотелось, а может, он боялся проиграть тот финальный забег. В конце концов единственное объяснение, которое Лизель согласилась принять, был внутренний подростковый голос:

— Потому что он не Джесси Оуэнз.

И лишь когда Лизель поднялась уходить, она увидела, что рядом лежат три медали из фальшивого золота. Она постучала в дверь Штайнеров и протянула медали Руди.

— Ты забыл.

— Нет, не забыл. — Он закрыл дверь, и Лизель понесла медали домой. Спустилась с ними в подвал и рассказала Макс про своего друга Руди Штайнера.

— Он и правда болван, — заключила она.

— Ясно, — согласился Макс, но я сомневаюсь, что он дал себя одурачить.

После этого оба взялись за работу. Макс — за свою книгу рисунков, Лизель — за «Почтальона снов». Она уже приближалась к концу романа, где юный священник после встречи со странной и элегантной женщиной стал сомневаться в своей вере.

Когда Лизель опустила книгу на колени вверх корешком, Макс спросил, когда она думает закончить.

— Через несколько дней, самое большое.

— А потом начнешь новую?

Книжная воришка завела глаза к потолку.

— Может быть, Макс. — Она захлопнула книгу и откинулась на стену. — Если повезет.

* * * **НОВАЯ КНИГА** * * *

Это не «Словарь и тезаурус Дудена», как вы могли бы подумать.

Нет, словарь появится в конце этой маленькой трилогии, а сейчас только вторая часть. Часть, в которой Лизель заканчивает «Почтальона снов» и крадет повесть под названием «Песня во тьме». Как всегда, из бургомистерского дома. Только с той разницей, что теперь она пошла в верхнюю часть города одна. В этот день не было никакого Руди.

Выдалось утро, богатое и солнцем, и пенистыми облаками.

Лизель стояла посреди бургомистерской библиотеки с жадностью в пальцах и названиями книг на губах. В этот раз она освоилась настолько, что пробежалась ногтями по полкам — короткая сцена из самого первого визита в эту комнату — и, двигаясь вдоль полок, произносила шепотом названия многих книг.

«Под вишней».

«Десятый лейтенант».

Как всегда, ее соблазняли многие, но, походив по комнате добрых две-три минуты, Лизель остановилась на «Песне во тьме», скорее всего — из-за зеленого переплета: книги такого цвета у нее еще не было. Оттиснутая на обложке надпись была белой, и еще между названием и именем автора имелся маленький рисунок — флейта. Лизель выбралась с книгой из дома, по пути сказав спасибо.

Без Руди ей было довольно-таки пусто, но в то утро книжная воришка почему-то была счастлива в одиночестве. Лизель приступила к работе — начала читать книгу на берегу Ампера, на безопасном расстоянии от случайного штаба Виктора Хеммеля и бывшей шайки Артура Берга. Никто не пришел, никто не помешал, Лизель прочла четыре коротких главы из «Песни во тьме» и была счастлива.

Радость и удовлетворение.

От ловкой кражи.

Через неделю трилогия счастья завершилась.

В последние дни августа принесли подарок — вернее сказать, заметили.

Опускался вечер. Лизель смотрела, как Кристина Мюллер прыгает по Химмель-штрассе со скакалкой. Перед нею затормозил, отправив в занос братнин велик, Руди Штайнер.

— Есть время? — спросил он.

Лизель пожала плечами.

— Для чего?

— По-моему, тебе надо съездить со мной. — Руди бросил велик и пошел домой за вторым. Лизель смотрела, как перед ее носом крутится педаль.

Они доехали до Гранде-штрассе, где Руди остановился, чего-то дожидаясь.

— Ну, — спросила Лизель. — Что такое?

Руди махнул рукой:

— Смотри внимательно.

Понемногу они подобрались ближе и заняли позицию под голубой елью. Сквозь колючие ветки Лизель рассмотрела закрытое окно, а потом — прислоненный к стеклу предмет.

— Это?..

Руди кивнул.

Они потратили на спор немало минут, но наконец согласились, что это надо сделать. Книгу явно положили туда специально, и если это была ловушка, то стоило рискнуть.

Под напудренными синью ветвями Лизель сказала:

— Книжная воришка за это возьмется.

Она опустила велик, окинула взглядом улицу и двинулась через двор. В сумеречной траве были схоронены тени облаков. Ямы ли они, куда можно провалиться, или пятна сгущенной темноты, где можно спрятаться? В воображении Лизель соскальзывала в одну из этих ям прямо в жуткие лапы самого бургомистра. Эти мысли, по крайней мере, отвлекли ее, и под окном Лизель оказалась быстрее, чем могла надеяться.

Все опять было, как со «Свистуном».

Нервы лизали ей ладони.

Струйки пота рябили под мышками.

Подняв голову, она смогла прочесть название. «Полный словарь и тезаурус Дудена». На секунду обернувшись к Руди, она сказала одними губами:

— *Словарь*. — Он пожал плечами и вскинул руки.

Лизель действовала методично, подталкивая раму вверх и представляя, как все это может выглядеть изнутри, из дома. Она так и видела свою вороватую руку — как она тянется, толкает окно вверх, чтобы книга свалилась. Словарь подавался медленно, как срубленное дерево.

Есть.

Никаких резких движений, никакого шума.

Книга просто наклонилась к ней, и девочка схватила ее свободной рукой. И даже закрыла окно, аккуратно и плавно, а потом обернулась и пошла обратно по рытвинам облаков.

— Здорово, — сказал Руди, подавая ей велик.

— Спасибо.

Они покатили к повороту, и там важность этого дня настигла их. Лизель так и знала. У нее опять было то же чувство, что за ней наблюдают. Голос у нее внутри жал на педали. Два оборота.

Посмотри на окно. Посмотри на окно.

Она подчинилась.

Ей невероятно хотелось остановиться — будто чесотка, жаждавшая ногтя.

Лизель поставила ногу на землю и обернулась на бургомистерский дом и окно библиотеки — и увидела. Конечно, следовало предполагать, что такое может произойти, и все равно Лизель не смогла скрыть потрясения, которое ввалилось в нее, когда она заметила за стеклом жену бургомистра. Прозрачную — но она там стояла. Как всегда, пушистые волосы; скорбные глаза, рот, гримаса выставлены напоказ.

Очень медленно Ильза Герман подняла руку — для книжной воришки за окном. Неподвижный взмах.

Ошеломленная Лизель не сказала ни слова — ни Руди, ни себе. Только встала поудобнее и подняла руку, отвечая женщине в окне.

* * * «СЛОВАРЬ ДУДЕНА», ТОЛКОВАНИЕ № 2 * * *

Verzeihung — прощение: оставление чувства гнева, враждебности или обиды.

Родственные слова: *оправдание, извинение, милосердие.*

На обратном пути они остановились на мосту и стали рассматривать тяжелую черную книгу. Листая страницы, Руди наткнулся на письмо. Он взял его и медленно перевел взгляд на книжную воришку.

— Тут написано твое имя.

Река текла.

Лизель забрала листок.

* * * ПИСЬМО * * *

Милая Лизель,

Я знаю, что кажусь тебе жалкой и претенциозной (найди это слово в словаре, если оно

тебе не знакомо), но должна тебе сказать, что я не настолько глупа, чтобы не заметить твоих следов в библиотеке. Когда я обнаружила пропажу первой книги, думала, что просто куда-то ее засунула, но потом в пятнах света я разглядела отпечатки чьих-то босых ног.

Тут я не выдержала и улыбнулась.

Я была рада, что ты взяла книгу, которая принадлежала тебе по праву. Но тогда я подумала, что этим все и кончится, — и ошиблась.

Когда ты пришла опять, мне надо было рассердиться, но я не рассердилась. А в последний раз я тебя услышала, но решила не мешать. Ты всегда берешь только одну книгу, так что их хватит еще на тысячу визитов. Надеюсь только, что однажды ты постучишь в дверь и войдешь в библиотеку более цивилизованным путем.

И еще: мне правда жаль, что мы больше не можем давать работу твоей приемной матери.

Наконец, я надеюсь, что этот словарь будет тебе полезен при чтении украденных книг.

Искренне твоя,

Ильза Герман

— Поехали, что ли, домой, — предложил Руди, но Лизель не двинулась с места.

— Можешь меня тут подождать десять минут?

— Ясно.

Лизель пустилась обратно на Гранде-штрассе, 8. Оказавшись на знакомой территории парадного крыльца, она села. Книга осталась у Руди, но в руке у нее было письмо; Лизель терла сложенную бумагу кончиками пальцев, и ступени крыльца становились все круче. Четыре раза она пыталась постучаться в устрашающее тело двери, но так и не смогла себя заставить. Самое большее, на что ее хватило, — тихо приложить костяшки пальцев к теплому дереву.

И снова ее нашел брат.

Стоя внизу у крыльца с ровно зажившим коленом он сказал:

— Давай, Лизель, постучи.

Сбежав второй раз, Лизель скоро увидела вдалеке на мосту Руди. Ветер полоскал ей волосы. Ноги плавно плыли с педалями.

Лизель Мемингер — преступница.

И не потому, что стащила несколько книжек через открытое окно.

— Ты должна была постучать, — говорила она себе, но, хотя ее грызла совесть, не обошлось и без ребяческого смеха.

Крутя педали, Лизель пыталась что-то себе сказать.

— Ты недостойна такого счастья, Лизель. Никак не достойна.

Можно ли украсть счастье? Или это просто еще один адский людской фокус?

Лизель стяхнула с себя все раздумья. Она проехала мост и подстегнула Руди, велев не забыть книгу.

Они возвращались домой на ржавых великах.

Это был путь в два с небольшим километра, из лета в осень, из спокойного вечера в шумное сопение бомбежек.

ГОЛОСА СИРЕН

Вместе с небольшой суммой, заработанной летом, Ганс принес домой подержанный приемник.

— Теперь, — сказал он, — мы будем узнавать про налеты до сирен. После сигнала кукушки по радио сообщают, какие сейчас районы под угрозой.

Ганс поставил приемник на кухонный стол и включил. Они попробовали включить его и в подвале, для Макса, но в динамиках раздавался только треск помех и разрубленные голоса.

Первый раз, в сентябре, они спали и не слышали кукушки.

Либо радио все же было не вполне исправно, либо сигнал сразу потонул в плаче сирен.

Чья-то рука тихонько потрясла спящую Лизель за плечо.

Следом возник Папин голос, испуганный.

— Просыпайся, Лизель. Надо идти.

Запутавшись в прерванном сне, девочка едва разбирала очертания Папиного лица. Единственное, что было хорошо видно, — голос.

В коридоре они остановились.

— Погодите, — сказала Роза.

В темноте они бросились в подвал.

Лампа горела.

Макс высунулся краешком из-за холстин и банок. У него было изнуренное лицо, он нервно цеплялся большими пальцами за пояс штанов.

— Надо уходить, а?

Ганс подошел к нему.

— Да, надо уходить. — Он пожал Максу руку и хлопнул его по плечу. — До встречи после налета, так?

— Конечно.

Роза обняла его, и Лизель тоже.

— До свидания, Макс.

Несколько недель назад они уже обсуждали, нужно ли всем оставаться в их собственном подвале или троим лучше ходить в подвал Фидлеров, в нескольких домах от Хуберманов. Их убедил Макс.

— Ведь вам сказали, что тут недостаточно глубоко. Вам из-за меня и без того опасно.

Ганс кивнул.

— Стыдно, что мы не можем брать тебя с собой. Просто позор.

— Уж как есть.

На улице сирены выли на дома, люди выскакивали и бежали, спотыкаясь и отшатываясь от воя. На них смотрела ночь. Некоторые отвечали ей взглядами, пытаясь разглядеть жестяные самолетики, ползущие по небу.

Химмель-штрассе превратилась в процессию стреноженных людей: каждый сражался с тем, что было у него самого ценного. У некоторых — ребенок. У других — стопка фотоальбомов или деревянный ящик. Лизель несла свои книги — между локтем и ребрами. Фрау Хольцапфель едва тянула по тротуару чемодан — выпученные глаза, семенящие ноги.

Папа, который забыл все — даже аккордеон, — подбежал к ней и вызволил чемодан из ее хватки.

— Езус, Мария и Йозеф, что у вас там? — спросил он. — Наковальня?

Фрау Хольцапфель рванулась вперед с ним рядом.

— Необходимое.

Фидлеры жили через шесть домов. В семье их было четверо, все с волосами пшеничного цвета и славными немецкими глазами. Но главное — у них был отличный глубокий подвал. В него набилось двадцать два человека, включая Штайнеров, фрау Хольцапфель, Пфиффикуса, одного юношу и семью по фамилии Йенсон. В интересах общественного спокойствия Розу Хуберман и фрау Хольцапфель держали на расстоянии,

хотя есть вещи выше мелких ссор.

Под потолком болталась одна лампочка в плафоне, было холодно и волгло. Зубастые стены скалились и тыкали в спину людей, которые стояли и разговаривали. Откуда-то просачивался приглушенный вой сирен. Их искаженный голос, как-то пробравшийся в подвал, слышали все. И хотя это заронило немалые сомнения в надежности убежища, по крайней мере, здесь люди услышат и три сирены, означающие отбой воздушной тревоги и спасение. Им не понадобится Luftschutzwart — уполномоченный по гражданской обороне.

Руди, не теряя времени, разыскал Лизель и встал рядом. Волосы у него указывали куда-то в потолок.

— Здорово, скажи?

Лизель не удержалась от ехидства:

— Да, прелесть.

— Ай, да ладно тебе, Лизель, кончай. Что плохого может случиться, кроме того, что всех расплющит или зажарит, или что там еще делают бомбы?

Лизель огляделась, оценивая лица. И взялась составлять список — кто больше всех боится.

* * * СПИСОК ЛУЧШИХ ЖЕРТВ * * *

1. Фрау Хольцапфель.

2. Герр Фидлер.

3. Юноша.

4. Роза Хуберман.

Глаза фрау Хольцапфель были широко распахнуты. Ее жилистая фигура гнулась вперед, а рот стал кругом. Герр Фидлер занимался тем, что спрашивал людей, некоторых — по несколько раз, как они себя чувствуют. Юноша по имени Рольф Шульц держался в углу обособленно и беззвучно разговаривал с воздухом около себя, за что-то его распекая. Руки у него намертво зацементировались в карманах. Роза едва заметно покачивалась вперед-назад.

— Лизель, — прошептала она, — поди сюда.

Она схватилась за девочку сзади, крепко сжала ее плечи. Роза пела песню, но так тихо, что Лизель не могла разобрать. Ноты рождались на выдохе и умирали в губах. Папа рядом с ними оставался спокоен и недвижим. Только раз он положил свою теплую ладонь на холодную макушку Лизель. Ты не умрешь, говорила эта ладонь, и она не врал.

Слева от Хуберманов стояли Алекс и Барбара Штайнеры с самыми младшими — Беттиной и Эммой. Обе девочки вцепились в правую ногу матери. Старший, Курт, смотрел перед собой, как образцовый гитлерюгендовец, и держал за руку Карин, которая была крохотной даже для своих семи лет. Десятилетняя Анна-Мария играла с рыхлой поверхностью цементной стены.

По другую сторону от Штайнеров стояли Пфиффикус и семья Йенсонов.

Пфиффикус не насвистывал.

Бородатый герр Йенсон крепко обнимал жену, а двое их детей то и дело погружались в молчание. Время от времени они подначивали друг друга, но затихали, едва доходило до настоящей перебранки.

Примерно через десять минут самым заметным в подвале стала какая-то бездвижность. Тела спаялись вместе, и только ступни меняли положение или нажим. К лицам прикована застылость. Люди смотрели друг на друга и ждали.

* * * «СЛОВАРЬ ДУДЕНА», ТОЛКОВАНИЕ № 3 * * *

Angst — страх: неприятное, часто сильное чувство, вызванное предчувствием или осознанием опасности.

Родственные слова: ужас, боязнь, тревога, испуг, паника.

Про иные убежища рассказывали, что там пели «Deutschland über Alles» или люди скандалили в затхлости собственного дыхания. В убежище Фидлеров ничего такого не было. Только страх и мрачные размышления да мертвая песня на картонных губах Розы Хуберман.

Незадолго до того, как сирены просигналили отбой, Алекс Штайнер, человек с неподвижным деревянным лицом, выманил младшеньких из маминых ног. Потом нащупал свободную руку сына. Курт — все тот же стойкий, исполненный взгляда, — чуть крепче сжал руку сестры. Вскоре все убежище взялось за руки — два десятка немцев стояли в комковатом кругу. Холодные руки оттаивали в теплых ладонях, а кому-то даже передавался пульс соседа. Толкался сквозь слои бледной отвердевшей кожи. Некоторые закрыли глаза — не то в ожидании гибельного конца, не то в надежде на знак того, что налет завершился.

Заслуживали они лучшего, все эти люди?

Сколько их, опьяненных запахом фюрерова взгляда, активно преследовали других, повторяя высказывания Гитлера, его страницы, его опус? Виновата ли Роза Хуберман? Укрывательница еврея? Или Ганс? Разве все они заслуживали смерти? Дети?

Меня сильно интересуют ответы на все эти вопросы, но я не могу позволить, чтобы они меня соблазнили. Я знаю только, что все эти люди в ту ночь, за исключением самых маленьких, почуяли бы меня. Я был намеком. Я был советом, и мои воображаемые ноги шаркали в кухне и по коридору.

Как это часто бывает с людьми, когда я читал о них словами книжной воришки, мне было их жаль — хотя не так жаль, как тех, кого я в то время сгребал по лагерям. Конечно, немцев в подвалах можно пожалеть, но у них по крайней мере был шанс. Подвал — не душевая. Их никто не загонял под душ. Для тех людей жизнь была еще доступна.

В неровном кругу отмокали минуты.

Лизель держала за руки Маму и Руди.

Ее огорчала только одна мысль.

Макс.

Что будет с Максом, если бомбы упадут на Химмель-штрассе?

Озираясь, она изучала подвал Фидлеров. Он был гораздо крепче и значительно глубже, чем у них на Химмель-штрассе, 33.

Безмолвно она спрашивала Папу.

— Ты тоже думаешь про него?

Воспринял ли он ее бессловесный вопрос или нет, но Ганс коротко кивнул девочке. Через несколько минут после этого кивка раздалась три сирены временного покоя.

Люди в доме № 45 по Химмель-штрассе облегченно обмякли.

Некоторые зажмурили глаза и снова открыли.

По кругу пустили сигарету.

Когда она дошла до губ Руди Штайнера, ее перехватила рука Штайнера-старшего.

— Не для тебя, Джесси Оуэнз.

Дети обнимали родителей, и еще несколько минут люди не понимали до конца, что они живы и *будут* живы. Только после этого затопали их шаги вверх по лестнице на кухню Герберта Фидлера.

Снаружи по улице тянулась молчаливая процессия. Многие поднимали глаза к небу и благодарили Бога за то, что выжили.

Оказавшись дома, Хуберманы сразу устремились в подвал, но им показалось, что Макса там нет. Огонек лампы был тускл и оранжев, а Макса не было видно, и он не отвечал на их призывы.

— Макс?

— Он исчез.

— Макс, ты здесь?

— Я тут.

Сначала им показалось, что слова раздались из-за холстин и банок, но Лизель первой заметила Макса — прямо перед ними. Его изнуренное лицо было трудно различить в маскировке ткани и малярного инвентаря. Он сидел с ошеломленными глазами и губами.

Когда они подошли, он снова заговорил.

— Я не мог удержаться, — сказал он.

Ему ответила Роза. Присела и заглянула Максу в лицо.

— О чем ты говоришь, Макс?

— Я... — Ответ давался ему с трудом. — Когда все было тихо, я поднялся в коридор, а в гостиной между шторами осталась щелочка... Можно было выглянуть на улицу. Я посмотрел только несколько секунд. — Он не видел внешнего мира двадцать два месяца.

Ни гнева, ни упрека.

Заговорил Папа.

— И что ты увидел?

Макс с великой скорбью и великим изумлением поднял голову.

— Там были звезды, — сказал он. — Они обожгли мне глаза.

* * *

Вчетвером.

Двое стоят на ногах. Двое сидят.

Все четверо кое-чего повидали этой ночью. Вот их настоящий подвал. Настоящий страх. Макс собрался с духом и встал, чтобы скрыться за холстинами. Пожелал всем спокойной ночи, но под лестницу не ушел. С разрешения Мамы Лизель осталась с ним до утра, читала ему «Песню во тьме», а он рисовал в своей книге.

«Через окно на Химмель-штрассе, — писал Макс, — звезды подожгли мне глаза».

ПОХИТИТЕЛЬ НЕБА

Первый налет, как оказалось, и налетом-то не был. Если б люди захотели увидеть самолеты, им пришлось бы простоять, задрвав головы, всю ночь. Потому-то и не было кукушки по радио. В «Молькингском Экспрессе» написали, что какой-то зенитчик немного перенервничал. Он клялся, что слышал рокот самолетов и даже видел их на горизонте. И поднял тревогу.

— Он мог и нарочно, — заметил Ганс Хуберман. — Кому захочется сидеть на башне и стрелять по бомбовозам?

И конечно, когда Макс в подвале дочитал статью, в конце сообщалось, что зенитчика с причудливым воображением разжаловали. Скорее всего, его ждала теперь какая-то другая служба.

— Удачи ему, — сказал Макс. Похоже, переходя к кроссворду, он посочувствовал тому парню.

Следующий налет был настоящим.

Ночью 19 сентября по радио пропела кукушка, а следом раздался низкий знающий голос. В списке возможных мишеней упоминался Молькинг.

И снова Химмель-штрассе стала цепочкой людей, и снова Папа не взял аккордеон. Роза напомнила, но Ганс отказался.

— В прошлый раз не брал, — объяснил он, — и мы уцелели. — Война явно размывла границу между логикой и суеверием.

Зловещая воздушность сопровождала их до подвала Фидлеров.

— Сегодня, кажется, по-настоящему, — сказал герр Фидлер, и дети быстро поняли, что в этот раз родители подле них боятся еще сильнее. Они отреагировали единственным известным способом — принялись выть и плакать, а подвал тем временем будто бы качнулся.

Даже из погреба люди смутно слышали пение бомб. Воздух давил, как потолок, словно плюща землю. От опустелых улиц Молькинга отгрызли кусок.

Роза отчаянно цеплялась за руку Лизель.
Голоса плачущих детей брыкались и пинались.

Даже Руди стоял прямой как палка, прикидываясь безразличным, напрягаясь, чтобы не напрягаться. За место дрались плечи и локти. Кто-то из взрослых пытался успокоить детей. Другие и себя не могли как следует успокоить.

— Заткните этого ребенка, — потребовала фрау Хольцапфель, но фраза ее стала очередным несчастным воплем в теплом хаосе убежища. Из детских глаз высвободились чумазные слезинки, в этом кипящем котле, переполненном людьми, мешались и тушились запахи ночного дыхания, пота из подмышек и заношенной одежды.

Хотя они с Розой стояли бок о бок, Лизель пришлось кричать.

— Мама? — Еще раз. — Мама, ты мне руку раздавишь!

— Что?

— Руку больно!

Роза выпустила ее руку, и Лизель, чтобы успокоиться и отключиться от рева подвала, открыла одну свою книгу и стала читать. Верхним в стопке оказался «Свистун», и чтобы лучше сосредоточиться, Лизель прочла название вслух. Первый абзац остался в ушах пустым звуком.

— Что ты говоришь? — проорала Мама, но Лизель не ответила. Она продолжала вчитываться в первую страницу.

Когда она перешла ко второй, на нее обратил внимание Руди. Он прислушался, и, подергав брата и сестер, предложил им сделать то же самое. Ганс Хуберман подошел ближе и призвал к тишине, и скоро в набитом людьми подвале кровавым пятном расплылось спокойствие. К третьей странице умолкли все, кроме Лизель.

Она не осмеливалась поднять глаза, но чувствовала, как испуганные взгляды цепляются за нее, пока она втаскивает в себя слова и выдыхает их.

Голос у нее внутри играл ноты. Вот, говорил он, твой аккордеон.

Звук переворачиваемой страницы резал слушателей надвое.

Лизель читала.

Не меньше двадцати минут она раздавала им историю. Малышей успокаивал звук ее голоса, остальные видели перед собой Свистуна, сбегавшего с места преступления. Кроме Лизель. Книжная воришка видела только механику слов — их тела, выброшенные на бумагу, избитые и утопанные, чтобы ей удобнее было по ним шагать. А иногда, где-то в просветах между точкой и следующей прописной буквой, ей встречался Макс. Лизель вспоминала, как читала ему, когда он болел. В подвале он или нет, гадала она. Или опять вышел украсть кусочек неба?

*** * * КРАСИВАЯ МЫСЛЬ * * ***

Один из них был книжным вором.

Другой воровал небо.

Все ждали, когда под ними содрогнется земля.

Неизбежность оставалась, но теперь их от нее, по крайней мере, отвлекала девочка с книгой. Какой-то малыш замыслил было снова расплакаться, но Лизель на секунду оторвалась и изобразила своего Папу или даже, скорее, Руди. Подмигнула ребенку и

вернулась к чтению.

Лишь когда в подвал снова протек звук сирен, кто-то подал голос.

— Можно выходить, — сказал герр Йенсон.

— Чш! — сказала фрау Хольцапфель.

Лизель подняла голову.

— До конца главы осталось два абзаца, — сказала она и продолжила читать — без помпы и с той же скоростью. Просто слова.

*** * * «СЛОВАРЬ ДУДЕНА», ТОЛКОВАНИЕ № 4 * * ***

Wort — слово: осмысленная единица языка \ обещание \ короткое замечание, заявление или разговор.

Родственные слова: имя, выражение, название.

Взрослые из вежливости установили тишину, и Лизель дочитала первую главу «Свистуна».

На лестнице детишки обгоняли ее, но многие взрослые — даже фрау Хольцапфель, даже Пфиффикус (как уместно, если учесть название книги) — благодарили девочку за то, что помогла отвлечься. Говоря это, они спешили наверх и вон из дома — увидеть, цела ли Химмель-штрассе.

Химмель-штрассе осталась невредима.

Единственным знаком войны было облако пыли, перемещавшееся с востока на запад. Оно заглядывало в окна, пытаясь найти лазейку в дома, и, растягиваясь и уплотняясь одновременно, превращало колонну горожан в мираж.

На улице больше не было людей.

Они превратились в слухи, отягощенные пожитками.

* * *

Дома Папа рассказал все Макс.

— Такой туман и пепел — кажется, нас выпустили раньше времени. — Он глянул на Розу. — Разве сходить? Посмотреть, не нужна ли какая помощь, где упали бомбы?

Роза не прониклась.

— Не будь таким болваном, — сказала она. — Ты задохнешься в пыли. Нет-нет, свинух, остаешься дома. — Тут ее посетила мысль. Очень серьезно она посмотрела на Ганса. Вообще-то ее лицо раскрасил карандаш гордости. — Остаешься и расскажи ему о девочке. — Мамин голос стал громче, самую малость. — Про книгу.

Макс заинтересовался еще сильнее.

— Про «Свистуна», — пояснила Роза. — О первой главе. — И она сама рассказала обо всем, что происходило в убежище.

Лизель стояла в углу подвала, а Макс смотрел на нее, потирая ладонью челюсть. Лично мне кажется, что в ту минуту он задумал новую серию рисунков для своей книги.

«Отрясательницы слов».

Он воображал, как Лизель читает в убежище. Должно быть, он представлял, как она буквально раздаёт слова. Впрочем, как всегда, он тут же видел и тень Гитлера. И наверное, уже слышал, как его шаги приближаются к Химмель-штрассе и подвалу — на будущее.

После длительной паузы Макс уже собрался было заговорить, но Лизель его опередила.

— Ты сегодня видел небо?

— Нет. — Макс посмотрел на стену и показал рукой. На ней все увидели слова и картинку, которые он нарисовал больше года назад: веревку и капающее солнце. — Сегодня только это. — И с того момента слов больше не было. Только раздумья.

Про Макса, Ганса и Розу не могу сказать ничего, но знаю, что думала Лизель Мемингер: если бомбы упадут на Химмель-штрассе, у Макса не только самые слабые шансы

на спасение — он умрет в полном одиночестве.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФРАУ ХОЛЬЦАПФЕЛЬ

Утром оценили ущерб. Никто не погиб, но два многоквартирных дома превратились в кучи битого камня, а посреди гитлерюгендовского плаца, любимого Руди Штайнером, ложками кто-то вычерпал огромную миску. Вокруг нее выстроилось полгорода. Люди прикидывали глубину и сравнивали с глубиной своих убежищ. Некоторые мальчики и девочки плевали на дно.

Руди стоял рядом с Лизель.

— Кажется, придется удобрять по новой.

Следующие несколько недель бомбежек не было, и жизнь почти вернулась к норме. Предстояли, однако, два значительных события.

* * * ДВОЙНОЕ СОБЫТИЕ ОКТЯБРЯ * * *

Руки фрау Хольцапфель.

Парад евреев.

У нее были клеветнические морщины. А голос — вроде палочного битья.

Надо сказать, им еще повезло, что они увидели ее в окно гостиной — ее костяшки по дереву были тверды и решительны. Они означали серьезное дело.

Лизель услышала именно то, чего страшилась.

— Иди открой, — сказала Мама, и девочка, прекрасно понимая, что спорить бесполезно, сделала, как велено.

— Мать дома? — спросила фрау Хольцапфель. Она стояла на крыльце, сделанная из пятидесятипятiletней проволоки, и ежесекундно оглядывалась на улицу. — Твоя свинская мамаша дома сегодня?

Лизель обернулась и позвала.

* * * «СЛОВАРЬ ДУДЕНА», ТОЛКОВАНИЕ № 5 * * *

Gelegenheit — возможность: благоприятный случай для продвижения или развития.

Родственные слова: *перспектива, шанс, просвет.*

Скоро у нее за спиной стояла Роза.

— Чего тебе тут надо? Хочешь плюнуть еще и на пол в моей кухне?

Фрау Хольцапфель это ни капли не обескуражило.

— Ты так здороваешься со *всеми*, кто к тебе постучится? G'sindel!¹⁴

Лизель смотрела. Ей сильно не повезло оказаться зажатой меж двумя женщинами.

Роза отодвинула ее с дороги.

— Ну, скажешь, зачем пришла, или как?

Фрау Хольцапфель еще раз оглянулась на улицу.

— У меня есть предложение.

Мама переступила с ноги на ногу:

— Да ну?

— Да не к тебе. — Фрау Хольцапфель пожала голосом, отмечая Розу, и уставилась на Лизель. — К тебе.

— Ну а чего меня тогда звала?

— Ну мне все же нужно твое *разрешение*.

¹⁴ Зд.: Вот отребье! (нем.)

Ох дева Мария, подумала Лизель, только этого не хватало. Какого еще рожна понадобилось от меня этой Хольцапфель?

— Мне понравилась та книга, которую ты читала в подвале.

Ну нет. Книгу ты не получишь. Лизель не уступит.

— Да?

— Мне хотелось услышать продолжение в убежище, но, похоже, бомбить пока не будут. — Она покачала плечами и распрямила проволоку в спине. — И я хочу, чтобы ты приходила ко мне ее читать.

— Ну ты и наглая, Хольцапфель. — Роза решала, рассвирепеть или нет. — Если ты думаешь...

— Я перестану плевать на вашу дверь, — перебила ее фрау Хольцапфель. — И отдам вам свой паек кофе.

Роза решила не свирепеть.

— И добавишь муки?

— Ты что, еврейка? Кофе и все. Можешь поменяться с кем-нибудь на муку.

На том и сошлись.

Все, кроме Лизель.

— Ладно, тогда решено.

— Мама?

— Помолчи, свинюха. Иди возьми книгу. — Мама повернулась к фрау Хольцапфель. — В какие дни ты хочешь?

— Понедельник и пятница, в четыре часа. И сегодня, прямо сейчас.

Вслед фельдфебельским шагам Лизель прошла в соседний дом — жилище Хольцапфель, которое оказалось зеркальным отражением Хубермановского. Разве что было чуть просторнее.

Лизель села за кухонный стол, а Хольцапфель — прямо перед ней, но лицом к окну.

— Читай, — сказала она.

— Вторую главу?

— Нет, восьмую. Конечно вторую! Читай давай, пока я тебя не вышвырнула.

— Да, фрау Хольцапфель.

— Оставь эти «да, фрау Хольцапфель». Открывай книгу. До ночи собралась тут сидеть? Боже милосердный, подумала Лизель. Это мне наказание за все мои кражи. Вот когда оно меня настигло.

Лизель читала сорок пять минут, и когда глава закончилась, на столе появился пакет с кофе.

— Спасибо тебе, — сказала женщина. — Интересная история. — Она повернулась к плите и занялась картошкой. Не оборачиваясь, сказала: — Ты, что ли, еще здесь?

Лизель поняла это как сигнал к бегству.

— Danke sch#246;n, фрау Хольцапфель. — У дверей, заметив на стене фотографии двух молодых мужчин в военной форме, Лизель добавила еще «Хайль Гитлер», вскинув руку посреди кухни.

— Да. — Фрау Хольцапфель гордилась и боялась. Два сына в России. — Хайль Гитлер. — Она поставила воду на огонь и даже сподобилась проводить Лизель несколько шагов до дверей. — Vis morgen?

Следующий день был пятница.

— Да, фрау Хольцапфель. До завтра.

Лизель подсчитала потом, что до того, как через Молькинг строем прогнали евреев, было еще четыре сеанса у фрау Хольцапфель.

Они шли в Дахау — концентрироваться.

Получается две недели, напишет она потом в подвале. Две недели — и мир перевернется, четырнадцать дней — и он обрушится.

ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА В ДАХАУ

Кто-то говорил, что сломался грузовик, но я могу лично засвидетельствовать, что дело не в этом. Я там был.

А случилось океанское небо с белыми гребнями облаков.

И кстати, грузовик был не один. Три грузовика не могли сломаться все разом.

Когда солдаты попрыгали на обочину, чтобы закусить и перекурить и сунуть нос в еврейскую поклажу, один узник рухнул от истощения и болезни. Понятия не имею, откуда двигался тот конвой, но все произошло километрах в пяти от Молькинга, и за много-много шагов до концентрационного лагеря Дахау.

Я забрался в грузовик через ветровое стекло, подобрал занемогшего и выпрыгнул сзади. Душа была тощая. Даже борода была ему кандалами. Ноги мои шумно ударились о гравий, хотя ни узники, ни конвоиры не услышали ни звука. Но каждый почувал меня.

Я припоминаю, что в кузове того грузовика было много мольб. Внутренние голоса зывали ко мне.

Почему он, а не я?

Слава богу, это *не я*.

У солдат меж тем зашла своя беседа. Командир раздавил окурочек и задал своим людям дымный вопрос:

— Когда мы в последний раз выводили этих крыс на свежий воздух?

Его помощник подавил кашель:

— А оно им не повредит, правда?

— Ну так как? Время у нас есть, правда?

— Времени пропасть, командир.

— И ведь отменный денек для парада, нет?

— Так точно, командир.

— Ну так чего ждете?

Лизель играла в футбол на Химмель-штрассе, когда явился шум. Двое мальчишек боролись за мяч в центре поля, и вдруг все замерло. Услышал даже Томми Мюллер.

— Что там такое? — спросил он из ворот.

Все обернулись на шарканье ног и командные окрики, когда шум приблизился.

— Что там, стадо коров? — спросил Руди. — Вряд ли. Коровы так не шумят, а?

Поначалу медленно полная улица детей потянулась на магнит звука, к лавке фрау Диллер. Время от времени раздавался особенно резкий крик.

В высокой квартире на Мюнхен-штрассе, сразу за углом, пожилая дама с пророческим голосом разъяснила всем истинный источник волнения. Высоко над улицей в окне ее лицо виднелось, как белый флаг с влажными глазами и открытым ртом. Ее голос, как самоубийца, с лязгом упал под ноги Лизель.

Волосы у дамы были седые.

А глаза темные — темно-синие.

— Die Juden, — сказала женщина. — Евреи.

*** * * «СЛОВАРЬ ДУДЕНА», ТОЛКОВАНИЕ № 6 * * ***

***Elend* — горе: сильное страдание, несчастье и боль.**

Родственные слова: мука, терзание, отчаяние, бедствие, скорбь.

Больше людей вышло на улицу, по которой тычками гнали сборище евреев и других преступников. Может, лагеря смерти и держали в секрете, но достижения трудовых лагерей,

вроде Дахау, обывателям время от времени демонстрировали.

Дальше, на другой стороне улицы Лизель заметила человека с малярной тележкой. Он неуютно ворошил себе волосы.

— А вон там, — сказала она Руди и показала рукой, — мой Папа.

Вдвоем они перебежали дорогу и подошли, и Ганс Хуберман сначала попробовал их увести.

— Лизель, — начал он. — Может, вам...

Однако он понял, что девочка твердо намерена остаться; к тому же, пожалуй, ей нужно это увидеть. На свежем осеннем ветерке они стояли вместе. Ганс больше не говорил.

На Мюнхен-штрассе они стояли и смотрели.

Вокруг и перед ними копошились люди.

Они смотрели, как евреи текут по дороге, словно каталог красок. Это не книжная воришка так их описала, а я могу сказать вам, что именно так они и выглядели, потому что многие вскоре умерли. Каждый приветствовал меня как последнего верного друга, кости их были как дым, а души тянулись позади.

Когда они явились полностью, дорога задрожала от их шагов. Глаза их были огромны на голодных черепаках. И грязь. Грязь припаялась к ним. Конвоиры подталкивали, и ноги узников подгибались — несколько шатких шагов принужденной пробежки и медленный возврат к истощенной ходьбе.

Ганс смотрел на них через головы толпящихся зевак. Не сомневаюсь, что глаза у него были серебряные и напряженные. Лизель выглядывала в проемы или по-над плечами.

Страдающие лица изможденных мужчин и женщин тянулись к ним, моля даже не о помощи — ее они ждать не могли, — а прося объяснения. Которое хоть как-то скрасит это смятение.

Их ноги едва отрывались от земли.

Звезды Давида, нашитые на одежду, горе, неотделимое, будто предписанное им. «Тогда забудешь горе...»¹⁵ На некоторых горе росло, как лоза.

По бокам колонны шагали солдаты, приказывая торопиться и не стонать. Многие были зелеными юнцами. С фюрером в глазах.

Глядя на все это, Лизель понимала, что несчастнее душ не бывает. Так она и напишет о них. Костлявые лица растянулись от мучений. Людей точил голод, а они брели вперед, многие — опустив глаза в землю, чтобы не встречаться взглядом с теми, кто на тротуаре. Другие с мольбой смотрели на тех, кто пришел увидеть их унижение, начало их смерти. Или призывали кого-нибудь, хоть кого, сойти на дорогу и взять их на руки.

Никто не сошел.

С гордостью, с безрассудством или же со стыдом смотрели люди на этот парад, но никто не вышел, чтобы прервать его. Пока не вышел.

Время от времени мужчина или женщина — да нет, то не были мужчины и женщины, то были евреи — находили в толпе лицо Лизель. Они обращали на нее свое ничтожество, а книжная воришка только и могла, что смотреть в ответ долгий неизлечимый миг, пока несчастные не пропадали из виду. Ей оставалось лишь надеяться, что они видят всю глубину скорби в ее взгляде и понимают, что эта скорбь неподдельна и не мимолетна.

«Один из вас у меня в подвале! — хотелось ей сказать. — Мы с ним лепили снеговика! Когда он болел, я принесла ему тринадцать подарков!»

Лизель ничего не сказала.

Что хорошего могло это дать?

Она понимала, что совершенно бесполезна для этих людей. Их не спасти, а через

¹⁵ Иов, 11:16.

несколько минут Лизель увидит, что бывает с тем, кому вздумается им помочь.

В процессии возник небольшой разрыв, там шел человек старше остальных.

С бородой и в рваной одежде.

Глаза у него были цвета агонии, и как бы невесом он ни был, его ноги не могли снести и такой ноши.

Он падал не раз и не два.

Половина лица у него расплющилась о дорогу.

Всякий раз над ним зависал солдат.

— Steh' auf, — кричал он сверху. — Вставай.

Старик поднимался на колени и с трудом вставал. И брел дальше.

Всякий раз нагоняя переднюю шеренгу, он скоро сбивался с шага и снова оступался и летел на землю. А ведь за ним шли другие — добрый грузовик людей, — которые могли наступить и затоптать.

Смотреть, как больно дрожат у него руки, когда он пытается оторвать тело от земли, было невыносимо. Задние расступились еще раз, давая ему подняться и сделать еще группу шагов.

Он был мертв.

Этот старик был уже мертв.

Только дайте ему еще пять минут, и он непременно свалится в немецкую сточную канаву и умрет. И никто не помешал бы, и все бы стояли и смотрели.

И вдруг — какой-то человек.

Ганс Хуберман.

Все произошло вот так быстро.

Когда старик оказался рядом, рука, что крепко сжимала руку Лизель, выпустила ее. Ладонь девочки шлепнула по ноге.

Папа наклонился к своей тележке и что-то вынул. Протолкнувшись сквозь людей, вышел на дорогу.

Старый еврей стоял перед ним, ожидая очередной горсти насмешек, но увидел — как и все увидели, — что Ганс Хуберман протянул руку и, как волшебство, подал кусок хлеба.

Когда хлеб перешел из рук в руки, старик осел на дорогу. Упав на колени, он обнял Папины голени, зарылся в них лицом и благодарил.

Лизель смотрела.

Со слезами на глазах она видела, как старик скользнул еще ниже, оттесняя Папу назад, и плакал ему в лодыжки.

Остальные евреи шли мимо, и все смотрели на это маленькое напрасное чудо. Они текли, как человеческая вода. Некоторые в этот же день достигнут океана. Им дадут пенные гребни.

Перейдя строй вброд, скоро на месте преступления оказался конвойный. Посмотрел на коленопреклоненного еврея и на Папу, окинул взглядом толпу. Еще одна секундная мысль — и он извлек из-за пояса хлыст и приступил.

Еврей получил шесть ударов. По спине, по голове и по ногам.

— Мразь! Свинья! — Из уха у старика потекла кровь.

Потом пришла очередь Папы.

Лизель теперь держала новая рука, и когда она, скованная ужасом, повернула голову, рядом стоял Руди Штайнер — он сглатывал, видя, как Папу секут на дороге. От шлепков Лизель тошнило, ей казалось, что Папино тело сейчас треснет. Ганс получил четыре удара, прежде чем тоже рухнул на землю.

Когда старик еврей в последний раз поднялся на ноги и двинулся вперед, он коротко оглянулся. Последний печальный взгляд на человека, который теперь и сам стоял на

коленях, а его спина горела четырьмя полосами огня, и колени саднило от жесткой мостовой. По крайней мере, этот старик умрет как человек. Или хотя бы с мыслью, что он был человеком.

Я?

Я не очень уверен, что это так уж здорово.

Когда Лизель с Руди протолкались вперед и помогли Гансу подняться, вокруг звучало так много разных голосов. Слова и солнечный свет. Так это запомнила Лизель. Свет искрился на дороге, а слова волнами разбивались о ее спину. Лишь когда они двинулись прочь, Лизель заметила, что хлеб так и лежит отвергнутый на дороге.

Руди хотел было подобрать, но из-под его руки кусок схватил следующий еврей, и еще двое кинулись отбирать у него, не переставая шагать в Дахау.

Серебряные глаза попали под обстрел.

Тележку перевернули, и краска полилась на мостовую.

Его обзывали «жидолюбом».

Другие молчали, помогая ему скрыться.

Ганс Хуберман застыл, склонившись, упираясь вытянутыми руками в стену дома. Его внезапно придавило тем, что сейчас произошло.

Мелькнула картина, быстро и горячо.

Химмель-штрассе, 33, — подвал.

Панические мысли застряли между мучительными вдохами и выдохами.

За ним сейчас придут. Придут.

Иисусе, Иисусе распятый.

Он посмотрел на девочку и закрыл глаза.

— Папа, тебе плохо?

Вместо ответа Лизель получила вопрос.

— О чем я только думал? — Ганс крепче зажмурил глаза и снова открыл. Его роба помялась. На руках краска и кровь. И хлебные крошки. Как непохоже на летний хлеб. — О господи. Лизель, что я наделал?

Да.

Придется согласиться.

Что Папа наделал?

ПОКОЙ

В ту же ночь в начале двенадцатого Макс Ванденбург шагал по Химмель-штрассе с чемоданом, полным еды и теплых вещей. Его легкие наполнял немецкий воздух. Полыхали желтые звезды. Дойдя до лавки фрау Диллер, он в последний раз оглянулся на дом № 33. Он не мог видеть фигуру в кухонном окне, но *она* его видела. Она помахала, а он в ответ не помахал.

Лизель еще чувствовала на своем лбу его губы. И запах его прощального выдоха.

— Я кое-что тебе оставил, — сказал он, — но ты получишь его, лишь когда придет пора.

Он ушел.

— Макс?

Но он не вернулся.

Вышел из ее комнаты и беззвучно прикрыл дверь.

Коридор пошептался.

Ушел.

Когда удалось дойти до кухни, там стояли Мама и Папа: скрюченные тела, сбереженные лица. Они стояли так целых тридцать секунд вечности.

*** * * «СЛОВАРЬ ДУДЕНА», ТОЛКОВАНИЕ № 7 * * ***

***Schweigen* — тишина: отсутствие звука или шума.**

Родственные слова: *покой, безмятежность, мир.*

Как славно.

Покой.

Где-то под Мюнхеном немецкий еврей шагал сквозь темноту. Они условились встретиться с Гансом Хуберманом через четыре дня (конечно, если того не заберут). Далеко от города, ниже по течению Ампера, там, где сломанный мост косо лежит в реке и деревьях.

Он придет туда, но лишь на несколько минут.

Единственное, что нашел Папа там через четыре дня, — прижатую камнем записку у подножья дерева. В ней не было никакого обращения и только одна фраза.

*** * * ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА МАКСА ВАНДЕНБУРГА * * ***

Вы сделали достаточно.

Тишина в доме № 33 по Химмель-штрассе стояла плотная, как никогда, и тут стало ясно, что «Словарь Дудена» полностью и окончательно не прав, особенно в том, что касается родственных слов. Тишина не была ни мирной, ни безмятежной, и покоя тоже не было.

ИДИОТ И ЛЮДИ В ПЛАЦАХ

Вечером после парада идиот сидел на кухне, заглатывал горький кофе фрау Хольцапфель и мучительно хотел курить. Он ждал гестапо, солдат, полицию — кого угодно, — чтобы его забрали: он чувствовал, что заслужил это. Роза велела ему ложиться. Лизель торчала в дверях. Он отослал обеих и несколько часов до утра просидел, подперев голову ладонями, в ожидании.

Ничто не пришло.

Каждая единица времени несла в себе ожидание — стука в дверь и пугающих слов.

Но их не было.

Звуки издавал только он сам.

— Что я наделал? — снова прошептал он. И ответил себе: — Боже, как хочется курить. — Табак у него давно кончился.

Лизель слышала, как эти фразы повторились несколько раз, и ей стоило труда не переступить порог. Ей так хотелось утешить Папу, но Лизель никогда не видела, чтобы человек был так опустошен. Этой ночью не могло быть никакого утешения. Макс ушел, и виновен в том был Ганс Хуберман.

Кухонные шкафы очерчивали силуэт вины, а ладони Ганса были скользкими от воспоминаний о том, что он натворил. Лизель знала, что у него *должны* быть потные ладони, потому что у нее самой руки были мокры до самых запястий.

*** * ***

В своей комнате она молилась.

Ладони, колени, лбом в матрас.

— Господи, пожалуйста, пожалуйста, пусть Макс уцелеет. Пожалуйста, Господи, пожалуйста...

Горькие колени.
Горящие ступни.

Едва забрезжил первый свет, Лизель проснулась и вернулась на кухню. Папа спал, головой параллельно столешнице, в углу рта скопилось немного слюны. Все затапливал запах кофе, и картина глупой доброты Ганса Хубермана еще висела в воздухе. Как номер или адрес. Повтори, сколько нужно, и пристанет.

Первая попытка Лизель разбудить Ганса осталась непочувствованной, но следующий толчок в плечо заставил вскинуть голову рывком потрясения.

— Пришли?

— Нет, Папа, это я.

Он прикончил черствую лужицу кофе в своей кружке. Его кадык подпрыгнул и опустился.

— Уже должны были прийти. Почему они не идут, Лизель?

Это было оскорбительно.

К нему уже должны были нагрянуть и перевернуть весь дом в поисках доказательств жидолюбия и подрывной деятельности, но получилось, что Макс ушел совсем напрасно. Сейчас вполне мог бы спать в подвале или рисовать в своей книге.

— Папа, ты не мог знать, что они не придут.

— Я должен был *понимать*, что нельзя с этим хлебом... Я не подумал.

— Папа, ты все сделал правильно.

— Ерунда.

Он встал и вышел из кухни, оставив дверь приоткрытой. Наступало, к вящему унижению и огорчению Ганса, славное утро.

Миновали четыре дня, и Папа отправился в долгий путь вдоль Ампера. Он вернулся с маленькой запиской и положил ее на кухонный стол.

Прошла еще неделя, а Ганс Хуберман все ждал наказания. Рубцы на спине превращались в шрамы, и по большей части Ганс бродил по Молькингу. Фрау Диллер плевала ему под ноги. Фрау Хольцапфель, верная слову, перестала плевать Хуберманам на дверь, но у нее появилась удачная сменщица.

— Я всегда знала, — проклинала его лавочница. — Ты грязный жидолюб.

Ганс, не замечая ее, шел дальше, и Лизель нередко заставляла его у Ампера, на мосту. Положив локти на перила, он стоял, свесившись над водой. Дети проезжали мимо на велосипедах или пробегали, громко крича и шлепая ногами по деревянному настилу. Все это его даже не трогало.

*** * * «СЛОВАРЬ ДУДЕНА», ТОЛКОВАНИЕ № 8 * * ***

***Nachtrauern* — сожаление: огорчение, наполненное страстным желанием чего-л., разочарованием или утратой.**

Родственные слова: *каяться, горевать, убиваться.*

— Видишь его? — спросил однажды Папа, когда Лизель стояла, перегнувшись через перила. — Там, в воде?

Река текла не очень быстро. В ее медленной ряби Лизель сумела разглядеть очертания Максова лица. Перистые волосы и все остальное.

— Он все время дрался с фюрером в нашем подвале.

— Езус, Мария и Йозеф. — Папины руки стиснули занозистое дерево. — Я идиот.

Нет, Папа.

Просто ты человек.

Эти слова пришли к Лизель больше года спустя, в подвале, где она писала свою

историю. Девочка пожалела, что не додумалась до них там, на мосту.

— Я глупый, — сказал Ганс Хуберман своей приемной дочери. — И добрый. Отчего получается самый большой идиот на свете. Понимаешь, ведь я *хочу*, чтобы за мной пришли. Всё лучше этого ожидания.

Гансу Хуберману нужно было оправдание. Ему нужно было знать, что Макс Ванденбург покинул его дом по веской причине.

Наконец, после трех почти недель ожидания, он решил, что его час настал.

Было поздно.

Возвращаясь от фрау Хольцапфель, Лизель заметила на улице двоих мужчин в длинных черных плащах и скорее бросилась домой.

— Папа, Папа! — Она чуть не снесла кухонный стол. — Папа, они здесь!

Первой вышла Мама:

— Что за крик, свинюха? Кто это здесь?

— Гестапо!

— Ганси!

Тот был уже там — вышел из дому встречать. Лизель хотела догнать Папу, но Роза удержала, и они вдвоем смотрели из окна.

Папа вышел к калитке. Беспokoйно мялся.

Мама сжала Лизель за плечи.

Плащи прошли мимо.

Папа обернулся на окно и, встревоженный, вышел за ограду. И крикнул вслед тем двоим:

— Эй! Я здесь. Это я вам нужен. Я в *этом* доме живу.

Люди в плащах задержались лишь на миг и свернулись с блокнотами.

— Нет-нет, — сказали они ему. Голоса у них были низкие и дородные. — Увы, ты для нас староват.

Они двинулись дальше, но не ушли далеко — остановились у дома № 35 и свернули в открытую калитку.

— Фрау Штайнер? — спросили они, когда им открыли дверь.

— Да, я.

— Нам нужно с вами поговорить.

Двое в плащах стояли на крыльце углой коробки Штайнеров, как зачехленные колонны.

Зачем-то им нужен был мальчик.

Мужчины в плащах пришли за Руди.

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ **«ОТРЯСАТЕЛЬНИЦА СЛОВ»** с участием:

**домино и темноты — мысли о голом руди — наказания — жены
сдержавшего слово — сборщика — едоков хлеба — свечи в лесу —
тайной книги рисунков — коллекции костюмов анархиста**

ДОМИНО И ТЕМНОТА

По словам младшей из сестер Руди Штайнера, на кухне сидели два чудища. Их голоса методично месили дверь, по другую сторону которой трое других Штайнеров играли в домино. Остальные трое, ни о чем не ведая, слушали радио в спальне. Руди надеялся, что

разговор на кухне никак не связан с тем, что случилось на прошлой неделе в школе. Там произошло кое-что, чем он не стал делиться с Лизель и о чем не говорил дома.

*** * * СЕРЫЙ ДЕНЬ, МАЛЕНЬКАЯ ШКОЛЬНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ * * ***
Трое мальчиков стояли в ряд. Их формуляры и тела подвергались тщательному осмотру.

Когда закончили четвертую партию в домино, Руди принялся составлять костяшки рядами, выкладывая по полу гостиной извилистые узоры. По своему обыкновению он оставлял в рядах пропуски, на случай, если вмешается бандитский палец кого-нибудь из младших, как оно обычно и бывало.

— Руди, можно мне щелкнуть?

— Нет.

— А мне?

— Нет. Все вместе будем.

Он составил три строя, которые тянулись к одной доминошной башне в центре. Сейчас они увидят, как все, что было так тщательно спланировано, рухнет, и улыбнутся красоте разрушения.

Голоса с кухни стали громче, один громоздился на другой, желая быть услышанным. Разные фразы сражались за внимание, пока между ними не встал один человек, до того молчавший.

— Нет — сказала она. И повторила: — Нет. — И даже когда остальные возобновили спор, их опять заставил смолкнуть тот же голос, только набравший силу. — Пожалуйста, — взмолилась Барбара Штайнер. — Только не мой мальчик.

— Руди, мы зажжем свечку?

Они так часто делали с отцом. Выключали свет и при свечах смотрели, как падают доминошные кости. Это как-то придавало событию величия, делало зрелищнее.

У Руди все равно затекли ноги.

— Пойду найду спички.

Выключатель был у двери.

Руди тихонько прошел к ней с коробкой спичек в одной руке, свечкой в другой.

С той стороны еще немного — и трое мужчин и одна женщина сорвутся с петель.

— Лучшие результаты в классе, — сказала одно чудище. Так гулко и сухо. — Не говоря уже о спортивных способностях. — Черт побери, зачем ему понадобилось выигрывать все эти забеги на фестивале?

Дойчер.

Черт его дери, этого Франца Дойчера!

И тут до него дошло.

Не Франца Дойчера то была вина, а самого Руди. Он хотел показать своему прежнему учителю, на что способен, но кроме того, он хотел показать это всем. И вот теперь *все* — у них на кухне.

* * *

Руди зажег свечку и выключил свет.

— Готовы?

— Но я слышал, что там делается. — Дубовый голос отца нельзя было не узнать.

— Давай, Руди, ну когда уже?

— Да, но поймите, герр Штайнер, это все — ради высокой цели. Подумайте о возможностях, которые будут у вашего сына. Это на самом деле привилегия.

— Руди, свечка капает.

Он отмахнулся от них, дожидаясь опять Алекса Штайнера. И услышал его.

— Привилегия? Это бегать босиком по снегу? Прыгать с десятиметровой вышки в воду метровой глубины?

Руди прижался ухом к двери. Свечной воск таял ему на руку.

— Болтовня. — Сухой голос, негромкий и деловой, на все имел готовый ответ. — Наша школа — одна из лучших, какие только есть. Выше чем мирового класса. Мы создаем элитный слой немецких граждан во имя фюрера...

Руди больше не мог слушать.

Он соскреб воск с руки и отпрянул от сrostка света, пробившегося в щель под дверь. Когда он сел, пламя погасло. Слишком много движения. Нахлынула темнота. Единственный доступный свет — белый прямоугольный трафарет по форме кухонной двери.

Он чиркнул новой спичкой и снова затеплил свечу. Сладкий запах огня и угля.

Руди с сестрами толкнули каждый свою доминошину и стали смотреть, как валятся костяшки и башня в середине падает на колени. Девочки радостно заверещали.

В комнате появился Курт, старший брат.

— Похожи на трупы, — сказал он.

— Что?

Руди уставился в темное лицо, но Курт не ответил. Он заметил спор на кухне.

— Кто там у нас?

Ему ответила одна из девочек. Младшенькая, Беттина. Ей было пять.

— Там два чудища, — сказала она. — Они пришли за Руди.

Опять — человеческое дитя. Насколько пронизательнее взрослых.

Позже, когда люди в плащах ушли, двое мальчишек, семнадцати и четырнадцати лет, нашли в себе смелость встретиться с кухней.

Они стояли в дверях. Свет сек им глаза.

Заговорил Курт.

— Его забирают?

Локти матери лежали на столе. Ладони смотрели вверх.

Алекс Штайнер поднял голову.

Тяжелую.

Лицо у него было четкое и определенное, свежесрезанное.

Деревянная рука отерла лучинки волос надо лбом, и он несколько раз попытался заговорить.

— Папа?

Но Руди не подошел к отцу.

Он сел за стол и взял повернутую ладонью кверху руку матери.

Алекс и Барбара Штайнер не откроют, что было сказано, пока доминошки в гостиной падали, как трупы. Если бы только Руди остался подслушивать у двери еще несколько минут...

В следующие недели он говорил себе — или, вернее, умолял себя, — что если бы только в тот вечер он услышал остаток разговора, то вошел бы на кухню намного раньше.

«Я поеду, — сказал бы он. — Пожалуйста, заберите меня, я уже готов».

Если бы он вмешался, все могло быть иначе.

* * * ТРИ ВОЗМОЖНЫХ СЛЕДСТВИЯ * * *

1. Алекс Штайнер не подвергся бы такому же наказанию, как Ганс Хуберман.

2. Руди уехал бы в школу.

3. И как знать — может, и выжил бы.

Жестокий рок, однако, не позволил Руди Штайнеру зайти на кухню в нужный момент. Он вернулся к сестрам и к домино. Сел на пол. Руди Штайнер никуда не ехал.

МЫСЛЬ О ГОЛОМ РУДИ

Там была дама.
Стояла в углу.

С такой толстой косой, каких Руди никогда не видел. Коса вилась у дамы по спине, а когда время от времени дама перебрасывала ее через плечо, коса нежилась на ее колоссальной груди, как перекормленный домашний зверек. И вообще у нее все было увеличенное. Губы, ноги. Бульжные зубы. И голос у нее был крупный и прямой. Зачем тратить время?

— Komm, — велела она мальчикам. — Сюда. Встаньте здесь.

Врач, напротив, был похож на лысеющего грызуна. Маленький и шустрый, он расхаживал по тесной школьной канцелярии, заполняя ее своими маниакальными, но деловитыми движениями и манерностью. И еще он был простужен.

Трудно было решить, какой из трех мальчиков с большей неохотой снимал одежду, когда им приказали. Первый водил глазами с лица на лицо: с пожилого учителя на огромную медсестру, потом на недомерка-врача. Мальчик в середине смотрел только на свои ботинки, а крайний слева не успевал благодарить небеса, что находится в школьной канцелярии, а не в темном переулке. Медсестра, сообразил Руди, была в этой компании пугалом.

— Кто первый? — спросила она.

Ответил ей герр Хекеншталлер, наблюдавший за осмотром. Черный костюм, а не человек. Вместо лица — одни усы. Оглядев мальчиков, он выбрал быстро.

— Шварц.

Незадачливый Юрген Шварц, смущенный до невозможности, стал расстегиваться. Остался только в ботинках и трусах. На его немецкое лицо приливом вынесло несчастную мольбу.

— Ну? — спросил герр Хекеншталлер. — А ботинки?

Мальчик снял ботинки и носки.

— Und die Unterhosen, — сказала медсестра. — И трусы.

И Руди и третий мальчик, Олаф Шпигель, тоже начали раздеваться, но им было еще далеко до бедственного положения Юргена Шварца. Юрген дрожал. Он был на год младше остальных, но выше ростом. Когда его трусы сползли вниз и он остался так в тесной холодной канцелярии, это было уже полное унижение. Самоуважение Юргена упало до щиколоток.

Медсестра пристально разглядывала его, сложив руки на своей опустошительной груди.

Хекеншталлер велел оставшейся парочке пошевеливаться.

Доктор почесал лысину и закашлялся. Его измучила простуда.

Трех голых мальчиков на холодном полу тщательно осмотрели.
Они закрывали срамные места ладонями и дрожали, как будущее.

Между кашлем и хрипами врача их подвергли проверке.

— Вдохнуть. — Хлюп.

— Выдохнуть. — Еще хлюп.

— Руки вперед. — Кашель. — Я сказал, руки *вперед*. — Устрашающий залп кашля.

Как свойственно людям, мальчики все время поглядывали друг на друга, ища взаимного сочувствия. Но его не было. Все трое, отлепив ладони от причинных мест,

вытянули руки. Руди совсем не чувствовал себя представителем расы господ.

— Мы постепенно преуспеваем, — объясняла учителю медсестра, — в создании нового будущего. Новый класс немцев, физически и умственно превосходящих обычных людей. Офицерский класс.

Увы, ее проповедь оборвалась — доктор, сложившись пополам, изо всех сил закашлялся над сброшенными одеждами. На глаза навернулись слезы, и Руди поневоле удивился.

Новое будущее? Как вот этот?

У него хватило благоразумия не сказать это вслух.

Осмотр закончился, и Руди пришлось исполнить первый в жизни «хайльгитлер» в голом виде. С каким-то извращенным удовлетворением он признал, что это совсем не так ужасно.

Лишив мальчиков всякого достоинства, им разрешили одеться, и когда выводили из канцелярии, они услышали начало спора, уже развернувшегося в их честь за их спинами.

— Эти немного постарше, чем обычно, — сказал доктор, — но, думаю, по крайней мере, двое.

Медсестра согласилась:

— Первый и третий.

Трое мальчиков стояли за дверью.

Первый и третий.

— Первым был ты, Шварц, — сказал Руди. И следом спросил Олафа Шпигеля: — А кто третий?

Шпигель произвел какие-то подсчеты. Она имела в виду третьего в ряду или того, кого третьим осматривали? Неважно. Он знал, во что ему хотелось верить.

— Третий, по-моему, ты.

— Ерунда, Шпигель. Ты третий.

*** * * НЕБОЛЬШОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ * * ***

Люди в плащах знали, кто был третьим.

На следующий день после визита на Химмель-штрассе Руди сидел на своем крыльце с Лизель и пересказывал ей весь этот эпос — не упуская даже мельчайших деталей. Он сдался и рассказал все, что произошло в тот день в школе, когда его забрали с урока. Он даже немного посмеялся над необъятной медсестрой и выражением Юргенова лица. Но в целом его рассказ был тревожным, особенно когда дело дошло до голосов на кухне и доминошных трупов.

Много дней Лизель никак не могла выкинуть из головы одну картину.

Осмотр трех мальчиков, а вернее, признавалась она себе, — осмотр Руди.

Она лежала в кровати, скучая по Максусу, гадая, где он сейчас, молясь о его спасении, но где-то среди всего этого стоял Руди.

И рдел в темноте, совершенно голый.

В этом видении сквозил немалый ужас, особенно когда Руди приходилось отнять ладони. Видение смущало, чтобы не сказать большего, но почему-то Лизель не могла от него отвязаться.

НАКАЗАНИЕ

В фашистской Германии не было карточек на наказания, но получить свое обязан был каждый. Для кого-то — гибель на войне в чужой стране. Для других — нищета и бремя

вины, когда война окончилась и по всей Европе сделали шесть миллионов открытий. Многие видели, как наказание их настигает, но лишь малая часть с радостью его принимала. Одним из таких был Ганс Хуберман.

Не годится помогать евреям на улице.

Недолжно прятать их в подвале.

Сначала наказанием для Ганса была совесть. Его травила мысль, что он неосознанно выволок Макса Ванденбурга на поверхность. Лизель видела, как совесть лежит подле Гансовой тарелки, когда он, не притрагиваясь к еде, сидел за столом, или стояла рядом на мосту через Ампер. Ганс больше не играл на аккордеоне. Его серебряноглазый оптимизм получил рану и обездвижел. Уже плохо, но это было только начало.

Однажды в среду в начале ноября в почтовый ящик бросили его подлинное наказание. С виду это была хорошая новость.

* * * БУМАГА НА КУХНЕ * * *

Мы рады сообщить вам, что ваша просьба о вступлении в НСДАП одобрена...

— В Партию? — переспросила Роза. — Я думала, ты им не нужен.

— Так и было.

Папа сел и перечитал письмо.

Его не отдадут под трибунал за подрывную деятельность и укрывание евреев, ничего подобного. Его награждают, как, по крайней мере, показалось бы многим. Как такое возможно?

— Тут должно быть что-то еще.

Именно.

В пятницу пришла повестка — Ганса Хубермана призывают в немецкую армию. Член Партии должен быть счастлив внести свой вклад в ратный подвиг страны, говорилось в бумаге. А если он не счастлив, то, разумеется, будут последствия.

Лизель только что вернулась от фрау Хольцапфель. В кухне было тяжело от суповых паров и пустых лиц Ганса и Розы Хуберман. Папа сидел. Мама стояла над ним, а суп уже пригорал.

— Господи, только бы не в Россию, — сказал Папа.

— Мама, суп горит.

— Что?

Лизель метнулась по кухне и сняла суп с огня.

— Суп. — Успешно спасши кастрюлю, Лизель обернулась и посмотрела на приемных родителей. Лица — как вымершие города. — Пап, что случилось?

Ганс подал ей бумагу, Лизель стала читать, и у нее затряслись руки. Слова, с силой вбитые в лист.

* * * СОДЕРЖАНИЕ ВООБРАЖЕНИЯ ЛИЗЕЛЬ МЕМИНГЕР * * *

В контуженной кухне, где-то возле плиты возникает образ одинокой изработавшейся пишущей машинки.

Она стоит в далекой, почти пустой комнате.

Клавиши вытерлись, чистый лист терпеливо ждет, стоя, как его вложили. Он слегка колышется на сквозняке из окна. Перерыв на кофе почти закончился.

Стопка бумаги высотой в рост человека непринужденно стоит у дверей. Вполне могла бы закурить.

Вообще-то эта машинка привиделась Лизель позже, когда она стала писать. Она задумалась, сколько таких писем было разослано в наказание Гансам Хуберманам и Алексам Штайнерам всей Германии — тем, кто помогал беспомощным и отказывался отдать своих

детей.

Это был признак растущего отчаяния немецкой армии.

Она терпела поражение в России.

Немецкие города бомбили.

Нужно было все больше солдат, как и способов их вербовки, и в большинстве случаев худшие из возможных задач доставались худшим из всех призванных.

Бегая глазами по строчкам, Лизель видела дерево стола через пробитые насквозь кругляши букв. Слова вроде «обязательно» или «долг» были вколочены в бумагу. Нажат спусковой крючок слюны. Нужно стошнить.

— Что это?

Папа отвечал тихо:

— Я думал, что научил тебя читать, девочка моя. — Ни досады, ни ехидства. Голос пустоты, под стать Гансову лицу.

Тогда Лизель посмотрела на Маму.

Под правым глазом у Розы был маленький разрыв, и в минуту ее картонное лицо прорвалось. Не по середине, а справа. Вскоробилось вдоль щеки по дуге, до самого подбородка.

*** * * ЧЕРЕЗ 20 МИНУТ: ДЕВОЧКА НА ХИММЕЛЬ-ШТРАССЕ * * ***

Она смотрит вверх. И говорит шепотом.

— Небо сегодня бледное, Макс. Облака такие мягкие и грустные, и... — Она смотрит вдаль и скрещивает руки. Думает о Папе, который уходит на войну, и вцепляется в бока своего пальто. — И холодно, Макс. Очень холодно...

Через пять дней, когда Лизель вышла по обыкновению оценить погоду, у нее не случилось возможности увидеть небо.

У соседнего дома на крыльце сидела Барбара Штайнер с ее гладко причесанными волосами. Она курила и дрожала. Лизель двинулась к ней, но замерла оттого, что появился Курт. Он вышел из дому и сел рядом с матерью. Увидев, что Лизель остановилась, он позвал:

— Иди сюда, Лизель. Руди сейчас выйдет.

Чуть помедлив, Лизель пошла дальше.

Барбара курила.

На кончике сигареты дрожала морщинка пепла. Курт взял, поплевал, затянулся, передал обратно.

Когда сигарета закончилась, мать Руди подняла глаза. Запустила руку в аккуратные линейки волос.

— Наш папа тоже уходит, — сказал Курт.

Стало быть, помолчали.

Группа ребятишек у лавки фрау Диллер пинала мяч дальше по улице.

— Когда к тебе приходят и просят отдать кого-нибудь из детей, — объяснила Барбара, ни к кому не обращаясь, — ты должен ответить «да».

ЖЕНА СДЕРЖАВШЕГО СЛОВО

*** * * ПОДВАЛ, ДЕВЯТЬ УТРА * * ***

Шесть часов до прощания:

— Я играл на аккордеоне, Лизель. На чужом.

Папа закрывает глаза:

— Весь зал поставил на уши.

Не считая бокала шампанского прошлым летом, Ганс Хуберман лет десять не брал в рот спиртного. Но вот наступил вечер перед отправкой в учебную часть.

В обед Ганс с Алексом Штайнером пришли в «Кноллер» и остались там до позднего вечера. Наплевав на предупреждения жен, оба напились до беспамьятства. Делу помогло и то, что хозяин «Кноллера» Дитер Вестхаймер, выставлял им бесплатную выпивку.

Видимо, пока он был еще трезвым, Ганса пригласили на эстраду поиграть на аккордеоне. К случаю он заиграл печально известное «Мрачное воскресенье»¹⁶ — венгерский гимн самоубийству, — и хотя пробудил ту грусть, которой знаменита эта песня, зал действительно встал на уши. Лизель представила, как это было, как звучало. Жующие рты. Пустые кружки в потеках пены. Мехи вздохнули, и песня кончилась. Люди захлопали. Их залитые пивом рты призывали Ганса обратно к стойке.

Когда они кое-как добрались до дому, Ганс не смог попасть ключом в замок. Тогда он постучал. И еще.

— Роза!

Это была не та дверь.

Фрау Хольцапфель это в восторг не привело.

— Schwein! Ты не туда пришел. — Она вбивала слова в замочную скважину. — Соседний дом, глупый ты свинух.

— Спасибо, фрау Хольцапфель.

— Сам знаешь, куда засунуть свое спасибо, засранец.

— Виноват?

— Давай иди домой.

— Спасибо, фрау Хольцапфель.

— Я что, не сказала тебе, что тебе сделать со своим спасибо?

— А сказали?

(Забавно, что можно сложить из разговора в подвале и сеанса чтения на кухне у вздорной старухи.)

— Исчезни наконец!

Когда Папа в нескором времени оказался дома, он направился не в кровать, а в комнату Лизель. Пьяно стоял в дверях и смотрел, как она спит. Лизель проснулась и немедленно подумала, что это Макс.

— Это ты? — спросила она.

— Нет, — ответил он. Он в точности знал, о чем она думает. — Это Папа.

Он попятился из комнаты, и Лизель услышала его шаги на лестнице в подвал.

В гостиную вдохновенно храпела Роза.

Утром, около девяти, на кухне Лизель получила приказ от Розы:

— Дай-ка мне вон то ведро.

Роза наполнила ведро холодной водой и спустилась с ним в подвал. Лизель двинулась следом, тщетно пытаясь остановить ее.

— Мама, не надо!

— Не надо? — Роза бросила беглый взгляд на девочку. — Или я что-то пропустила, а, свинюха? Теперь ты тут распоряжаешься?

Обе замерли.

Девочка не издала ни звука.

— Я так и думала.

Они спустились и обнаружили Папу на спине, на разостланных холстинах. Он решил, что недостойн Максова матраса.

¹⁶ Песня венгерского композитора Рёсо Шереша (1889–1968), записанная в 1933 г.

— Ну, давай посмотрим... — Роза подняла ведро. — Жив он или нет.

— Езус, Мария и Йозеф!

Мокрое пятно было овалом и протянулось от головы Ганса до середины груди. Волосы слиплись на сторону, и даже с ресниц капало.

— Это за что же?

— Старый пьянчуга!

— Езус...

Его одежда зловеще курилась. Похмелье было видно невооруженным глазом. Оно давило ему на плечи, лежало на них мешком мокрого цемента.

Роза перебросила ведро из левой руки в правую.

— И хорошо, что ты уходишь на войну, — заявила она. Выставила палец и не побоялась тряхнуть им. — Иначе я бы сама тебя убила, не сомневайся.

Папа вытер с горла струйку воды.

— Вот и надо было?

— Надо, надо. — Роза полезла вверх по лестнице. — Не выйдешь через пять минут — получишь еще одно ведро.

Оставшись с Папой в подвале, Лизель принялась подтирать лужу холстиной.

Папа заговорил. Мокрой рукой он удержал девочку. Взял ее за локоть.

— Лизель? — Его лицо приникло к ней. — Как ты думаешь, он жив?

Лизель села.

Скрестила ноги.

Мокрая холстина подтекала ей на колено.

— Надеюсь, Пап.

Это казалось такой глупостью, таким очевидным ответом — но вариантов, похоже, было немного.

Чтобы сказать хоть что-нибудь осмысленное и отвлечь себя и Папу от дум о Максе, Лизель заставила себя присесть и сунула палец в лужицу на полу.

— Guten morgen, Папа.

В ответ Ганс ей подмигнул.

Но не как обычно. Тяжелее, неуклюже. После-Максово, похмельно. Потом он сел и рассказал ей про аккордеон прошлым вечером и про фрау Хольцапфель.

* * * КУХНЯ: ЧАС ДНЯ * * *

Два часа до прощанья:

— Не уезжай, Папа. Пожалуйста. — Ее рука, сжимающая ложку, дрожит. — Сначала Макс ушел. Если и ты уедешь, я не вынесу. — В ответ похмельный мужчина вкапывает локоть в стол и прикрывает правый глаз.

— Ты теперь наполовину женщина, Лизель. — Ему хочется расплакаться, но он борется. Он пройдет через это. — Заботься о Маме, ладно? — Девочка смогла лишь чуть заметно кивнуть, соглашаясь.

— Да, Папа.

Он покинул Химмель-штрассе, прихватив свое похмелье и костюм.

Алекс Штайнер уезжал только через четыре дня. Он зашел к Хуберманам за час до того, как они отправились на вокзал, и пожелал Гансу всего хорошего. Пришла и семья Штайнеров. Все пожали Гансу руку. Барбара обняла его и поцеловала в обе щеки.

— Возвращайся живым.

— Ладно, Барбара. — И сказал он это с полной уверенностью. — Конечно, вернусь. — И даже умудрился посмеяться. — Это ж просто война, так? Одну я уже пережил.

Когда они шли по Химмель-штрассе, жилистая старуха из соседнего дома вышла на улицу и встала на тротуаре.

— До свиданья, фрау Хольцапфель. Извините за вчерашний вечер.
— До свиданья, Ганс, пьяный ты свинух. — Но предложила Гансу и нотку дружбы. — Возвращайся скорее.

— Хорошо, фрау Хольцапфель. Спасибо.

Тут она даже ему подыграла.

— Ты знаешь, куда можешь сунуть свои спасибо.

На углу фрау Диллер настороженно смотрела из витрины своей лавки, и Лизель взяла Папу за руку. Она не выпускала его руку всю Мюнхен-штрассе до самого вокзала. Поезд уже стоял у перрона.

Они остановились на платформе.

Роза обняла его первой.

Без слов.

Ее голова плотно вжалась в грудь Ганса, потом отстранилась.

Теперь девочка.

— Папа?

Молчание.

Не уезжай, Папа. Только не уезжай. Пусть за тобой придут, если ты останешься. Только не уезжай, пожалуйста, не уезжай.

— Папа?

*** * * ВОКЗАЛ, ТРИ ЧАСА ДНЯ * * ***

Ни часов, ни минут до расставания:

Папа обнимает Лизель. Чтобы сказать что-то, сказать хоть *что-нибудь*, он говорит через ее плечо:

— Сможешь приглядеть за моим аккордеоном, Лизель? Я решил его не брать. — Но вот он вспоминает, что вправду важно. — И если еще будут налеты, продолжай читать в убежище.

Девочка чувствует неотвязный признак своей немного увеличившейся груди. Ей больно касаться грудью нижних ребер Ганса.

— Хорошо, Папа. — Она смотрит на ткань его пиджака в миллиметре от своего глаза. И говорит в пиджак. — Ты нам сыграешь, когда вернешься домой?

После этого Ганс Хуберман улыбнулся своей дочери, а поезд приготовился к отправлению. Ганс протянул руку и нежно взял в нее лицо девочки.

— Обещаю тебе, — сказал он и взобрался в вагон.

Тот пополз, а они смотрели друг на друга.

Лизель с Розой махали.

Ганс Хуберман становился все меньше и меньше, и в руке его не было теперь ничего, кроме воздуха.

На платформе люди вокруг постепенно исчезали, пока никого не осталось. Только женщина-комод и тринадцатилетняя девочка.

Следующие несколько недель, пока Ганс Хуберман и Алекс Штайнер были в своих разных ускоренных тренировочных лагерях, Химмель-штрассе словно чем-то набухала. Руди стал другим — он не разговаривал. Мама стала другой — она не бранилась. С Лизель тоже что-то творилось. У нее не возникало желания украсть книгу, как бы она ни убеждала себя, что это ее взбодрит.

После двенадцати дней отсутствия Алекса Штайнера Руди решил, что с него хватит. Он вбежал в калитку и постучал в дверь Лизель.

— Kommst?

— Ja.

Ей было все равно, куда он идет и что задумал, но без нее он никуда не пойдет. Они прошли по Химмель-штрассе, по Мюнхен-штрассе и вышли из Молькинга совсем. Только примерно через час Лизель задала насущный вопрос. До той минуты она только поглядывала на решительное лицо Руди, на прижатые к бокам локти и кулаки в карманах.

— Куда мы идем?

— А разве не ясно?

Лизель старалась не отстать.

— Ну, по правде — не совсем.

— Я собираюсь его разыскать.

— Твоего папу?

— Да. — Руди немного подумал. — Нет. Наверное, я лучше разыщу фюрера.

Шаги ускорились.

— Зачем?

Руди остановился.

— Затем, что я хочу его убить. — Он даже развернулся на месте, к остальному миру. — Слышали, вы, гады? — заорал он. — Я хочу убить фюрера!

Они двинулись дальше и шли так еще пару километров. И вот тогда только Лизель нестерпимо захотелось повернуть назад.

— Руди, скоро стемнеет.

Он продолжал шагать.

— И что?

— Я возвращаюсь.

Руди остановился и посмотрел на нее так, будто она его предала.

— Правильно, книжная воришка. Брось меня. Могу спорить, если бы в конце дороги была какая-нибудь вшивая книжка, ты бы не остановилась. А?

Какое-то время оба молчали, но вскоре у Лизель хватило воли.

— Думаешь, ты один, свинух? — Она отвернулась. — И у тебя только папу забрали...

— Что это значит?

Лизель быстро подсчитала.

Мама. Брат. Макс Ванденбург. Ганс Хуберман. Всех больше нет. И у нее никогда *не было* настоящего отца.

— Это значит, — сказала она, — что я иду домой.

Минут пятнадцать она шагала одна, и даже когда рядом возник Руди, слегка запыхавшийся, с потными щеками, еще больше часа никто не сказал ни слова. Они просто вместе шли домой: ноющие стопы, усталые сердца.

В «Песне во тьме» была такая глава — «Усталые сердца». Романтичная девушка дала клятву верности молодому человеку, но тот, оказалось, удрал с ее лучшей подругой. Лизель точно помнила, что это была глава тринадцать.

«Мое сердце так устало», — сказала та девушка. Она сидела в часовне и писала в дневник.

Нет, думала Лизель, пока они шли. Это мое сердце устало. В тринадцать лет сердцу так не бывает.

Когда дошли до границы Молькинга, Лизель бросила Руди несколько слов. Она увидела «Овал Губерта».

— Помнишь, Руди, как мы там бегали?

— Конечно. Я сам как раз только что про это подумал — как мы оба свалились.

— Ты сказал, что извалялся в говне.

— Там была просто грязь. — Руди уже открыто веселился. — Я извалялся в говне на Гитлерюгенде. Ты все пугаешь, свинюха.

— Ничего не путаю. Я просто говорю тебе то, что ты *сам* сказал. Что говорят и что на

самом деле есть — это обычно две разные вещи, Руди, особенно — у тебя.

Дело пошло на лад.

Когда они вновь оказались на Мюнхен-штрассе, Руди заглянул в окно отцовской мастерской. Перед отъездом Алекс Штайнер обсуждал с Барбарой, стоит ли ей оставить заведение открытым. Решили, что нет, учитывая то, что в последнее время заказов и так было мало, к тому же чем черт не шутит — могли объявиться партийцы. Гешефтмахеры никогда не нравились партийным агитаторам. Человеку должно хватать армейского жалованья.

Внутри рядами висели пиджаки, и в глупых позах стояли манекены.

— По-моему, вон тому ты понравился, — сказала Лизель через некоторое время. Таким способом она Руди напоминала, что пора идти дальше.

На тротуаре Химмель-штрассе вместе стояли Роза Хуберман и Барбара Штайнер.

— Ох Мария, — сказала Лизель. — Посмотри, волнуются?

— Бесятся.

Когда дети подошли, было много вопросов — в основном типа «Где вас обоих черти носят?», но матери быстро сменили гнев на облегчение.

Барбара, однако, потребовала ответа.

— Так что, Руди?

За него ответила Лизель:

— Он убивал фюрера, — и Руди выглядел неподдельно счастливым несколько долгих секунд, так что Лизель успела за него порадоваться.

— Пока, Лизель.

Через несколько часов Лизель слышала шум в гостиной. Он дотянулся до ее кровати. Она проснулась и лежала без движения, воображая приведения, Папу, грабителей, Макса. До нее донеслись открывание и волочение, потом их сменила пушистая тишина. А тишина — всегда величайший соблазн.

Не двигаться.

Лизель подумала эту мысль много раз, но — недостаточно много.

Ее босые ноги отчитывали пол.

Сквозняк сопел в рукава пижамы.

Лизель шла сквозь тьму коридора к молчанию, которое только что было шумным, навстречу нити лунного света, стоявшего в гостиной. Но вот остановилась, чувствуя наготу своих лодыжек и пальцев. Она посмотрела.

Глаза привыкали к темноте дольше, чем она ожидала, а когда привыкли, невозможно было отрицать того, что Роза Хуберман сидит на краю кровати с мужним аккордеоном, пристегнутым к груди. Ее пальцы зависли над клавишами. Она не двигалась. Похоже, даже не дышала.

Эта картина накатила на девочку в коридоре.

*** * * ЖИВОПИСНЫЙ ОБРАЗ * * ***

Роза с аккордеоном.

Лунный свет, темнота.

1 м 52 см × инструмент × тишина.

Лизель стояла и смотрела.

Мимо прокапало много минут. Желание услышать хоть ноту совершенно измучило книжную воришку, но ничего не раздалось. Клавиши не вжались. Меха не вздохнули. Был только лунный свет, как длинная прядь волос в занавеске, и Роза.

Аккордеон висел у нее на груди. Стоило склонить голову — инструмент скользнул на

колени. Лизель смотрела. Она знала, что Мама теперь несколько дней будет ходить с отпечатком аккордеона на теле. И, признав в том, что видит, высокую красоту, она решила не тревожить Розу.

Лизель вернулась в постель и заснула под видение Мамы и ее безмолвную музыку. Позже, когда она проснулась от обычного сновидения и снова прокралась в коридор, Роза все так и сидела, и аккордеон — с ней.

Как якорь, он тянул ее книзу. Ее тело тонуло. Она казалась мертвой.

В таком положении невозможно дышать, подумала Лизель, но когда подошла ближе, расслышала.

Мама снова храпела.

Кому нужны мехи, если есть такая пара легких?

В конце концов, когда девочка вернулась в постель, образ Розы Хуберман с аккордеоном никак не желал покидать ее. Глаза книжной воришки не закрывались. Она ждала удушья сна.

СБОРЩИК

Ни Ганса Хубермана, ни Алекса Штайнера не отправили на фронт. Алекса послали в Австрию, в военный госпиталь под Веной. Учитывая квалификацию в портновском деле, ему дали работу, по крайней мере напоминавшую его гражданское занятие. Каждую неделю прибывали тележки с обмундированием, носками, исподними рубашками, и Алекс чинил то, что требовало починки, даже если вещь могла сгодиться только на белье для солдат, страдающих в России.

Ганса же сначала отправили, по иронии судьбы, в Штутгарт, а после — в Эссен. Его отрядили в одну из самых непопулярных служб на внутреннем фронте. В ЛСЕ.

*** * * НЕОБХОДИМОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ * * ***

LSE

Luftwaffen Sondereinheit — специальное подразделение пассивной ПВО.

Задачей ЛСЕ было оставаться на земле при налетах и тушить пожары, подпирать стены зданий и спасать всех, кто оказался под бомбами. Ганс вскоре узнал, что есть иная расшифровка сокращения. Сослуживцы в первый же день объяснили ему, что на самом деле это значит «Leichensammler Einheit» — Сборщики Мертвецов.

Прибыв в часть, Ганс мог только догадываться, чем эти люди заслужили такую работу, а те, в свою очередь, задавались таким же вопросом про него. Командир, сержант Борис Шиппер спросил напрямую. Когда Ганс объяснил про хлеб, евреев и хлыст, круглолицый сержант коротко рассмеялся.

— Тебе повезло, что ты жив. — Глаза у сержанта тоже были круглые, и он их все время протирал. То они уставали, то чесались, то в них набивалось дыма и пыли. — Не забывай, что здесь мы врага не видим.

Ганс только собрался задать очевидный вопрос, как из-за его спины подъехал чей-то голос. К голосу крепилось узкое лицо молодого человека с похожей на презрительную гримасу улыбкой. Райнхольд Цукер.

— У нас, — сказал он, — враг не за холмом и вообще не в каком-то конкретном направлении. Он повсюду. — Цукер вновь опустил глаза в письмо, которое писал. — Увидишь.

Через несколько суматошных месяцев Райнхольд Цукер погибнет. Его убьет место Ганса Хубермана.

Война все обильнее текла в Германию, и скоро Ганс узнал, что все дежурства на его

службе начинаются одинаково. Людей собирали в грузовике и вкратце рассказывали, что разбомблено за время их отдыха, что, скорее всего, разбомбят в следующий раз и кому с кем работать.

Даже когда не случалось налетов, работы было невпроворот. Они ездили по разбомбленным городам, растаскивали завалы. Грузовик с дюжиной согбленных мужчин в кузове, и все подпрыгивают и проваливаются на каждой несообразности дороги.

С самого начала было ясно, что в машине у каждого есть постоянное место.

Райнхольд Цукер сидел в середине левой скамьи.

Ганс Хуберман сидел у самого борта, куда дотягивался солнечный свет. Он быстро научился уворачиваться от всякого мусора, который на ходу могли выбросить из глубины грузовика. Особое уважение Ганс оказывал окуркам, которые еще горели, пролетая мимо.

*** * * ПИСЬМО ДОМОЙ, ПОЛНЫЙ ТЕКСТ * * ***

Мои дорогие Роза и Лизель, у меня все хорошо.

Надеюсь, вы обе здоровы.

Любящий вас, Папа.

В конце ноября Ганс впервые отведал дымного вкуса настоящего авианалета. Грузовик застрял в битом камне, все кругом бегали и орали. Полыхали пожары и курганами громоздились остовы зданий. Кренились каркасы. Дымовые бомбы торчали из земли, как спички, наполняя легкие города.

В группе Ганса Хубермана было четверо. Они встали в цепь. Передним шел сержант Шиппер, его руки терялись в дыму. За ним — Кесслер, дальше Брунневег, потом Хуберман. Сержант заливал огонь, двое других поливали сержанта, а Ганс для страховки поливал всех троих.

У него за спиной застонало и качнулось какое-то строение.

Оно рухнуло лицом вперед, и край замер в нескольких метрах от Гансовых пяток. Цемент пах, как новенький, на солдат помчалась стена пыли.

— Gottverdammte, Хуберманн! — Голос выпутался из языков пламени. Тут же следом выскочили трое мужчин. Глотки у них забило пеплом. Даже когда забежали за угол, подальше от центра обвала, дымка рухнувшего здания потянулась за ними и туда. Белая и теплая, кралась по пятам.

Сбившись в относительной безопасности, они откашливались и бранились. Сержант повторил свое недавнее восклицание:

— Черт возьми, Хуберман. — Он поскреб свои губы, чтобы расклеить. — Что это за херовина была?

— Обрушилось — прямо позади нас.

— Без тебя знаю. Вопрос в том, какого роста? Судя по всему, этажей десять.

— Нет, командир, по-моему, всего два.

— Езус... — Приступ кашля. — ...Мария и Йозеф. — Сержант принялся выколупывать клейстер пота и пыли из глазниц. — Ну, там уж ничего не попишешь.

Один из четверых отер лицо и сказал:

— Господи, хотел бы я разок оказаться у разбомбленной пивной. До смерти пива охота.

Все откинулись назад.

Каждый почувствовал, как пиво тушит пожар в глотке и смягчает дым. Красивая мечта — и невозможная. Все отлично знали: любое пиво, что течет по тем улицам, — вовсе не пиво, а молочный коктейль или овсянка.

Все четверо были облеплены серо-белыми сгустками пыли. Когда они поднялись во весь рост, чтобы вернуться к работе, мундиры виднелись лишь узкими трещинками.

Сержант подошел к Брунневегу. С силой сбил пыль с его груди. Несколько крепких хлопков.

— Так-то лучше. Ты слегка запылился, дружок. — Брунневег рассмеялся, а сержант

обернулся к новенькому. — Твоя очередь идти первым, Хуберман.

Несколько часов они тушили пожары и выискивали все что можно, чтобы убедить здания не падать. В некоторых случаях, если ломались бока, оставшиеся края торчали локтями. Вот тут Ганс Хуберман был силен. Ему почти в радость было найти тлеющую балку или растрепанный бетонный блок, чтобы подпирать эти локти, дать им какую-нибудь опору.

Руки у него были густо усажены занозами, зубы облеплены прахом обвалов. Губы спеклись от сырой и отвердевшей пыли, и не было ни одного кармана, ни одной тайной складки и ни одной нитки в его одежде, которые бы не покрывала тонкая пленка, оставленная насыщенным воздухом.

Самым тяжелым в их работе были люди.

Время от времени им попадался человек, упорно бредущий сквозь туман, чаще всего — однословный. Они всегда выкрикивали имя.

Иногда — Вольфганг.

— Вы не видели моего Вольфганга?

Они оставляли отпечатки своих рук на Гансовой робе.

— Стефани!

— Ганси!

— Густель! Густель Штобой!

Плотность редела, и по разбитым улицам хромала переключка, иногда кончавшаяся пепельными объятьями или коленопреклоненным воем скорби. Час за часом имена копились, будто сладкие и кислые сны, ожидавшие исполнения.

Опасности сливались в одну. Пыль, дым и бурное пламя. Поврежденные люди. Как и прочим в его подразделении, Гансу требовалось совершенствоваться в искусстве забывания.

— Как дела, Хуберман? — спросил как-то сержант. У него за плечом стоял огонь.

Ганс мрачно кивнул обоим.

На середине дежурства им попался старик, который беззащитно ковылял по улице. Ганс Хуберман, закончив укреплять здание, обернулся и увидел его у себя за спиной — старик стоял и спокойно ждал, пока Ганс обернется. На его лице расписалось кровавое пятно. Потеки спускались на горло и шею. На старике была белая рубашка с темно-красным воротником, и он так держал ногу, будто она стояла рядом.

— Не можете теперь подпереть и меня, молодой человек?

Ганс взял его на руки и вынес из дымки.

*** * * МАЛЕНЬКОЕ ГРУСТНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ * * ***

Я побывал в том городке на той улице, пока старик был еще на руках у Ганса Хубермана.

Небо там серело, как чалая лошадь.

Ганс ничего не заметил, пока не положил старика на островок травы, покрытой бетонной пылью.

— Что такое? — спросил Ганса кто-то из товарищей.

Он смог только показать рукой.

— Ох. — Рука потянула Ганса прочь. — Привыкай, Хуберман.

На остаток дежурства Ганс с головой ушел в работу. Он старался не замечать отдаленного эха зовущих людей.

Часа через два он бежал прочь от здания впереди сержанта и еще двоих. Ганс не глядел под ноги и на бегу споткнулся. Только поднявшись на корточки и увидев, с каким

беспокойством смотрят на препятствие, Ганс понял.

Вниз лицом лежал труп.

Лежал на одеяле из пыли и грязи и закрывал уши.

Мальчик.

Лет одиннадцати или двенадцати.

Они двинулись дальше по улице, и скоро им встретилась женщина, выкрикивающая имя Рудольф. В тумане ее вынесло навстречу четверым солдатам. Хлипкое тело, перекрученное тревогой.

— Вы не видели моего мальчика?

— Сколько ему лет? — спросил сержант.

— Двенадцать.

Ох Иисусе. Ох Иисусе распятый.

Они все подумали так, но у сержанта не хватило духу сказать ей или показать где.

Женщина пыталась пройти сквозь них, но сержант Шиппер ее удержал.

— Ту улицу мы только что прошли, — заверил он. — Там вы его не найдете.

Надломленная женщина еще цеплялась за надежду. То шагом, то бегом она кричала через плечо:

— Руди!

Ганс Хуберман подумал тогда о другом Руди. О том, что с Химмель-штрассе. Пожалуйста, просил он у неба, которого не видел, пусть с Руди все будет хорошо. Закономерно его мысли переметнулись к Лизель и Розе, к Штайнерам и Макс.

Когда они вернулись к остальным, Ганс упал и вытянулся на спине.

— Ну как там было? — спросил кто-то.

Папины легкие наполнились небом.

Через несколько часов, вымывшись, поев и сблевав, Ганс попытался написать подробное письмо домой. Руки не слушались, и ему поневоле пришлось быть кратким. Остальное он, если хватит духу, расскажет на словах, когда вернется и если вернется.

«Мои дорогие Роза и Лизель», — начал он.

На эти пять слов у него ушла не одна минута.

ЕДОКИ ХЛЕБА

Год в Молькинге выдался длинный и полный событий — и вот наконец он подходил к концу.

Последние несколько месяцев 1942-го Лизель поглощали раздумья о трех мужчинах в беде, как она их называла. Она гадала, где они могут быть и что делать.

Однажды днем Лизель вынула из футляра Папин аккордеон и тщательно протерла его тряпкой. И только раз, перед тем как сложить его обратно, Лизель сделала то, чего не смогла Мама. Коснулась пальцем клавиши и тихонько качнула мехи. Роза была права. От этого в комнате только стало еще пустее.

Встречаясь с Руди, Лизель всякий раз спрашивала, какие вести от Алекса Штайнера. Иногда Руди в подробностях пересказывал содержание последнего отцовского письма. По сравнению единственное письмо, полученное Лизель от Папы, как-то разочаровывало.

Ну а про Макса, конечно, оставалось только вообразить.

С великим оптимизмом она представляла, как он шагает один по пустынной дороге. Время от времени рисовала себе, как Макс входит в какие-нибудь двери спасения, обманув, кого нужно, своим поддельным удостоверением.

Эти трое являлись ей повсюду.

В окне класса она замечала Папу. Макс часто сидел рядом с ней у камина. Алекс

Штайнер появлялся, когда она гуляла с Руди: смотрел на них из глубины мастерской, когда они заглядывали туда, бросив велики на тротуаре.

— Смотри, какие костюмы, — говорил ей Руди, упираясь в стекло лбом и ладонями. — Все пропадает.

Странно, только одним из любимых развлечений Лизель стала фрау Хольцапфель. Теперь чтение проходило и по средам: они закончили «Свистуна» в сокращенной водой версии и теперь взялись за «Почтальона снов». Фрау Хольцапфель иногда угощала Лизель чаем, а то и супом, который неизменно бывал лучше Маминого. Не такой водянистый.

Между октябрём и декабрём случился ещё один парад евреев, а потом ещё один. Как и в прошлый раз, Лизель помчалась на Мюнхен-штрассе, но теперь — посмотреть, нет ли среди узников Макса Ванденбурга. Она разрывалась между очевидным желанием увидеть его — чтобы убедиться, что он жив, — и не увидеть, что могло означать любое число исходов, один из которых — свобода.

В середине декабря по Мюнхен-штрассе опять гнали в Дахау кучку евреев и прочих злодеев. Парад номер три.

Руди целеустремленно сходил по Химмель-штрассе к дому № 35 и вернулся с небольшой котомкой и двумя великами.

— Двинули, свиныха?

*** * * СОДЕРЖИМОЕ КОТОМКИ РУДИ ШТАЙНЕРА * * ***
Шесть кусков черствого хлеба, разломанных на четвертинки.

Они укатили вперед колонны, в сторону Дахау, и остановились на пустом отрезке дороги. Руди подал котомку Лизель.

— Набери горсть.

— Сомневаюсь, что это хорошая мысль.

Руди шлепнул ей в ладонь кусок хлеба.

— Так делал твой Папа.

Как тут было спорить? Дело стоило хлыста.

— Надо быстро, тогда не поймают. — Руди начал разбрасывать хлеб. — Так что пошевеливайся, свиныха.

Лизель не могла удержаться. С ее лица не сходила тень усмешки, пока они с ее лучшим другом Руди Штайнером раздавали дороге куски хлеба. Закончив дело, они подхватили велосипеды и спрятались среди новогодних елок.

Дорога была холодная и прямая. В скором времени появились солдаты с евреями.

В тени дерева Лизель смотрела на друга. Как все изменилось — от фруктового вора до подателя хлеба. Светлые волосы Руди хотя и темнели, но были как свеча. Лизель слышала, как у него самого урчит в животе, — и он раздавал хлеб людям.

Это Германия?

Фашистская Германия?

Передний солдат не заметил хлеба — он не был голоден, — а вот передний еврей заметил.

Он протянул заскорузлую руку, подхватил кусок и лихорадочно затолкал его в рот.

Не Макс ли это, подумала Лизель.

Ей было плохо видно, и она подвинулась, чтобы рассмотреть получше.

— Эй! — Руди обозлился. — Не шевелись. Если нас заметят и поймут про хлеб, нам конец.

Девочка полезла дальше.

Один за другим евреи наклонялись и подбирали с дороги хлеб, а из-под еловых лап каждого внимательно рассматривала книжная воришка. Макса среди них не оказалось.

Но радость была недолгой.

Она шелохнулась вокруг, когда один солдат заметил, что кто-то из подконвойных уронил руку к земле. Колонну остановили. Дорогу внимательно осмотрели. Узники жевали, как только могли, быстро и бесшумно. Коллективно глотали.

Конвоир подобрал несколько кусков и осмотрел обе стороны дороги. Узники тоже озирались.

— Вон там!

Один солдат крупным шагом двинулся к девочке под ближним деревом. И тут заметил мальчика. Оба побежали.

Они бежали в разные стороны под стропилами сучьев и высоким потолком леса.

— Лизель, беги, не останавливайся!

— А велики?

— Scheiss drauf! Да насрать, нужны они!

Они бежали без остановки, но через сто метров сгорбленное дыхание солдата настигло Лизель. Оно скользнуло рядом, и Лизель приготовилась к руке-спутнице.

Ей повезло.

Достался только сапог под зад и пригоршня слов.

— Беги отсюда, малявка, нечего тут!

Лизель поднажала и не останавливалась еще добрый километр. Ветки полосовали ее по рукам, сосновые шишки подкатывались под ноги, а вкус новогодней хвои колоколом звучал в легких.

Прошло целых сорок пять минут, прежде чем Лизель вернулась к дороге, где Руди уже сидел и ждал ее возле ржавых великов. Он собрал с дороги остатки хлеба и теперь жевал черствую твердую пайку.

— Я тебе говорил не высовываться, — сказал Руди.

Лизель повернулась задом.

— Посмотри, нету отпечатка?

ТАЙНАЯ КНИГА РИСУНКОВ

За несколько дней до Рождества случился очередной налет, хотя на Молькинг ничего не упало. В новостях по радио сказали, что большинство бомб оказались сброшены вне населенных пунктов.

Но самое важное тут — реакция в подвале Фидлеров. Когда собрались последние завсегдатаи, все притихли в серьезном молчании.

В ожидании смотрели на Лизель.

В ушах у нее громко прозвучал Папин голос.

«Если будут налеты, продолжай читать в убежище».

Лизель выжидала. Нужно было убедиться, что этого все хотят.

За всех высказался Руди:

— Читай, свинюха.

Она открыла книгу, и слова нашли дорожки к каждому, кто был в подвале.

Дома, после того как сирены разрешили людям подняться на землю, Лизель сидела с Мамой на кухне. На Розином лице вперед выступила озабоченность, и совсем немного погодя Мама взяла нож и вышла за дверь.

— Пойдем со мной.

Роза прошагала к своей кровати в гостиной и, отодвинув простыню, обнажила край матраса. На его ребре обнаружился зашитый разрез. Но если не знать о нем заранее,

разглядеть его было никак не возможно. Мама осторожно распорол шов, сунула в прорезь пальцы и забралась рукой в матрас до самого плеча.

Когда рука вынырнула, в пальцах была зажата книга рисунков Макса Ванденбурга.

— Он просил отдать тебе, когда будешь готова, — сказала Роза. — Сначала я думала про твой день рождения. Потом передвинула на Рождество. — Роза Хуберман стояла у кровати, и лицо у нее было странным. Сложенным не из гордости. Разве что — из плотности, из тяжести воспоминания. Она сказала: — По-моему, ты всегда была готова, Лизель. Едва появилась тут, цепляясь за нашу калитку, ты должна была ее получить.

И Роза отдала ей книгу.

Обложка выглядела так:

*** * * «ОТРЯСАТЕЛЬНИЦА СЛОВ» * * ***

Маленькая подборка мыслей для Лизель Мемингер.

Лизель держала книгу мягкими руками. Смотрела.

— Спасибо, Мама.

Она обняла Розу.

Еще ей сильно хотелось сказать Розе Хуберман, что она ее любит. Жалко, что так и не сказала.

В память о прошлых временах Лизель собиралась читать книгу в подвале, но Мама отговорила.

— Макс неспроста там заболел, — объяснила она. — И знаешь что, девочка: тебе я заболеть не позволю.

Лизель читала на кухне.

Красные и желтые бреши в печи.

«Отрясательница слов».

*** * ***

Лизель продвигалась сквозь бесчисленные картинки и рассказы, наброски с подписями. Вроде Руди на пьедестале с тремя золотыми медалями, висящими на шее. А внизу написано: «Волосы цвета лимона». Присутствовал там и снеговик, и список тринадцати подарков, не говоря уже о записях из бесчисленных ночей в подвале и у камина.

Конечно, там было множество мыслей, набросков и снов, относящихся к Штутгарту, Германии и фюреру. А еще — воспоминания о Максовых родных. В конце концов, он не мог их не включить. Должен был.

А потом была страница 117.

Именно там появилась сама Отрясательница Слов.

Это была не то притча, не то сказка. Лизель не могла решить, что именно. Даже спустя несколько дней, когда она посмотрела оба слова в «Словаре Дудена», она так и не смогла выбрать.

На предыдущей странице было небольшое предупреждение.

*** * * СТРАНИЦА 116 * * ***

Лизель, я едва не зачеркнул эту историю. Думал, ты уже слишком большая для таких сказок, но, может, она годится и для больших. Я думал о тебе, о твоих книгах и словах, и мне в голову пришла эта вот странная история. Надеюсь, ты найдешь в ней что-нибудь полезное.

Лизель перевернула страницу.

ЖИЛ-БЫЛ один странный человечек. Он решил, что в его жизни важны будут три вещи:

1. Он будет укладываться волосы не как все, а в другую сторону.
2. Он сделает себе маленькие странные усики.
3. Однажды он будет править миром.

Довольно долго молодой человек бродил, раздумывая, планируя и вычисляя, как ему заполучить мир. И вот однажды его ни с того ни с сего осенило — идеальный план. Он увидел мать, гуляющую с ребенком. Мать долго отчитывала своего мальчика, пока тот наконец не заплакал. А через несколько минут она заговорила с ним очень мягко, и мальчик успокоился и даже улыбнулся. Молодой человек бросился к той матери и обнял ее.

— Слова! — Он ухмыльнулся.

— Что?

Но ответа не было. Он уже убежал.

Да, фюрер решил, что он завоюет мир словами.

— Я ни за что не стану стрелять из ружья, — постановил он. — Мне это не понадобится.

Но безрассудным он не был, отнюдь. Следует отдать ему должное хотя бы в этом. Он вовсе не был глупым. Для начала наступления он замыслил посеять слова в своей стране всюду, где только можно.

Он сажал их день и ночь, ухаживал за ними.

Смотрел, как они растут — и вот однажды густые леса слов зашумели по всей Германии... Она стала страной выращенных мыслей.

ПОКА СЛОВА росли, наш юный фюрер посеял и другие семена — чтобы вырастить знаки, и эти всходы тоже вот-вот должны были зацвести. Время пришло. Фюрер взялся за дело.

Он позвал народ в свое блистательное сердце, заманивая людей самыми красивыми, самыми гнусными словами, что он собрал лесу своими руками и люди пришли.

Их всех ставили на конвейер и прокатывали через безостановочную машину, которая за несколько секунд вкладывала в них всю жизнь. В них заливали слова. Время исчезало, и теперь люди знали все, что им нужно знать. Они попадали под гипноз.

Потом из раздали подходящие знаки, и все стали счастливыми.

Скоро спрос на славные гнусные слова и знаки вырос до того, что потребовалось очень много людей ухаживать за растущими лесами. У некоторых работа была — забираться на деревья и сбрасывать слова тем, кто подбирал их внизу. Собранные слова вливали в остатки фюрерова народа, не говоря уж о тех, кто приходил за добавкой.

Люди, которые лазали на деревья, назывались отрясатели слов.

ЛУЧШИМИ отрясателями становились те, кто понимал истинную силу слов. Они всегда могли залезть выше всех. Одной из таких отрясательниц была маленькая худенькая девочка. Она считалась лучшей в своем лесу, потому что знала, насколько бессильным человек остается БЕЗ слов.

Вот почему она могла залезть выше всех. У нее была жажда. Она жаждала слов.

Но вот однажды она встретила человека, которого презирали в ее стране, хотя он тоже там родился. Они подружались, и когда этот человек заболел, отрясательница слов уронила ему на лицо одну-единственную слезинку. Слезинка была сделана из дружбы — одного слова, — она высохла и превратилась в семечко. Когда девочка в следующий раз пошла в лес, она посадила это семечко среди других деревьев. И стала поливать каждый раз перед работой и после.

Сначала ничего не менялось, но однажды к вечеру, когда дедочка после рабочего дня за отрясанием слов пришла взглянуть, из земли выскочил маленький росток. Девочка долго смотрела на него.

Дерево росло каждый день, быстрее прочих, и наконец, стало самым высоким деревом во всем лесу. Все приходили на него поглядеть. Шептались и ждали... фюрера.

Разгневанный фюрер немедленно объявил, что дерево надо срубить. Тут из толпы выбралась отрясательница слов. Она упала на четвереньки.

— Пожалуйста, — заплакала она, — не надо рубить мое дерево.

Но фюрера это не тронуло. Он не мог позволить себе делать исключения из правил. Отрясательницу слов оттащили прочь, а фюрер повернулся к своему помощнику и сказал:

— Топор, пожалуйста.

ТУТ отрясательница слов вырвалась. И побежала. Она полезла на дерево, и лезла, даже когда топор фюрера заколотил по стволу и добралась до самых высоких ветвей. До нее смутно доносились снизу голоса и стук топора. Мимо проходили облака — словно белые чудища с серыми сердцами. Испуганная, но упрямая отрясательница слов не спускалась. Все ждала, когда дерево начнет падать.

Но оно не шелохнулось.

Прошло много часов, но топор фюрера так и не смог вырубить из ствола дерева ни одной щепочки. Устав до изнеможения, фюрер приказал продолжить другому человеку.

Прошли дни.

Им на смену пришли недели.

Сто девяносто шесть солдат не могли причинить дереву отрясательницы слов никакого вреда.

— Но что она там ест? — спрашивали люди. — Где она спит?

Люди не знали, что другие отрясатели слов бросали ей продукты и она спускалась к нижним ветвям и подбирала их.

ШЕЛ ДОЖДЬ. Шел снег. Сменяли друг друга времена года. Отрясательница слов не спускалась.

Когда последний лесоруб сдался, он крикнул:

— Эй, словотряска! Можешь спуститься! Твое дерево никто не может срубить.

Отрясательница слов, которая едва могла слышать фразы того человека, ответила шепотом. Она подала слова вниз сквозь ветки.

— Нет, спасибо, — сказала она, ибо знала, что дереву не дает упасть только она.

НИКТО не знает, сколько времени миновало, только однажды в тот город пришел новый лесоруб. Он гнулся под тяжестью торбы. Глаза его тащились. Ступни прогибались.

— Дерево? — спрашивал он у людей. — Где дерево?

За ним увязалась толпа, и когда он пришел к дереву, верхние ветви скрылись в облаках. Отрясательница слов едва слышала, как люди кричали снизу, что пришел новый лесоруб положить конец ее дежурству.

— Она не спустится, — говорили люди, — ни к кому.
Они не знали, что этот лесоруб, и не знали, что он никогда не отступает.

Он открыл свою торбу и вынул из нее не топор, а что-то маленькое.

Люди рассмеялись.

— Старым молотком не свалишь дерево! — сказали они.

Молодой человек не слушал. Знай себе шарил в торбе, выискивая гвозди. Взял три гвоздя в тор, а четвертый попробовал забить в ствол дерева. Нижние сучья дерева были уже очень высоко от земли, и человек рассчитал, что ему понадобится четыре гвоздя для ступеней, чтобы добраться до первого сука.

— Посмотрите на этого болвана, — заревел кто-то из зрителей. — Никто не смог свалить дерево топором, а этот думает, что сможет...

И тут зритель примолк.

ПЕРВЫЙ гвоздь вошел в дерево и крепко засел в нем после пяти ударов. Затем вошел второй, и молодой человек начал карабкаться по стволу.

После четвертого гвоздя он оказался в ветвях и полез дальше. Его подмывало крикнуть, что он лезет, но он решил этого не делать.

Казалось, он лез много километров, и прошло немало часов, прежде чем он добрался до вершины дерева, а добравшись, увидел, что отрясательница слов спит, завернувшись в одеяло и в облака.

Много минут он смотрел на нее.

Солнечное тепло нагревало облачную крышу.

Молодой человек протянул руку и тронул девочку за локоть, и отрясательница слов проснулась.

Протерла глаза и долго рассматривала его лицо, а потом заговорила.

— Это и правда ты?

Это с твоей щеки, думала она, я подняла семечко?

Человек кивнул.

Сердце его дрогнуло, и он крепче сцепился в ветки.

— Да, я.

ВДВОЕМ ОНИ сидели на вершине дерева. Ждали, когда рассеются облака, а лишь стоило тем расступиться, они увидели весь лес.

— Он растет, не переставая, — сказала девочка.

— Но и оно тоже. — И молодой человек посмотрел на ветку, державшую его за руку. Тут не поспоришь.

Когда они нагляделись и наговорились, стали спускаться. Одеяла и запасы еды они оставили на вершине.

Люди не верили своим глазам, а в тот момент, когда отрясательница слов и молодой человек ступили на землю, на дереве наконец, начали появляться зарубки топора. Сняжки. Порезы в стволе, и земля вокруг задрожала.

— Оно падает! — закричала молодая женщина. — Дерево падает! — Она была права. Дерево отрясательницы слов начало медленно крениться всем своим многокилометровым ростом. Земля засасывала его, и дерево стонало. Мир встряхнуло, а когда все успокоилось, дерево лежало посреди остального леса. Тот ни за что бы не пострадал, но по крайней мере в нем пролегла тропинка совершенно иного цвета.

Отрясательница слов и молодой человек забрались на горизонтальный ствол. Обходя ветви, они зашагали вперед. А

оглянувшись, увидели, что большинство зевак начали расходиться по своим местам. Кто туда. Кто сюда. По всему лесу.

Но, шагая дальше, несколько раз они останавливались и прислушивались. Им казалось, что они слышат голоса и слова позади, на дереве отрясательницы слов.

Лизель долго сидела за кухонным столом, гадая, кем в том лесу и во всей этой истории был Макс Ванденбург. Свет вокруг нее укладывался. Лизель уснула. Мама отправила ее в постель, и девочка легла, прижимая к груди Максону книгу.

Через несколько часов, проснувшись, она получила ответ на свой вопрос.

— Ну конечно, — прошептала она. — Конечно, я знаю, где он там. — И она снова уснула.

Снилось ей то дерево.

КОЛЛЕКЦИЯ КОСТЮМОВ АНАРХИСТА

*** * * ХИММЕЛЬ-ШТРАССЕ, 35, 24 ДЕКАБРЯ * * ***

В отсутствие обоих отцов Штайнеры пригласили Розу и Труди Хуберман, а также Лизель к себе.

Придя, они застали Руди за объяснением своего костюма.

Он посмотрел на Лизель, и рот у него открылся еще шире, хоть и самую малость.

Дни перед Рождеством 1942 года выдались плотные и тяжелые от снега. Лизель много раз перечла «Отрясательницу слов»: и саму историю, и множество набросков и комментариев до и после. В сочельник она решила насчет Руди. И плевать, что поздно.

Лизель пришла к соседям как раз перед самой темнотой и сказала Руди, что приготовила ему рождественский подарок.

Руди посмотрел на ее руки, потом на землю по бокам от ее ног.

— Ну и где же он, к черту?

— Ну и отстань.

Но Руди понял. Он видел Лизель такой и прежде. Шалые глаза и липкие пальцы. Ее окутывало дыхание воровства, и Руди чуял его.

— Ага, подарок, — заключил он. — Его у тебя еще нет, так?

— Нет.

— И ты не будешь его покупать.

— Конечно нет. Ты что, думаешь, у меня есть деньги? — Снег еще сыпал. На краю травы битым стеклом намерз лед. — У тебя есть ключ? — спросила Лизель.

— От чего? — Впрочем, Руди соображал недолго. Он ушел в дом и скоро вернулся. И сказал словами Виктора Хеммеля: — Пора за покупками.

Свет быстро таял; кроме церкви, все заведения на Мюнхен-штрассе закрылись на Рождество. Лизель шагала торопливо, чтобы попасть в ногу со своим голенастым соседом. Подошли к намеченной витрине. STEINER — SCHNEIDERMEISTER. На стекле застыл тонкий слой грязи и копоты, нанесенных за много недель. По ту сторону манекены замерли, как свидетели. Серьезные и нелепо франтоватые. Трудно отделаться от чувства, что они все видят.

Руди сунул руку в карман.

Был сочельник.

Его отец находился под Веной.

Руди казалось: отец был бы не против, если они проникнут в его драгоценную мастерскую. Этого требовали обстоятельства.

Дверь бегло отворилась, и они вошли. Первым побуждением Руди было щелкнуть выключателем, но электричество уже отключили.

— Свечка есть?

Руди переполошился:

— Я же ключ принес. И вообще, это ты придумала.

Посреди этого спора Лизель споткнулась о какой-то бугор в полу. Следом за ней полетел манекен. Зацепился за ее руку и, навалившись на Лизель, распался на части внутри костюма.

— Сними с меня эту дрянь! — Четыре куска. Торс с головой, ноги и две отдельных руки. Избавившись от него, Лизель поднялась и просипела: — Езус, Мария.

Руди поднял манекеновую руку и похлопал ею Лизель по плечу. Девочка испуганно обернулась, а Руди дружески протянул ей ладонь.

— Приятно познакомиться.

Несколько минут они медленно продвигались по тесным тропинкам мастерской. Руди направился к прилавку. Споткнувшись о пустой ящик и растянувшись, взвизгнул и выругался, потом вернулся ко входу.

— Ерунду затеяли, — сказал он. — Подожди минутку. — Лизель сидела, сжимая манекенову руку, пока Руди не вернулся с зажженной церковной лампадой.

Его лицо замыкалось в кольце света.

— Ну так где этот подарок, которым ты хвалилась? Если кто-нибудь их этих жутких манекенов, то лучше не надо.

— Дай мне свет.

Руди пробрался в дальний левый отдел лавки, и Лизель, взяв в руку лампаду, другой принялась перебирать костюмы на вешалке. Вытянула было один, но быстро передумала.

— Не, этот великоват. — Еще две прикидки, и Лизель повернулась к Руди с темно-синим костюмом в руках. — Вот этот вроде твоего размера, а?

Лизель сидела в темноте, а Руди примерял костюм за шторкой. Кружок света и одевающаяся тень.

Вернувшись, он поднял лампаду повыше, чтобы Лизель могла посмотреть. Высвободившись из шторки, свет встал столбом, сияя на элегантном костюме. Осветил он и грязную рубашку, и разбитые ботинки.

— Ну как? — спросил Руди.

Лизель разглядывала его основательно. Обошла кругом и пожала плечами.

— Неплохо.

— *Неплохо!* Я выгляжу гораздо лучше, чем неплохо.

— Ботинки подкачали. И рожа.

Руди поставил лампаду на прилавок и кинулся на Лизель в притворной ярости — и тут Лизель поймала себя на том, что ей как-то не по себе. Когда Руди споткнулся и рухнул на униженный манекен, девочке стало и легче, и разочарованнее.

Руди с полу рассмеялся.

Потом закрыл глаза, крепко зажмурил.

Лизель метнулась к нему.

Склонилась.

Поцелуй его, Лизель, поцелуй.

— Руди, ты что? Руди?

— Я скучаю по нему, — сказал мальчик в сторону, по-над полом.
— Frohe Weihnachten, — ответила Лизель, помогая ему подняться и одергивая на нем костюм. — С Рождеством.

ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЧУЖАК»

с участием:

нового искушения — картежника — снегов Сталинграда — нестареющего брата — аварии — горького привкуса вопросов — набора инструментов, окровавленного и медведя — разбитого самолета — и возвращения домой

НОВОЕ ИСКУШЕНИЕ

В этот раз — печенье.
Только черствое.

Это были Kipferl,¹⁷ оставшиеся от Рождества, и они простояли на столе по меньшей мере две недели. Нижние — как прибитые к блюду подковки, обмазанные сахарной глазурью. На них вязким холмиком высились остальные. Лизель учуяла печенье, едва ухватившись за край подоконника. Комната со вкусом сахара и теста — и тысяч страниц.

Никакой записки не было, но Лизель быстро смекнула, что за этим опять стоит Ильза Герман, а печенье, конечно, вряд ли могло дожидаться там кого-то другого. Лизель вернулась к окну и сквозь щель просунула шепот. Имя шепота было Руди.

В тот день они пришли пешком — ехать на велосипедах было слишком скользко. Руди стоял под окном на карауле. На оклик Лизель над подоконником возникло его лицо, и девочка подала ему блюдо. Уговаривать Руди Штайнера не пришлось.

Взглядом своим он уже пировал, но все же задал несколько вопросов:

— А еще что-нибудь есть? Молоко?

— Что?

— *Молоко*, — повторил Руди, уже чуть громче. Если он и уловил в голосе Лизель оскорбленную ноту, то никак этого не выдал.

Над ним снова взошло лицо книжной воришки.

— Ты что, дурак? Дай мне спокойно стащить книгу!

— Да ясно... Я просто говорю, что...

Лизель двинулась к дальней полке, скользнула за письменный стол. В верхнем ящике нашла бумагу и ручку, написала «Спасибо» и оставила записку на столе.

Справа от нее с полки выступала книга — торчала костью. Темные буквы едва ли не как шрамы тянулись по бледному корешку. «Die Letzte Menschliche Fremde» — «Последний человеческий чужак». Книга тихо шепнула что-то, когда Лизель потянула ее с полки. Просыпалась пыль.

У окна, когда девочка уже собиралась выскользнуть прочь, дверь библиотеки скрипнула.

Лизель уже вскинула колено, а ее преступная рука легла на оконный переплет. Оглянувшись на звук, она увидела жену бургомистра в новеньком халате и шлепанцах. Нагрудный карман халата украшала вышитая свастика. Пропаганда добралась уже до ванн.

Они посмотрели друг на друга.

Лизель повела взглядом на грудь Ильзы Герман и вскинула руку.

¹⁷ Рогалики, печенье-подковки (нем.).

— Heil Hitler.

Она уже собиралась улизнуть, когда ей в голову пришла вдруг одна мысль.

Печенье.

Стояло тут не одну неделю.

Это значит, что, если в библиотеке бывал сам бургомистр, он, конечно, видел и печенье. И наверное, спросил, для чего оно тут. Или — как только Лизель это подумала, ее затопила какая-то странная радость — может, это была вовсе не библиотека бургомистра, а ее библиотека. Ильзы Герман.

Девочка не понимала, отчего это важно, но ей понравилось, что комната, полная книг, принадлежит бургомистровой жене. Ведь эта женщина и привела сюда Лизель в первый раз, впервые открыла ей — причем буквально — окно. Вот так много лучше. Так все сходится.

И прежде чем двинуться с места, Лизель, ставя все на место, спросила:

— Это ваша комната, правда?

Жена бургомистра подобралась.

— Когда-то мы читали здесь с сыном. А потом...

Лизель потрогала рукой воздух у себя за спиной. Увидела мальчика и его мать, которые читают на полу, и малыш тычет пальцем в картинки и слова. Потом она увидела войну под окном.

— Я знаю.

Снаружи вошло восклицание.

— Что ты сказала?

Лизель резким шепотом ответила через плечо:

— Молчи, свинух, и следи за улицей. — А Ильзе Герман она плавно протянула другие слова. — Так, значит, все эти книги...

— В основном — мои. Некоторые — мужа, некоторые были сына, как ты знаешь.

Теперь смущение возникло со стороны Лизель. У нее вспыхнули щеки.

— Я всегда думала, что это комната бургомистра.

— Почему? — Женщина как будто удивилась.

Лизель заметила, что на носках тапочек у нее тоже свастики.

— Ну, он же бургомистр. Я думала, он много читает.

Женщина сунула руки в карманы халата.

— В последнее время эта комната полезнее всего была для тебя.

— Вы читали вот это? — Лизель протянула «Последнего человеческого чужака».

Женщина присмотрелась к заглавию.

— Читала, да.

— Интересно?

— Ничего.

Лизель не терпелось сбежать, но вместе с тем она понимала, что, как никогда, должна задержаться. Открыла рот, но доступных и слишком быстрых слов было слишком много. Раз за разом девочка пробовала ухватить какое-нибудь, но бургомистрова жена взяла инициативу на себя.

Она увидела за окном лицо Руди, а точнее — его пламенные волосы.

— Наверное, тебе пора, — сказала она. — Он тебя заждался.

По пути домой они ели.

— Там точно ничего больше не было? — спросил Руди. — Поди было.

— Нам и с этим уже повезло. — Лизель внимательно посмотрела на подарок в руках у Руди. — Скажи честно. Ел, пока я была там?

Руди возмутился:

— Эй, это же ты вор тут, а не я.

— Не брещи, свинух, у тебя сахар на губе.

В панике Руди перехватил блюдо одной рукой, а другой испуганно отер губы.

— Ни одного не съел, клянусь.

Половина печенья исчезла еще до того, как вышли на мост, а остатком они поделились на Химмель-штрассе с Томми Мюллером.

Когда всё доели, остался только один вопрос, и его задал Руди.

— Что будем делать с этим чертовым блюдом?

КАРТЕЖНИК

Примерно в то же время, когда Руди с Лизель ели печенье, в городке недалеко от Эссена играли в карты свободные от дежурства солдаты ЛСЕ. Они только что вернулись из длительной поездки в Штутгарт и теперь играли на сигареты. Райнхольду Цукеру не везло.

— Клянусь, он мухлюет, — бормотал он. Солдаты сидели в сарае, который служил им казармой, и Ганс Хуберман только что выиграл третий кон подряд. Цукер с досады швырнул карты на стол и запустил в сальные волосы трезубец грязных ногтей.

*** * * КОЕ-ЧТО О РАЙНХОЛЬДЕ ЦУКЕРЕ * * ***

Ему двадцать четыре. Когда выигрывает кон в карты, он злорадствует — подносит тонкие цилиндрики табака к носу и жадно тянет ноздрями.

— Запах победы, — говорит он.

Да, и вот еще что. Он умрет с открытым ртом.

В отличие от молодого человека по левую руку, Ганс Хуберман не злорадствовал, выигрывая. Он даже великодушно вернул всем товарищам по одной сигарете и поднес огня. Предложение приняли все, кроме Цукера. Тот схватил подношение и швырнул обратно в середину перевернутого ящика.

— Не надо мне твоих подачек, старик. — Встал и вышел.

— Что это с ним? — спросил сержант, но никто не потрудился ответить. Райнхольд Цукер был просто двадцатичетырехлетним мальчишкой, которому, хоть тресни, не везло в карты.

Не проиграй Цукер своих сигарет Гансу Хуберману, он не стал бы презирать Ганса. А не презирай он его, не занял бы место Хубермана в грузовике через несколько недель на вполне безобидной дороге.

Одно место, двое мужчин, короткий спор и я.

Убиться легче, как люди гибнут.

СНЕГА СТАЛИНГРАДА

В середине января 1943 года Химмель-штрассе была сама собой — темным и унылым коридором. Лизель закрыла калитку, дошла до дверей фрау Хольцапфель и постучала. Открывший ее удивил.

Сначала Лизель подумала, что это сын фрау, но мужчина не походил ни на одного из двух братьев на фотографиях в рамке у двери. К тому же он выглядел слишком старым, хотя сказать трудно. Щеки его пестрила щетина, а глаза словно кричали от боли. Из рукава шинели спадала забинтованная рука, и сквозь повязку проступали кровавые вишни.

— Знаешь, ты приходи, наверное, попозже.

Лизель попыталась заглянуть ему за спину. И уже хотела было позвать фрау Хольцапфель, но мужчина загородил ей путь.

— Детка, — сказал он, — приходи попозже. Я за тобой зайду. Где ты живешь?

Через три с лишним часа к номеру 33 по Химмель-штрассе прибыл стук в дверь — и

перед Лизель стоял тот мужчина. Кровавые вишни превратились в сливы.

— Она тебя ждет.

Снаружи, в сером ворсистом свете Лизель, не удержавшись, спросила, что у него с рукой. Мужчина шумно выпустил воздух через ноздри — один слог, — потом ответил:

— Сталинград.

— Простите? — Говоря, мужчина щурился в ветер. — Я не расслышала.

Он повторил — уже громче, и теперь расширил ответ:

— С рукой у меня Сталинград. Мне прострелили бок и оторвало три пальца. Я ответил на твой вопрос? — Он сунул здоровую руку в карман и передернулся от презрения к немецкому ветру. — Наверное, думаешь, здесь у нас холодно?

Лизель потрогала стену рядом. И не смогла соврать.

— Холодно, конечно.

Мужчина рассмеялся:

— Это не холод. — Он вытянул сигарету и сунул в рот. Одной рукой попробовал зажечь спичку. В такое ненастье это было бы трудно и с двумя руками, а уж с одной просто невозможно. Он выронил коробок и ругнулся.

Лизель подняла.

Взяла у него сигарету и сунула в рот. Но тоже не смогла прикурить.

— Надо тянуть в себя, — объяснил мужчина. — В такую погоду горит, только если затягиваешься. Verstehst?

Лизель попробовала еще, пытаясь вспомнить, как это делал Папа. Теперь ее рот наполнился дымом. Дым вскарабкался ей в зубы, расцарапал горло, но она удержалась и не закашлялась.

— Отличная работа. — Забрав сигарету и затянувшись, мужчина протянул Лизель здоровую руку, левую. — Михаэль Хольцапфель.

— Лизель Мемингер.

— Ну, идешь читать моей матери?

В этот миг за спиной Лизель возникла Роза, и девочка затылком ощутила ее потрясение.

— Михаэль? — спросила Мама. — Это ты?

Михаэль Хольцапфель кивнул.

— Guten Tag, фрау Хуберман, давно мы не виделись.

— Ты стал такой...

— Старый?

Роза еще не оправилась от потрясения, но быстро взяла себя в руки.

— Не хочешь зайти? Смотрю, ты познакомился с моей приемной дочкой... — Ее голос увял, когда она увидела окровавленную руку.

— А брат погиб, — сказал Михаэль Хольцапфель, и даже своим действующим кулаком он не мог бы нанести удара сильнее. Потому что Роза пошатнулась. На войне, конечно, убивают, но земля всегда качается под ногами, если убивают того, кто когда-то жил и дышал рядом. Оба мальчика Хольцапфелей выросли у Розы на глазах.

Постарелый молодой человек как-то сумел перечислить случившееся, не теряя присутствия духа.

— Я был в здании, где наши разместили госпиталь, и тут его принесли. За неделю до моего отъезда домой. Три дня я сидел около него, а потом он умер...

— Прости. — Будто не Розин язык это сказал. В тот вечер за спиной Лизель стояла какая-то другая женщина, но Лизель не смела оглянуться.

— Пожалуйста. — Михаэль остановил ее. — Не говорите больше ничего. Можно я заберу девочку читать? Сомневаюсь, что мать услышит хоть слово, но она просила ее привести.

— Да, бери.

Они дошли до середины дорожки, и тут Михаэль Хольцапфель опомнился и вернулся.

— Роза? — Секунда ожидания, пока Мама снова расширит дверную щель. — Я слышал, ваш сын там. В России. Я случайно встретил земляков из Молькинга, и они мне сказали. Но вы, конечно, и сами уже знаете.

Роза попыталась отменить его уход. Выскочила и схватила его за рукав.

— Нет. Он раз ушел отсюда и больше не объявлялся. Мы пытались его искать, но потом так много всего случилось, тут было...

Но Михаэль Хольцапфель намеревался бежать. Ему никак не хотелось бы выслушивать еще одну слезную историю. Подаваясь прочь, он сказал:

— Насколько я знаю, он жив. — Он догнал Лизель у калитки, но девочка не пошла с ним. Она следила за Розиным лицом. Которое вскинулось и рухнуло одновременно и вдруг.

— Мама?

Роза махнула рукой.

— Иди.

Лизель не двигалась.

— Иди, я сказала.

Когда Лизель нагнала вернувшегося солдата, тот попробовал завязать беседу. Наверное, пожалел, что проговорился Розе, и теперь хотел скрыть ошибку под ворохом новых слов. Приподняв забинтованную руку, он сказал:

— Все никак не перестает кровить. — Лизель была рада поскорее войти в кухню фрау Хольцапфель. Чем быстрее начнет читать, тем лучше.

Старуха сидела со струями влажной проволоки на лице.

Сын погиб.

Но это была только половина.

Она никогда не узнает, как это случилось, но могу сказать вам, не дожидаясь вопросов, что одному из нас это известно. Кажется, я всегда знаю, что произошло, когда вокруг снег, пушки и разные смещения человеческого языка.

Когда я представляю со слов книжной воришки кухню фрау Хольцапфель, я не вижу ни плиты, ни деревянных ложек, ни водозаборной колонки. Во всяком случае, сначала. А вижу я русскую зиму и снег, падающий с потолка, и еще судьбу второго сына фрау Хольцапфель.

Его звали Роберт, и случилось с ним вот что.

* * * МАЛЕНЬКАЯ ВОЕННАЯ ПОВЕСТЬ * * *

Взрывом ему оторвало обе ноги ниже колен, и он умер на глазах брата в холодном просмерделом госпитале.

Россия, 5 января 1943 года, очередной ледяной день. Среди улиц и снега повсюду лежали мертвые русские и немцы. Кто еще был жив, стрелял в чистые страницы перед собою. Сплетались три языка. Русский, пулевой, немецкий.

Пробираясь среди павших душ, я услышал, как один человек говорит:

— У меня в животе чешется. — Он повторил это много раз. Несмотря на шок, он полз вперед, к темной обесфигуренной фигуре, пролившейся наземь. Когда солдат с раненым животом подполз, он узнал Роберта Хольцапфеля. Руки у Роберта были залеплены кровью, и он нагребал снег себе на ноги ниже колен — туда, где ног, оторванных последним взрывом, уже не было. Горячие руки и красный вопль.

От земли шел пар. Вот как выглядит и пахнет гниющий снег.

— Это я, — сказал Роберту солдат. — Петер. — И он с трудом подполз на несколько сантиметров ближе.

— Петер? — переспросил Роберт пропадающим голосом. Должно быть, почувствовал рядом меня.

И еще раз.

— Петер?

Почему-то умирающие всегда задают вопросы, на которые знают ответ. Может, затем, чтобы умереть правыми.

Вдруг все голоса зазвучали одинаково.

Роберт Хольцапфель завалился направо, на холодную парящую землю.

Не сомневаюсь, он рассчитывал сию же минуту встретиться со мной.

Не случилось.

К несчастью для юного немца, я не забрал его в тот день. Я перешагнул через него с другими несчастными душами на руках и двинулся обратно к русским.

Туда-сюда — так я и бродил.

Разобранные люди.

Уверяю вас, далеко не лыжная прогулка.

Как сказал матери Михаэль, только через три очень долгих дня я пришел за солдатом, не доволоким ноги из Сталинграда. Я пришел в полевой госпиталь, где меня заждались, и скривился от запаха.

Человек с забинтованной рукой обещал безмолвному солдату с ошеломленным лицом, что тот выживет.

— Тебя скоро отправят домой, — уверял первый.

Да уж, домой, подумал я. Навсегда.

— Я подожду, — продолжал тот, с рукой. — Я должен ехать в конце недели, но я подожду.

В середине братниной следующей фразы я забрал душу Роберта Хольцапфеля.

Обычно, когда я прихожу в дома, приходится стараться, видеть сквозь потолок, но в том здании мне повезло. Кусочек крыши уничтожили, и можно было смотреть прямо вверх. В метре от меня еще что-то говорил Михаэль Хольцапфель. Я старался не обращать на него внимания и глядел в дыру над собой. Небо там белое, но быстро пачкалось. Как всегда, оно превращалось в громадную холстину. Сквозь него сочились кровь и заплатками возникали облака, грязные, как отпечатки ног в тающем снегу.

Ног? — спросите вы.

Да, интересно, чьих же.

На кухне фрау Хольцапфель Лизель читала. Страницы брели, никем не услышанные, и в моих глазах, когда русские пейзажи растворяются, снег не перестает падать с потолка.

Ложится на чайник, а также на стол. И на людях тоже снежные лоскуты — на головах, на плечах.

Брат ежится.

Женщина плачет.

А девочка продолжает читать, ведь именно затем она здесь, и хорошо быть хоть в чем-то полезным там, где случились снега Сталинграда.

НЕСТАРЕЮЩИЙ БРАТ

Лизель Мемингер оставалось несколько недель до четырнадцати.

Папа все не возвращался.

Лизель провела еще три сеанса чтения опустошенной женщине. И много раз видела по ночам, как Роза сидит с аккордеоном и молится, упершись подбородком в мехи.

Вот теперь, решила девочка, пора. Раньше ее обычно утешали кражи, но сегодня будет возвращение.

Лизель полезла под кровать и вынула блюдо. Торопливо помыла его на кухне и выбралась из дому. Приятно было идти по городу. Воздух острый и плоский, как «варчен»

кровожадной учительницы или монахини. Ее ботинки — единственный звук на Мюнхен-штрассе.

Когда она шла по мосту, за тучами уже закопошились слухи солнечного света.

У дома № 8 по Гранде-штрассе Лизель поднялась на крыльцо, положила блюдо и постучала, а когда дверь открылась, девочка была уже за углом. Она не оглядывалась, но знала, что, если оглянется, снова увидит у подножья крыльца брата — с полностью зажившим коленом. И даже расслышит голос.

— Вот так-то лучше, Лизель.

С великой грустью Лизель поняла, что брату всегда будет шесть, — но, подумав так, она изо всех сил постаралась улыбнуться.

Она задержалась у Ампера, на мосту, где, бывало, стоял, свесившись, Папа.

Все улыбалась и улыбалась, а когда изнутри все вышло, Лизель двинулась домой, и брат больше не забирался в ее сны. Она еще будет скучать по нему по-разному, но никогда не сможет заскучать по мертвым глазам, глядящим в пол вагона или кашлю, который убивает.

В ту ночь книжная воришка лежала в постели, и мальчик появился перед тем, как она закроет глаза. Он был одним из множества действующих лиц, ведь в этой комнате ее всегда посещали. Входил Папа и называл ее наполовину женщиной. Макс писал в углу «Отрясательницу слов». У дверей стоял голый Руди. Бывало, и мать появлялась на прикроватном перроне. И где-то далеко в комнате, что растянулась как мост к безымянному городку, играл в кладбищенском снегу ее брат Вернер.

Дальше по коридору метрономом видений храпела Роза, и Лизель Мемингер лежала без сна — в компании, но с цитатой из своей последней книги.

*** * * «ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЧУЖАК», СТРАНИЦА 38 * * ***

Городская улица была полна людей, но одиночество чужака не стало бы сильнее, даже если бы улица совсем опустела.

Когда настало утро, видения исчезли, а из гостиной до Лизель донесся тихий перечень слов. Роза сидела с аккордеоном и молилась.

— Пусть они вернуться живыми, — повторяла она. — Господи, прошу тебя. Все они. — Даже морщинки вокруг ее глаз складывали ладони.

Аккордеон делал ей больно, должно быть, но Роза оставалась.

Роза никогда не расскажет Гансу об этих минутах, но Лизель верила, что это Розины молитвы помогли Папе спастись, когда грузовик ЛСЕ попал в аварию в Эссене. А если и не помогли, вреда от них уж точно не было.

АВАРИЯ

Стоял удивительно ясный день, отряд ЛСЕ грузился в машину. Ганс Хуберман только что опустился на свое постоянное место. Над ним остановился Райнхольд Цукер.

— Подвинься, — сказал он.

— Bitte? Извини?

Цукер горбился под пологом грузовика.

— Я сказал, подвинься, засранец. — Перепутанные сальные волосы падали ему на лоб слипшимися комьями. — Я меняюсь с тобой местами.

Ганс растерялся. Крайнее сзади место было, пожалуй, неудобнее всех. Самое продуваемое, самое холодное.

— Зачем?

— Какая разница? — Цукер начал терять терпение. — Может, я хочу первым выскочить в сортир.

Ганс мигом понял, что остальные уже забавляются этой жалкой сварой двух, казалось бы, взрослых людей. Ему не хотелось проигрывать, но и мелочиться не хотелось. К тому же они только что закончили изнурительное дежурство, и у Ганса не осталось сил на такие пустяки.

Согнув спину, он прошел на свободное место в середине борта.

— Зачем ты уступил этому «шайскопфу»?¹⁸ — спросил его сосед.

Ганс чиркнул спичкой и предложил собеседнику затянуться.

— Там такой сквозняк, что уши насквозь продувает.

Оливково-зеленый грузовик катил в часть, что располагалась километрах в восьми. Брунневег рассказывал анекдот про французскую официантку, когда пробило левую переднюю шину и водитель потерял управление. Машина несколько раз перевернулась, солдаты ругались, кувыркаясь в воздухе, свете, мусоре и табачной взвеси. Синее небо снаружи становилось то полом, то потолком, пока люди барахтались, пытаясь за что-нибудь уцепиться.

Когда кручение закончилось, все свалились в кучу у правого борта, расплющивая лица о грязные роботы друг друга. По кругу пошли вопросы о здоровье, и вдруг один солдат по имени Эдди Альма завопил:

— Снимите с меня этого козла! — Он произнес это три раза, не переводя дух. Он смотрел не отрываясь в немигающие глаза Райнхольда Цукера.

*** * * УЩЕРБ, ЭССЕН * * ***

Шестеро обожглись сигаретами.

Две сломанные руки.

Несколько сломанных пальцев.

Сломанная нога Ганса Хубермана.

Сломанная шея Райнхольда Цукера, хрустнувшая почти на стыке с черепом под ушами.

Они выволакивали друг друга, пока в кузове не остался только мертвец.

Водитель, Хельмут Брехман, сидел на земле и чесал в голове.

— Шина, — объяснял он, — взяла и лопнула.

Некоторые сидели рядом и в один голос повторяли, что он не виноват. Другие ходили вокруг, курили и спрашивали друг друга, достаточно ли тяжелы травмы, чтобы их освободили от службы. Еще одна небольшая группа собралась у заднего борта грузовика и разглядывала труп.

Неподалеку под деревом в ноге Ганса Хубермана раскрывалась тонкая полоска острой боли.

— Это должен был быть я, — сказал он.

— Что? — крикнул сержант от грузовика.

— Он сидел на моем месте.

Хельмут Брехман пришел в себя и заполз обратно в кабину. Лежа, попробовал завести мотор, но двигатель так и не ожил. Послали за другим грузовиком и санитарной машиной. Санитарная машина не пришла.

— Понятно, что это значит, да? — спросил Борис Шиппер. Им было понятно.

¹⁸ От нем. Scheisskopf — придурок.

Когда они продолжили путь в лагерь, каждый старался не смотреть на открытый, будто в ухмылке, рот Райнхольда Цукера.

— Говорил вам перевернуть его вниз лицом, — напомнил кто-то.

Время от времени кто-нибудь забывался и ставил на тело ногу. Когда приехали, все старались увильнуть от выгрузки трупа. А после выгрузки Ганс Хуберман сделал несколько коротких шагов, и тут его нога взорвалась болью и он рухнул на землю.

Через час Ганса осмотрел врач и сказал ему, что нога несомненно сломана. Случившийся поблизости сержант полуусмехнулся.

— Ну, Хуберман, похоже, ты навоевался, а? — Он потряс круглым лицом, полыхал сигареткой и развернул список того, что будет дальше. — Ты отлежишься. Меня спросят, что с тобой делать. Я скажу, что ты отлично работал. — Сержант выпустил еще немного дыма. — И пожалуй, скажу, что ты больше не годишься для службы в ЛСЕ и тебя надо опарить в Мюнхен писарем в контору или уборщиком, где это понадобится. Ну, как тебе?

Не в силах удержаться от смеха между гримасами боли, Ганс ответил:

— Отлично, сержант.

Борис Шиппер докурил.

— Еще бы не отлично, черт подери. Тебе повезло, что ты мне нравишься, Хуберман. Тебе повезло, что ты хороший мужик и не жмешь курево.

В соседней комнате разводили гипс.

ГОРЬКИЙ ПРИВКУС ВОПРОСОВ

Через неделю после дня рождения Лизель в середине февраля они с Розой наконец получили подробное письмо от Ганса Хубермана. От почтового ящика Лизель мчалась домой бегом и сразу бросилась с письмом к Маме. Роза велела ей прочесть письмо вслух, и обе не смогли скрыть радость, когда Лизель читала про сломанную ногу. Следующая фраза ошарашила ее настолько, что девочка прочитала ее только про себя.

— Что там? — нажала на нее Роза. — Свинюха?

Лизель подняла глаза от письма и едва не закричала.

Сержант Шиппер был верен своему слову.

— Он едет домой, Мама. Папа едет домой!

Они обнялись посреди кухни, и письмо расплющилось между их телами. Сломанная нога — определенно повод для праздника.

Когда Лизель принесла новость в соседний дом, Барбара Штайнер пришла в восторг. Она потискала девочку за плечи и крикнула детей. Собравшееся на кухне семейство Штайнеров, казалось, воспряло духом от известия, что Ганс Хуберман возвращается домой. Руди улыбался и смеялся, и Лизель видела, что он честно старается радоваться. И все же чувствовала горький привкус вопросов у него на языке.

Почему он?

Почему Ганс Хуберман, а не Алекс Штайнер?

Вот именно.

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ, ОКРОВАВЛЕННЫЙ И МЕДВЕДЬ

С самого призыва отца в армию в прошлом октябре гнев Руди Штайнера копился очень славно. И новости о возвращении Ганса Хубермана хватило, чтобы Руди сделал еще несколько шагов в том же направлении. Лизель он ничего не сказал. Не жаловался на несправедливость. Он решил действовать.

В самое воровское время предзакатных сумерек он шел по Химмель-штрассе с металлическим чемоданчиком в руке.

*** * * НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ РУДИ ШТАЙНЕРА * * ***

Чемоданчик был обшарпанно-красный и длиной с крупную коробку из-под ботинок.

Лежали в нем следующие предметы:

ржавый складной нож — 1 шт.

маленький фонарик — 1 шт.

молоток — 2 шт. (один средний, один маленький)

полотенце дня рук — 1 шт.

отвертка — 3 шт. (разных размеров)

лыжная маска — 1 шт.

чистые носки — 1 пара

плюшевый мишка — 1 шт.

Лизель увидела его в кухонное окно — целеустремленный шаг и решительное лицо, точно как в тот день, когда он отправился искать отца. Ручку чемоданчика он сжимал со всей возможной силой, а все его движения были деревянными от ярости.

Книжная воришка уронила полотенце и вместо него схватилась за единственную мысль.

Руди идет воровать.

Она помчалась за ним.

Даже ничего похожего на «привет» не прозвучало.

Руди продолжал шагать и говорил сквозь холодный воздух перед собой. Проходя мимо многоквартирного дома Томми Мюллера, он сказал:

— Знаешь, Лизель, что я тут подумал. Ты никакой не вор. — И возразить он ей не дал. — Та тетка сама тебя пускает. Господи, она даже выставила тебе печенье. По-моему, это не воровство. Воровство — это что делают военные. Берут твоего отца, моего. — Он пнул камень, и тот звякнул о чью-то калитку. Руди прибавил шагу. — Все эти богатые фашисты на Гранде-штрассе, Гельб-штрассе, Хайде-штрассе.

Лизель думала только о том, как бы не отстать. Они уже миновали лавку фрау Диллер и вволю шагали по Мюнхен-штрассе.

— Руди...

— Ну и как оно все равно?

— Как что?

— Когда берешь там свои книги?

Тут Лизель решила дальше не идти. Если хочет услышать ответ, ему придется вернуться, и Руди вернулся.

— Ну? — Но опять, не успела Лизель и рта открыть, Руди сам ответил на свой вопрос. — Приятно, правда? Украсть то, что украли у тебя.

Стараясь задержать Руди, Лизель заставила себя сосредоточиться на его ящике.

— Что у тебя там?

Он нагнулся и открыл.

Все было объяснимо, кроме медведя.

* * *

Они зашагали дальше, и Руди на ходу пространно объяснял назначение набора инструментов и что он будет делать с каждым. Молотки, например, предназначались для разбивания стекол, а в полотенце нужно их заворачивать, чтобы приглушить звук.

— А мишка?

Мишка принадлежал Анне-Марии Штайнер и ростом был не больше книжки Лизель. мех на нем был клочковатый и вытертый. Уши и глаза ему пришивали много раз, но тем не менее выглядел он вполне дружелюбно.

— Это, — ответил Руди, — мой гениальный ход. Это если войдут дети, пока я буду

внутри. Я дам им мишку, и они успокоятся.

— А что ты планируешь красть?

Руди пожал плечами:

— Деньги, еду, украшения. Все, что попадется в руки. — Выходило довольно просто.

Но еще через пятнадцать минут, разглядев внезапное молчание на лице Руди, Лизель поняла, что ничего он красть не будет. Решимость испарилась, и хотя он еще созерцал воображаемую славу своей воровской жизни, девочка видела, что он уже не верит в нее. Он *старался* поверить, а это никогда не сулит ничего хорошего. Перед глазами Руди разворачивались картины его преступного величия, но шаги замедлились, и, разглядывая дома, Лизель внутри испытала чистое и грустное облегчение.

Они вышли на Гельб-штрассе.

Дома в целом были темные и огромные.

Руди снял ботинки и взял в левую руку. В правой у него был чемоданчик.

Между облаками бродила луна. Пара километров света.

— Чего я жду? — спросил Руди, но Лизель не ответила ему. Руди снова открыл рот, но без слов. Он поставил чемоданчик и сел на него.

Носки у него намокли и застыли.

— Хорошо, что в чемодане запасная пара, — подсказала Лизель и заметила, что Руди против воли разбирает смех.

Руди подвинулся и стал смотреть в другую сторону, и теперь Лизель тоже нашлось место присесть.

Книжная воришка и ее лучший друг сидели посреди улицы спина к спине на обшарпанно-красном чемоданчике с инструментами. Долго молчали, глядя в разные стороны. Когда они поднялись и двинулись домой, Руди передел носки, а старую пару бросил на дороге. Подарок для Гельб-штрассе, так он решил.

*** * * ВЫСКАЗАННАЯ ИСТИНА О РУДИ ШТАЙНЕРЕ * * ***

— Кажется, у меня лучше получается разбрасываться вещами, чем воровать.

Через пару недель чемоданчик наконец для чего-то пригодится. Руди выбросил оттуда отвертки и молотки и вместо них положил разные ценные вещи Штайнеров на случай следующего авианалета. Из прошлого содержимого остался только плюшевый мишка.

9 марта, когда сирены снова напомнили Молькингу о себе, Руди вышел из дому с чемоданчиком.

Пока Штайнеры спешили по Химмель-штрассе, Михаэль Хольцапфель яростно стучал в дверь Розы Хуберман. Когда Роза с Лизель вышли на крыльцо, он вручил им свою беду.

— Моя мать, — сказал он, а кровавые сливы по-прежнему цвели у него на повязке. — Не выходит. Сидит на кухне за столом.

Недели снашивались, а фрау Хольцапфель даже не начала оправляться. Когда Лизель приходила читать, старуха в основном смотрела в окно. Слова у нее были тихие, почти неподвижные. Вся грубость и враждебность из ее лица выкорчевало. «До свидания» Лизель обычно говорил Михаэль, а также угощал ее кофе и благодарил. Теперь еще это.

Роза действовала без промедления.

Проворной уткой она протопала за калитку и встала в открытых дверях соседского дома.

— Хольцапфель! — Ничего, кроме Розы и сирен. — Хольцапфель, выходи оттуда, жалкая старая свинья! — Роза Хуберман никогда не отличалась тактичностью. — Если ты не выйдешь, нас всех убьет здесь на улице! — Роза обернулась и окинула взглядом беспомощные фигуры на дорожке. Только что смолк вой сирены. — Ну и что делать?

Михаэль пожал плечами — растерянный, озадаченный. Лизель поставила сумку с

книгами и посмотрела на него. Закричала наперекор раздавшейся второй сирене.

— Можно, я попробую? — Дождаться ответа Лизель не стала. Пробежав по короткой дорожке, она проскользнула мимо Розы в дом.

Фрау Хольцапфель неколебимо сидела за столом.

Что же я ей скажу, подумала Лизель.

Как заставить ее выйти?

Когда сирена перевела дыхание еще раз, Лизель услышала Розу:

— Брось ее, Лизель, надо бежать! Если хочет подохнуть, это ее дело. — Но тут вновь завывли сирены. Рукой с небес отбросили человеческий голос прочь.

Только рев, девочка и жилистая старуха.

— Фрау Хольцапфель, прошу вас!

Совсем как в разговоре с Ильзой Герман в день печенья, у Лизель под рукой было множество слов и фраз. Только сегодня были еще бомбы. Сегодня необходимость была острее.

*** * * ВАРИАНТЫ * * * ***

*** — Фрау Хольцапфель, надо идти.**

*** — Фрау Хольцапфель, мы погибнем, если останемся тут.**

*** — У вас есть еще один сын.**

*** — Вас все ждут.**

*** — Вам же голову оторвет бомбами.**

*** — Если вы не пойдете, я перестану ходить к вам читать, а это значит, что вы потеряете единственного друга.**

Лизель выбрала последнее, выкрикивая слова прямо сквозь сирены. Ладонями прочно оперевшись в стол.

Старуха подняла глаза и приняла решение. Не сдвинулась с места.

Лизель ушла. Оторвалась от стола и выбежала из дома.

Роза придержала калитку, и они побежали к сорок пятому дому. Михаэль Хольцапфель остался торчать посреди улицы.

— Идем! — увещевала его Роза, но вернувшийся солдат колебался. Он уже собирался зайти обратно в дом, как вдруг что-то развернуло его. Только искалеченная рука еще не отрывалась от калитки, но вот он, стыдясь, высвободил ее и двинулся следом.

Каждый несколько раз оглянулся на бегу — но никакой фрау Хольцапфель.

Дорога казалась такой широкой, и когда последняя сирена растаяла в воздухе, три последних на Химмель-штрассе человека спустились в подвал Фидлеров.

— Где тебя носит? — спросил Руди. Он держал в руках чемоданчик.

Лизель опустила на пол сумку с книгами и села на нее.

— Мы пытались привести фрау Хольцапфель.

Руди огляделся.

— А где она?

— Дома. На кухне.

*** * ***

В дальнем углу убежища дрожал, сгорбившись, Михаэль Хольцапфель.

— Мне надо было остаться, — повторял он. — Мне надо было остаться. Мне надо было остаться... — Голос у него был почти беззвучный, но глаза кричали громче обычного. Они отчаянно бились в глазницах, и Михаэль стискивал раненую руку здоровой, и кровь затапливала повязку.

Его остановила Роза.

— Пожалуйста, Михаэль, ты же ни в чем не виноват.

Но молодой человек без нескольких пальцев на правой руке остался безутешен. Он съежился в глазах Розы.

— Объясните мне, — сказал он, — я не понимаю... — Откинулся назад и обмяк на стену. — Объясните мне, Роза, как она может сидеть там и ждать смерти, когда я еще хочу жить? — Кровь густела. — Зачем я хочу жить? Я не должен, а хочу.

Минуты шли, а молодой человек безутешно плакал, и у него на плече лежала рука Розы. Остальные смотрели. Михаэль не смог успокоиться, даже когда подвальная дверь распахнулась и захлопнулась и в убежище вошла фрау Хольцапфель.

Ее сын поднял голову.

Роза шагнула в сторону.

Когда старуха подошла, Михаэль повинился.

— Прости, мама, мне надо было остаться с тобой.

Фрау Хольцапфель не услышала. Только села рядом с сыном и подняла его перевязанную руку.

— У тебя опять кровь течет, — сказала она, и вместе со всеми эти двое сидели и ждали.

Лизель сунула руку в сумку и покопалась в книгах.

* * * БОМБЕЖКА МЮНХЕНА С 9 НА 10 МАРТА * * *

Это была долгая ночь бомб и чтения. Во рту у Лизель пересохло, но книжная воришка преодолела пятьдесят четыре страницы.

Большинство детей заснули и не слышали сирен восстановленного спокойствия. Родители будили их или спящими выносили по лестнице в мир, наполненный тьмой.

Где-то вдалеке горели пожары, а я в ту ночь собрал двести с лишним убиенных душ.

И двигался в Молькинг еще за одной.

На Химмель-штрассе было чисто.

Отбой в тот раз не давали несколько часов — на случай, если угроза не вполне миновала, да и просто чтобы дым поднялся в атмосферу.

Небольшой пожар и щепку дыма вдали, где-то у Ампера, заметила Беттина Штайнер. Дым тек в небеса, и девочка показала на него пальцем.

— Смотрите.

Беттина заметила дым первой, но отреагировал быстрее всех Руди. В спешке он так и не выпустил из рук чемоданчик, бросившись бегом вниз по Химмель-штрассе и дальше, переулками в лес. Лизель побежала следом (поручив свои книги бурно сопротивлявшейся Розе), а за ней — еще какие-то люди из ближних убежищ.

— Руди, подожди!

Руди не ждал.

Лизель видела только чемоданчик, мелькавший в просветах между ветвями, пока Руди пробирался сквозь деревья к умирающим отсветам и туманному самолету. Тот лежал и дымился на поляне у реки. Летчик пытался там приземлиться.

Метрах в двадцати Руди остановился.

Когда там появился я, он уже стоял на поляне, переводя дыхание.

Во тьме были разбросаны сучья.

Иголки и ветви усеивали траву вокруг самолета, как топливо для пожара. Слева землю прожгли три глубокие борозды. Торопливое тиканье остывающего металла ускоряло секунды и минуты, пока Руди и Лизель не простояли там, казалось, много часов. У них за спинами собиралась и росла толпа, чье дыхание и фразы липли к спине Лизель.

— Ну что, — сказал Руди, — посмотрим?

Он двинулся сквозь обломки деревьев туда, где впечаталось в землю тело самолета. Нос машины окунался в текущую воду, а изломанные крылья лежали позади.

Руди медленно пошел по кругу от хвоста, обходя самолет справа.

— Тут стекло, — сказал он. — Все застеклено.

И увидел тело.

Руди Штайнер никогда не видел такого бледного лица.

— Лизель, не подходи. — Но Лизель подошла.

И увидела: едва осмысленное лицо вражеского пилота, деревья смотрят сверху, течет река. Самолет еще несколько раз кашлянул, а голова внутри качнулась слева направо. Он сказал что-то, чего дети, естественно, понять не могли.

— Езус, Мария и Йозеф, — прошептал Руди. — Он жив.

Чемоданчик стукнулся о бок самолета, и явились новые человеческие голоса и шаги.

Пламя погасло, и утро стало глухим и черным. Ему мешал только дым, но и он скоро выдохнется.

Стена деревьев не пускала сюда краски горящего Мюнхена. Глаза Руди уже привыкли не только к темноте, но и к лицу пилота. Глаза на нем были кофейными пятнами, а по щекам и подбородку тянулись глубокие порезы. Мягкий комбинезон непослушно встопорщился на груди.

Невзирая на совет Руди, Лизель подошла еще ближе, и в ту же секунду, уверяю вас, мы с ней узнали друг друга.

А ведь мы знакомы, подумал я.

Поезд и кашляющий мальчик. Снег и обезумевшая от горя девочка.

Ты выросла, подумал я, но я тебя узнал.

Она не отпрянула, не кинулась в драку со мной, но я знаю — что-то ей подсказало: я рядом. Учужала ли она запах моего дыхания? Услышала проклятое круговое сердцебиение, что преступлением обращалось в моей гибельной груди? Не знаю, но она узнала меня, и посмотрела мне в лицо, и не отвела глаз.

Как только небо начало угольно сереть навстречу свету, мы оба зашевелились. Оба увидели, как мальчик открыл свой чемоданчик, порывлся в каких-то обрамленных фотографиях и вынул маленькую желтую мягкую игрушку.

Осторожно вскарабкался к умирающему.

И тихонько положил улыбающегося мишку ему на плечо. Кончиком уха тот коснулся горла пилота.

Умирающий вдохнул игрушку. И заговорил. Он сказал по-английски:

— Thank you. — Когда он говорил, длинные порезы раскрылись, и капелька крови сбежала, виляя, по горлу.

— Что? — спросил Руди. — Was hast du gesagt? Что вы сказали?

Увы, я не дал ему услышать ответ. Время пришло, и я протянул руки в кабину. Медленно вытянул душу пилота из мятого комбинезона, высвободил из разбитого самолета. Люди подыгрывали молчанию, пока я шел сквозь толпу. Я протиснулся на свободу.

А небо надо мной затмилось — всего лишь последний миг ночи, — и могу поклясться, я увидел черный росчерк в форме свастики. Он неряшливо расплывался там, наверху.

— Хайль Гитлер, — сказал я, но к тому времени я уже прилично углубился в лес. А позади плюшевый мишка сидел на плече трупа. Лимонная свечка теплилась под ветвями. Я нес на руках душу пилота.

Пожалуй, верно будет сказать, что за все годы правления Гитлера никто не смог послужить ему так верно, как я. У людей не то сердце, что у меня. Человеческое сердце — линия, тогда как мое — круг, и я бесконечно умею успевать в нужное место в нужный миг. Из этого следует, что я всегда застаю в людях лучшее и худшее. Вижу их безобразие и красоту и удивляюсь, как то и другое может совпадать. И все же у людей есть качество,

которому я завидую. Людям, если уж на то пошло, хватает здравого смысла умереть.

ДОМОЙ

То было время окровавленных людей, разбитых самолетов и плюшевых мишек, но первая четверть 1943 года закончилась для книжной воришки на радостной ноте.

В начале апреля гипс на ноге Ганса Хубермана подрезали до колена, и Папа сел в мюнхенский поезд. Ему дадут неделю отпуска на восстановление, прежде чем он вольется в ряды военных канцелярских крыс в Мюнхене. Там его ждет бумажная работа на расчистке мюнхенских фабрик, домов, церквей и больниц. В дальнейшем будет ясно, поставят ли его на ремонтные работы. Все будет зависеть от его ноги и состояния города.

Когда Ганс вернулся домой, на улице было темно. Он задержался на сутки, потому что его поезд остановили из-за угрозы бомбежки. Ганс остановился на крыльце дома № 33 по Химмель-штрассе и сжал кулак.

Четыре года назад в эту дверь увещевали войти Лизель Мемингер. Макс Ванденбург стоял на этом пороге с ключом, кусавшим ему ладонь.

Теперь пришла очередь Ганса Хубермана. Он постучал четыре раза, и ему открыла книжная воришка.

— Папа, Папа.

Она повторила это, наверное, сто раз, обнимая его на кухне и не отпуская от себя.

* * *

После ужина они до поздней ночи сидели за столом, и Ганс рассказывал обо всем жене и Лизель Мемингер. Об ЛСЕ и затопленных дымом улицах, о несчастных потерянных, неприкаянных душах. О Райнхольде Цукере. Бедном глупом Райнхольде Цукере. Потребовалось много часов.

В час ночи Лизель отправилась спать, и Папа пришел посидеть с ней. Она несколько раз просыпалась, чтобы проверить, здесь ли Папа, и Ганс ни разу ее не подвел.

Ночь была спокойная.

Постель — теплая и мягкая от счастья.

Да, это была чудная ночь для Лизель Мемингер, и покой, тепло и мягкость продлятся еще приблизительно три месяца.

Но история Лизель займет еще шесть.

ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ

«КНИЖНЫЙ ВОР»

с участием:

конца света — девяносто восьмого дня — сеятеля войны — пути слов — окаменевшей девочки — признаний — черной книжечки ильзы герман — грудных клеток самолетов — и горного хребта из битого камня

КОНЕЦ СВЕТА

(Часть I)

И снова я предлагаю вам взглянуть на конец света. Наверное, чтобы смягчить удар, который вам предстоит, а может, чтобы *самому* лучше подготовиться к рассказу. Так или иначе, должен сообщить вам, что, когда свет закончился для Лизель Мемингер, на

Химмель-штрассе шел дождь.

Небо капало.

Будто кран, который ребенок старался открыть изо всех сил, но не получилось. Сначала капли были холодными. Они упали мне на руки, когда я стоял у лавки фрау Диллер.

Я услышал их над собой.

Посмотрел сквозь плотные тучи и увидел жестяные самолетики. Я видел, как у них раскрываются животы и оттуда нехотя вываливаются бомбы. Конечно, они сбились с цели. Они часто сбивались.

*** * * МАЛЕНЬКАЯ ГРУСТНАЯ НАДЕЖДА * * ***

Никто не хотел бомбить Химмель-штрассе.

Никто не станет бомбить место, названное в честь рая, правда?

Правда же?

Бомбы снизошли, и вскоре тучи спеклись, а холодные дождевые капли стали пеплом. На землю посыпались горячие снежинки.

В общем, Химмель-штрассе сровняли с землей.

Дома разбрызгались с одной стороны дороги на другую. Фюрер значительно глядел с поверженного и разбитого портрета на расколоте полу. И все же улыбался — в этой своей серьезной манере. Он знал такое, чего не знали все мы. Но я тоже знал кое-что, чего не знал он. И все это — пока все спали.

Спал Руди Штайнер. Спали Мама и Папа. Фрау Хольцапфель, фрау Диллер. Томми Мюллер. Все спали. Все умирали.

Выжил только один человек.

Она уцелела, потому что сидела в подвале, перечитывая историю своей жизни, проверяя ошибки. Прежде этот подвал сочли недостаточно глубоким, но в ту ночь 7 октября 1943 года он сгодился. Обломки ядрами валились вниз, и через несколько часов, когда в Молькинге установилась чужая и растрепанная тишина, местный патруль ЛСЕ что-то услышал. Эхо. Там, внизу, где-то под землей, девочка стучала карандашом по банке из-под краски.

Они замерли, склонившись ухом к земле, и снова услышав, принялись копать.

*** * * ПРЕДМЕТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ИЗ РУК В РУКИ * * ***

Цементные глыбы и черепица. Кусок стены с нарисованным капающим солнцем.

Жалкого вида аккордеон, выглядывающий из проеденного футляра.

Они отбрасывали все это вверх.

Убрали еще кусок разваленной стены, и один увидал волосы книжной воришки.

У этого мужчины был такой замечательный смех. Он принимал новорожденного ребенка.

— Не могу поверить — она жива!

В суетливом галдеже было так много радости, но я не мог разделить их воодушевление.

Чуть раньше я нес на одной руке ее Папу и Маму — на другой. Обе души были такими мягкими.

Их тела были выложены чуть подальше, вместе с остальными. Папины милые серебряные глаза уже тронула ржа, а Мамины картонные губы застыли приоткрытыми, скорее всего — в форме незавершенного храпа. Как богохульствуют все немцы — Езус, Мария и Йозеф.

Спасительные руки вынули Лизель из ямы и отрясли крошки битого камня с ее одежды.

— Девушка, — сказали ей, — сирены запоздали. Что вы делали в подвале? Откуда вы знали?

Никто не заметил, что девочка еще сжимала в руках книгу. В ответ она завизжала. Оглушительный визг живого.

— Папа!

И еще раз. Ее лицо смялось, и она сорвалась на еще более высокую и паническую ноту.

— Папа, *Papa!*

Девочку выпустили — она кричала, плакала и выла. Если ее и ранило, она еще этого не знала, потому что вырывалась, звала, искала и снова выла.

Она все еще стискивала в руках книгу.

Отчаянно цеплялась за слова, которые спасли ей жизнь.

98-Й ДЕНЬ

Первые девяносто семь дней после возвращения Ганса Хубермана домой в апреле 1943 все было хорошо. У него было много случаев грустить от мысли о том, что его сын воюет в Сталинграде, но он надеялся, что какая-то часть его везения передалась и сыну.

В третий вечер по возвращении Папа играл на кухне на аккордеоне. Уговор есть уговор. У них были музыка, суп и анекдоты — и смех четырнадцатилетней девочки.

— Свиноуха, — одернула ее Мама. — Прекрати так гоготать. Не такие уж смешные у него анекдоты. Да и сальные к тому же..

Через неделю Ганс вернулся на службу и ежедневно ездил в город в какую-то военную контору. Он говорил, что там отлично кормят и снабжают куревом, а иногда приносил домой то пару булочек, то немного джема. Совсем как в старые добрые времена. Несильный авианалет в мае. Редкий «хайльгитлер» тут и там, и все хорошо.

До девяносто восьмого дня.

* * * МАЛЕНЬКОЕ ЗАМЕЧАНИЕ ОДНОЙ СТАРУХИ * * *

На Мюнхен-штрассе она сказала:

— Езус, Мария и Йозеф, хоть бы их не водили здесь. Эти бедные евреи, им так не повезло.

Это плохой знак. Всякий раз, как вижу их, понимаю, что мы погибнем.

Это была та же старуха, которая объявила евреев в первый раз, когда их видела Лизель. На уровне земли ее лицо оказалось черной сливой. Глаза были темно-синие, как вены. И ее предсказание оказалось точным.

На самом пике лета Молькинг получил знак о том, что с ним случится. Знак этот явился пред общие взоры, как всегда являлся. Сначала подскакивающая голова солдата и ствол, тычущий в небо над этой головой. Потом изодранная колонна позвякивающих евреев.

Единственная разница в том, что на сей раз их пригнали с другой стороны. Их вели в соседний городок Неблинг драить улицы и делать грязную работу, от которой отказались военные. Позже в тот же день они шагали обратно в лагерь, медленно и устало, разгромленно.

И опять Лизель высматривала Макса Ванденбурга, решив, что он вполне мог оказаться в Дахау, не проходя под конвоем через Молькинг. Его не было. В тот раз — не было.

Но дайте срок, и теплым августовским вечером Макс обязательно прошагает через город в такой колонне. Однако в отличие от остальных он не будет рассматривать дорогу. И

кидать случайные взгляды на зрительские трибуны фюрерской Германии.

*** * * ОДИН ИЗ ФАКТОВ О МАКСЕ ВАНДЕНБУРГЕ * * ***

Он будет вглядываться в лица на Мюнхен-штрассе, выискивая девочку, ворующую книжки.

А в тот день, в июле, — как потом подсчитала Лизель, на девяносто восьмой день после Папиного возвращения — она стояла и рассматривала ползущую грудку скорбных евреев — искала Макса. По крайней мере, это не так больно, как просто стоять и видеть.

«Это ужасная мысль», напишет она потом в подвале на Химмель-штрассе, но это было искренне. Видеть их было больно. А какова *их* боль? Боль спотыкающихся ботинок, пытки и закрывающихся ворот лагеря?

Их прогнали сквозь город дважды за десять дней, и вскоре слова безымянной сливолицей женщины с Мюнхен-штрассе полностью подтвердились. Беда не замедлила прийти, и если евреев можно упрекнуть в том, что они стали предостережением ее или прологом, то за подлинную причину следовало винить фюрера и его поход на Россию: ибо, когда Химмель-штрассе проснулась одним июльским утром, вернувшегося солдата нашли мертвым. Он висел на балке в прачечной рядом с лавкой фрау Диллер. Еще один человеческий маятник. Еще одни остановленные часы.

Беспечный хозяин прачечной оставил дверь открытой.

*** * * 24 ИЮЛЯ, 6:03 УТРА * * ***

В прачечной было тепло, балки были прочными, и Михаэль Хольцапфель прыгнул со стула, будто со скалы.

В те дни столько людей гонялось за мной, призывая меня, упрасывая меня их забрать. И были относительно немногие, что окликали меня невзначай и шептали натянувшимися голосами.

— Прими меня, — говорили они, и удержать их было невозможно. Они боялись, спору нет, но — не меня. Они боялись, что не справятся и придется дальше терпеть себя, мир и вам подобных.

Им я никак не мог помешать.

У них имелось слишком много способов, они были слишком изобретательны, и если ловко справлялись с делом, какой бы способ ни выбирали, не в моих силах было им отказать.

Михаэль Хольцапфель знал, что делает.

Он убил себя за то, что хотел жить.

Конечно, Лизель Мемингер я в тот день совсем не видел. По обыкновению напомнил себе, что слишком занят, чтобы оставаться на Химмель-штрассе и слушать вопли. Ничего хорошего, когда люди застают меня за работой, так что я, как всегда, взял и сбежал в солнце цвета завтрака.

Я не слышал, как прачечную подорвал голос старика, обнаружившего висящее тело, не слышал бегущих ног и судорожных вдохов, распаивающих рты, когда люди сбежались. Не слышал, как костлявый мужчина с усами бормотал:

— Вот позор-то, нет, какой позор, а?..

Я не видел, как фрау Хольцапфель ничком простерлась на Химмель-штрассе, разбросав руки, с неизбывным отчаянием на вопящем лице. Нет, ничего этого я не знал, пока не вернулся туда через несколько месяцев и не прочел кое-чего под названием «Книжный вор». Так я наконец узнал, что Михаэля Хольцапфеля доконала не поврежденная рука и никакая другая рана, а вина самой жизни.

В дни, подводившие к его смерти, Лизель поняла: Михаэль перестал спать, каждая ночь

была для него отравой. Я часто представляю, как он лежит без сна, потев под простынями снега, или видит оторванные ноги брата. Лизель писала, что несколько раз порывалась рассказать ему о своем брате, как она рассказала Максу, но ей казалось, что слишком велико расстояние между отдаленным кашлем и двумя уничтоженными ногами. Как утешить человека, который навиделся такого? Стоит ли говорить ему, что фюрер им гордится, что фюрер любит его за то, что он сделал в Сталинграде? Как можно даже посметь? Можно лишь дать ему выговориться. Но вот в чем трудность: самые важные свои слова такие люди оставляют на потом — на тот час, когда окружающим не повезет обнаружить тело. Записка, фраза, даже вопрос — или письмо, как в июле 1943-го на Химмель-штрассе.

*** * * МИХАЭЛЬ ХОЛЬЦАПФЕЛЬ: ПОСЛЕДНЕЕ ПРОСТИ * * ***

Дорогая мама, сможешь ли ты когда-нибудь меня простить?

Я просто не могу больше терпеть.

Я иду к Роберту. Мне все равно, что об этом говорят чертовы католики. На небе обязательно должно быть место для тех, кто побывал там, где побывал я.

Из-за того, что я сделал, ты можешь подумать, что я тебя не люблю, но я люблю тебя.

Твой Михаэль

Сообщить известие фрау Хольцапфель попросили Ганса Хубермана. Он стоял на ее пороге, и она, должно быть, сразу все поняла по его липу. Двое сыновей за полгода.

Утреннее небо пылало за спиной Ганса, а жилистая старуха шагнула мимо. Всхлипывая, побежала по Химмель-штрассе туда, где кучкой стояли люди. Она произнесла имя Михаэль по крайней мере раз двадцать, но тот уже ответил ей. По словам книжной воришки, фрау Хольцапфель обнимала тело почти час. Затем вернулась к спящему солнцу Химмель-штрассе и села. Идти она больше не могла.

Люди смотрели издалека. Такие вещи легче с расстояния.

С ней сидел Ганс Хуберман.

Он положил ладонь ей на руку, когда она опрокинулась на жесткую землю.

И не мешал ей наполнить улицу воплями.

*** * ***

Много позже Ганс с великой заботливостью вел ее по улице, через калитку, в дом. И сколько бы я ни старался увидеть все иначе, я не могу отделаться от этой картины...

Когда я представляю убитую горем женщину с высоким серебряноглазым мужчиной, на кухне в доме 31 по Химмель-штрассе по-прежнему идет снег.

СЕЯТЕЛЬ ВОЙНЫ

Пахло свежеструганным гробом. Черные платья. Огромные чемоданы под глазами. Лизель стояла на траве вместе со всеми. В тот же самый день она читала фрау Хольцапфель. «Почтальона снов», он нравился соседке больше всего.

Насквозь хлопотный был день, ничего не скажешь.

*** * * 27 ИЮЛЯ 1943 ГОДА * * ***

Михаэля Хольцапфеля похоронили, и книжная воришка читала осиротевшей матери. Союзники бомбили Гамбург — и что касается этого, то хорошо, что я существо в чем-то сверхъестественное. Никто больше не мог бы снести почти 45 000 душ за такое короткое время. Хоть миллионы человеческих лет пройди.

Немцы к тому времени начали расплачиваться полной мерой. У фюрера задрожали его маленькие прыщавые колени.

И все же я отдаю ему должное, этому фюреру.

У него явно была железная воля.

В смысле сеяния войны усилия нисколько не ослабевали, и так же не сбавляло хода наказание и истребление еврейской заразы. Хотя лагеря в большинстве своем расползлись по всей Европе, некоторые еще оставались и в самой Германии.

И в этих лагерях множество людей по-прежнему заставляли работать и шагать.

Одним из таких евреев был Макс Ванденбург.

ПУТЬ СЛОВ

Это случилось в маленьком городке в самой сердцевине гитлеровского тыла.

Поток новых страданий нагнетался очень славно, и вот прибыл их небольшой кусочек.

По окраинам Мюнхена гнали евреев, и одна девочка-подросток совершила немислимое — встала в их строй и пошла с ними. Когда солдаты оттащили ее прочь и бросили на землю, она поднялась. И вернулась в колонну.

Стояло теплое утро.

Очередной чудесный денек для парада.

Евреи и конвой прошли уже через несколько поселков и приближались к Молькингу. Возможно, прибавилось работы в лагере или там умерло несколько заключенных. Как бы то ни было, в Дахау гнали пешком новую партию свежих вымотанных евреев.

Как всегда, Лизель прибежала на Мюнхен-штрассе, куда стягивались неизменные зеваки.

— Хайль Гитлер!

Она услышала переднего солдата издали и двинулась к нему сквозь толпу, навстречу процессии. Голос изумил ее. Он превратил бесконечное небо в потолок прямо над головой, и слова, отскочив от этого потолка, упали куда-то на пол хромающих еврейских ног.

И глаз.

Они глядели на движущуюся улицу, еврей за евреем, и, найдя удобное место для наблюдения, Лизель остановилась и стала их рассматривать. Побежала взглядом по рядам лиц за лицами, пытаясь сравнивать их с евреем, который написал «Зависшего человека» и «Отрясательницу слов».

Перистые волосы, думала она.

Нет, волосы — как хворост. Так они выглядят, когда немыты. Ищи волосы как хворост, болотистые глаза и растопку бороды.

Господи, их так много.

Так много пар умирающих глаз и шаркающих ног.

Лизель рассматривала их, но Макса выдали даже не черты лица. А то, как это лицо себя вело: оно тоже изучало толпу. Застыв в сосредоточенности. Лизель вдруг растерялась, наткнувшись на это единственное лицо, устремленное прямо на немецких зевак. Этот взгляд так целенаправленно что-то выискивал, что люди вокруг книжной воришки заметили и стали показывать пальцами.

— А *этом* что высматривает? — произнес мужской голос сбоку от Лизель.

Книжная воришка шагнула на дорогу.

Никогда движение не было такой тяжелой ношей. Никогда сердце не было таким решительным и большим в юной груди.

Она шагнула вперед и сказала, очень тихо:

— Меня ищет.

Ее голос сошел на нет и отпал — внутри нее. Ей пришлось разыскивать его — тянуться далеко вниз, чтобы снова научиться говорить и выкликнуть его имя.

Макс.

— Макс, я здесь!

Громче.

— *Макс, я здесь!*

Он ее услышал.

*** * * МАКС ВАНДЕНБУРГ, АВГУСТ 1943 ГОДА * * ***

Волосы-хвост, точно, как думала Лизель, и заболоченные глаза шагнули поперек, оттирая плечами плечи других евреев. Когда они дотянулись до нее, они взмолились. Борода исчеркала лицо, а рот ежился, когда он назвал слово, имя, девочку. Лизель.

Лизель полностью стряхнула с плеч толпу и ступила в прилив евреев, скользя меж ними, пока не схватила левой рукой его локоть.

Его лицо упало на нее.

Оно склонилось, когда Лизель запнулась, и еврей, мерзкий еврей, помог ей встать. Для этого потребовались все его силы.

— Я здесь, Макс, — снова сказала она. — Я здесь.

— Глазам не верю... — Слова капали с губ Макса Ванденбурга. — Смотри, как ты выросла. — В глазах его была жгучая грусть. Они разбухли. — Лизель... Меня взяли несколько месяцев назад. — Голос был увечный, но он подтащился к девочке. — На полпути в Штутгарт.

Изнутри поток евреев оказался мутным бедствием рук и ног. Изодранных роб. Солдаты ее пока не заметили, но Макс предостерег:

— Тебе нельзя идти со мной, Лизель. — Он даже попытался оттолкнуть ее, но девочка оказалась слишком сильной. Оголодавшие руки Макса не смогли поколебать ее, и она шагала дальше — среди грязи, голода и смятения.

Отмерили немало шагов, и тут ее заметил первый солдат.

— Эй! — крикнул он. И указал на нее хлыстом. — Эй, девочка, ты чего это? А ну выйди оттуда!

Она совершенно презрела его, и тогда солдат пустил в ход руку, чтобы разделить людскую клейковину. Расталкивая их, вклинился в колонну. Завис над Лизель, которая упорно шла дальше, — и тут в Максеном лице девочка заметила какое-то удушье. Ей приходилось видеть, как он боится, но чтобы так — никогда.

Солдат схватил ее.

Его руки грубо смяли ее одежду.

Она чувствовала кости в его пальцах и шарик каждой костяшки. Они рвали ей кожу.

— Я сказал — выйди! — приказал он и с этим выволок девочку на обочину и швырнул в стену немецких зевак. На улице теплело. Солнце обжигало ей лицо. Девочка упала, больно распластавшись по земле, но тут же снова вскочила. Она собиралась с духом и выжидала. И вновь нырнула.

На сей раз Лизель пробиралась сзади.

Где-то впереди она едва видела приметные хворостины волос и снова продвигалась к ним.

Теперь она не стала тянуться к нему — она остановилась. Где-то внутри у нее были души слов. Карабкались наружу и вставали рядом.

— Макс, — позвала она. Он обернулся и на миг закрыл глаза, а девочка продолжила: — Жил-был странный человечек, — сказала она. Руки у нее вяло свисали по бокам, но пальцы сжались в кулаки. — Но была и отрясательница слов.

И вот один из евреев по дороге в Дахау перестал шагать.

Он стоял совершенно неподвижно, пока остальные угрюмо обтекали его, бросая совсем одного. Глаза его пошатнулись, и все стало вот так вот просто. Слова, поданные девочкой еврею. Они вскарабкались на него.

Когда она заговорила вновь, с ее губ, запинаясь, слетели вопросы. В глазах теснились горячие слезы, но она не даст им воли. Надо стоять твердо и гордо. Пусть всё сделают слова.

— «Это и вправду ты?» — спросил молодой человек, — сказала Лизель. — Это с твоей щеки я поднял семечко?

Макс Ванденбург остался стоять.

Он не упал на колени.

Люди, евреи, облака — все остановились. Все смотрели.

Остановившись, Макс посмотрел сначала на девочку, затем уставился прямо в небо, широкое, синее и величественное. Тяжелые лучи — солнечные доски — падали на дорогу наобум, изумительно. Облака выгибали спины, озираясь, когда трогались дальше.

— Такой хороший день, — сказал он, и голос у него состоял из многих кусков. Хороший день, чтобы умереть. Хороший день, чтобы умереть — вот так.

Лизель подошла к нему. Ей даже хватило храбрости протянуть руку и потрогать его заросшее бородой лицо.

— Это правда ты, Макс?

Такой великолепный немецкий день и его внимательная толпа.

Он позволил своим губам поцеловать ее ладонь.

— Да, Лизель, это я. — И он удержал руку девочки у себя на лице и плакал ей в пальцы. Он плакал, к нему подходили солдаты, а рядом стояла и глазела кучка нахальных евреев.

Его били стоя.

— Макс, — плакала девочка.

И без слов, пока ее оттаскивали прочь:

Макс.

Еврейский драчун.

Внутри она сказала это все.

Макси-такси. Так тебя называл тот друг в Штутгарте, когда вы дрались на улице, помнишь? Помнишь, Макс? Ты мне рассказывал. Я все запомнила...

Это был ты — парень с твердыми кулаками, и ты говорил, что дашь смерти в морду, когда он придет за тобой.

Помнишь снеговика, Макс?

Помнишь?

В подвале?

Помнишь белое облако с серым сердцем?

Фюрер все еще приходит иногда в подвал, ищет тебя. Он по тебе скучает. Мы все по тебе скучаем.

Хлыст. Хлыст.

Хлыст вырастал из солдатской руки. А прерывался у Макса на лице. Свистел на подбородке, драл горло.

Макс рухнул наземь, и солдат обернулся к девочке. Рот его распахнулся. У него были безукоризненные зубы.

Внезапно перед ее глазами кое-что вспыхнуло. Ей вспомнился день, когда она хотела, чтобы ее отшлепала Ильза Герман, или, по крайней мере, безотказная Роза, но никто из них не поднял на нее руку. В этот раз ее не подвели.

Хлыст вспорол ей ключицу и захлестнулся на лопатку.

— Лизель!

Она знала, кто это кричит.

Пока солдат выкручивал ей руку, она заметила сквозь бреши в толпе потрясенного Руди Штайнера. Он кричал ей. Лизель видела его измученное лицо и желтые волосы.

— Лизель, беги оттуда!

Книжная воришка не побежала.

Она закрыла глаза и приняла следующий обжигающий штрих, за ним еще один, а потом ее тело рухнуло на теплые половицы дороги. Дорога грела ей щеку.

Посыпались еще слова — на этот раз от солдата.

— Steh' auf.

Экономная фраза относилась не к девочке, а к еврею. И солдат уточнил:

— Вставай, грязный засранец, еврейская сука, вставай, вставай...

Макс оторвал тело от земли.

Еще разок отжаться, Макс.

Еще разок отжаться от холодного подвального пола.

Его ступни двинулись.

Шаркнули по дороге, и Макс тронулся дальше.

Ноги его качались, ладонями он отирал следы хлыста, чтобы притупить жжение. Когда он попробовал еще раз оглянуться на Лизель, руки солдата легли ему на окровавленные плечи и пихнули.

Возник Руди. Припав к земле голенастыми ногами, крикнул куда-то влево:

— Томми, давай сюда, помоги. Надо ее поднять. Томми, *скорей!* — Он поднял девочку за подмышки. — Идем, Лизель, сойдем с дороги.

Когда девочка смогла встать, она поглядела на потрясенных немцев с мерзлыми лицами, только что из пачки. У их ног она дала себе рухнуть — но лишь на миг. Ссадина полыхнула спичкой на скуле — там, где Лизель встретилась с землей. Пульс перевернулся, поджариваясь с обеих сторон.

Вдалеке на дороге ей еще были видны мазки ног и пяток шагнувшего последним еврея.

У нее горело лицо, а в руках и ногах упорствовала боль — оцепенение, одновременно изматывающее и болезненное.

Лизель встала — в последний раз.

И путано пошла, затем побежала по Мюнхен-штрассе, чтобы загрести последние шаги Макса Ванденбурга.

— Лизель, ты что?!

Она выскользнула из хватки слов Руди и не замечала глазающих сбоку людей. Большинство были бессловесны. Статуи с бьющимися сердцами. Быть может — зрители на последних отрезках марафона. Лизель опять закричала, но ее не услышали. Волосы лезли ей в глаза.

— Макс, прошу тебя!

Еще метров через тридцать, как раз когда солдат обернулся, ее сбили с ног. Чьи-то руки стиснули ее сзади, и мальчик из соседнего дома повалил ее на землю. Пригнул ей колени к дороге и пострадал за это. Он принимал ее тумачи, будто подарки. На тычки ее костлявых кулаков и локтей он ответил только несколькими короткими охами. Он ловил громкие неуклюжие брызги слюны и слез, словно благодать для лица, но главное — он сумел ее

удержать.

На Мюнхен-штрассе сплелись мальчик и девочка.
Изломанные и бесприютные посреди дороги.

Оба смотрели, как исчезают люди. Растворяются, словно ходячие таблетки, во влажном воздухе.

ПРИЗНАНИЯ

Когда евреи скрылись из виду, Руди и Лизель расцепились, и книжная воришка не заговорила. На вопросы Руди не было ответов.

Но и домой Лизель не пошла. Подавленная, она побрела на вокзал, где много часов прождала Папу. Первые двадцать минут около нее стоял Руди, но поскольку до приезда Ганса оставалось еще добрых полдня, он пошел и привел Розу. По пути к станции пересказал ей, что произошло, и потому Роза ничего не стала спрашивать у девочки. Она уже сложила в голове кусочки мозаики и теперь лишь стояла рядом, а позже уговорила девочку сесть. Ждали они вдвоем.

Когда Папа обо всем узнал, он уронил сумку и пнул вокзальный воздух.

В тот вечер никто не стал есть. Папины пальцы оскверняли аккордеон, убивая песню за песней, как бы Папа ни старался. Все уже не помогало.

Три дня книжная воришка пролежала в постели.

Каждое утро и под вечер к ним стучался Руди Штайнер и спрашивал, по-прежнему ли она болеет. Девочка не болела.

На четвертый день Лизель сама подошла к соседской двери и спросила, может ли он пойти с ней в тот лес, где они в прошлом году разбрасывали хлеб.

— Давно тебе надо было рассказать, — сказала она.

Как и договорились, они ушли далеко по дороге к Дахау. Остановились среди деревьев. В длинных пятнах света и тени. Повсюду, как печенюшки, разбросаны сосновые шишки.

Спасибо, Руди.

За все. За то, что утащил с дороги, за то, что удержал...

Ничего этого она не сказала.

Ее рука опиралась на шелушащуюся ветку под боком.

— Руди, если я тебе сейчас кое-что скажу, обещаешь никому не слова?

— Ясно. — Руди чуял серьезность у девочки на лице, тяжесть в голосе. Он привалился к соседнему дереву. — Ну, что?

— Обещай.

— Уже обещал же.

— Давай еще раз. Не скажешь ни матери, ни брату, ни Томми Мюллеру. Никому.

— Обещаю.

Наклон.

Взгляд в землю.

Раз за разом она пробовала отыскать нужное начало, читая фразы у себя под ногами, цепляя слова к шишкам и клочкам обломанных веток.

— Помнишь, как я расшиблась на футболе? — сказала она. — На улице?

Понадобилось примерно три четверти часа, чтобы объяснить две войны, аккордеон, еврейского драчуна и подвал. Ну и то, что случилось четыре дня назад на Мюнхен-штрассе.

— Вот зачем ты полезла смотреть, — сказал Руди. — В тот день, с хлебом. Нету ли там его.

— Да.

— Иисусе распятый.

— Да.

* * *

Деревья стояли высокие и треугольные. И безмолвные.

Лизель вынула из сумки «Отрясательницу слов» и показала Руди одну страницу. На ней был нарисован мальчик с тремя медалями на горле.

— «Волосы цвета лимонов», — прочел Руди. Потрогал слова пальцами. — Ты говорила ему про меня?

Сначала Лизель не смогла сказать. Может, из-за внезапной болтанки любви к Руди. А может, она всегда его любила? Похоже на то. И без того неспособная заговорить, Лизель хотела, чтобы Руди ее поцеловал. Ей захотелось, чтобы он потянул ее за руку и привлек к себе. Все равно куда. В губы, в шею, в щеку. Вся ее кожа была пуста для него, ждала его.

Много лет назад, когда они бегали наперегонки по грязному стадиону, Руди был набором наспех скрепленных костей с зазубренной скалистой улыбкой. Этим вечером в лесу он был подателем хлеба и плюшевых мишек. Трехкратным чемпионом Гитлерюгенда по легкой атлетике. Ее лучшим другом. И в месяце от гибели.

— Ясное дело, я говорила ему про тебя, — ответила Лизель.

Она с ним прощалась, сама того не зная.

ЧЕРНАЯ КНИЖЕЧКА ЛИЗЫ ГЕРМАН

В середине августа Лизель решила, что пора навестить Гранде-штрассе, 8, все за тем же неизменным лекарством.

Чтобы воспрянуть духом.

Так она думала.

День был потный, но к вечеру обещали дожди. В «Последнем человеческом чужаке» было одно место ближе к концу. Лизель вспомнила о нем, проходя мимо лавки фрау Диллер.

* * * **«ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЧУЖАК», СТРАНИЦА 211** * * *

Солнце размешивает землю.

Снова и снова размешивает нас, как похлебку.

В тот момент Лизель вспомнила эти слова лишь потому, что стоял такой теплый день.

На Мюнхен-штрассе она вспоминала события минувшей недели. Видела евреев, бредущих по дороге, их потоки, их массу, их боль. Она решила, что в той цитате не хватает одного слова.

Надо было написать «*мерзкую* похлебку», думала девочка.

Она такая мерзкая, что я больше не могу.

Лизель прошла по мосту через Ампер. Река была восхитительной, изумрудной и густой. Можно разглядеть камни на дне, услышать знакомую песню воды. Мир не заслуживал такой реки.

Лизель пустилась вверх по склону на Гранде-штрассе. Дома были милым и мерзостными. Ей нравилась несильная боль в ногах и в легких. Шире шаг, сказала она себе, и двинула вверх, как чудище из песчаной воронки. Она принюхивалась к окрестной траве. Запах был свежим и сладким, зеленым с желтыми кончиками. Лизель прошла через двор, ни разу не обернувшись, ни секунды не паникуя и не замедлив шагов.

Окно.

Руки на раму, мах ногами.
Пятками об пол.
Книги, страницы, счастливое место.

Лизель вынула книгу с полки и села с нею на пол.

Дома ли она? — гадала Лизель, хотя ей было все равно, крошит Ильза Герман картошку на кухне или стоит в очереди на почте. Или зависла над ней призраком, онемелая и высокая, рассматривая, что там читает девочка.

Теперь Лизель было просто все равно.

Она долго сидела и смотрела.

Одним глазом еще глядя сон, вторым она видела, как умер брат. Простилась с матерью и представляла, как та одиноко ждет обратного поезда в забвение. Проволочная женщина вытянулась на земле, и ее вопль катился по улице, пока не завалился набок, словно монета, изголодавшаяся по разгону. Молодой мужчина висел на веревке из сталинградского снега. Она видела, как пилот бомбардировщика умер в железном коконе. Она видела, как еврей, который подарил ей две самые драгоценные в ее жизни книги, шел в концлагерь. И в сердцевине всего она видела фюрера — он выкрикивал свои слова и раздавал их людям.

Эти картины и были миром, и мир похлебкой кипел в ней, а она сидела среди прекрасных книг с ухоженными названиями. Все это варилось в ней, а она водила глазами по страницам, до краев своих животиков заполненным абзацами и словами.

Вы гады, думала она.

Прекрасные гады.

Не хочу вашего счастья. Прошу вас, не смейте наполнять меня и внушать, будто это даст что-то доброе. Смотрите на мои синяки. Глядите на эту ссадину. Видите ссадину у меня внутри? Видите, как она разрастается прямо у вас на глазах, разъедает меня? Я больше не хочу ни на что надеяться. Не хочу молиться, чтобы Макс остался жив и невредим. Или Алекс Штайнер.

Потому что мир не заслуживает их.

Она вырвала из книги страницу и разодрала ее надвое.

Потом целую главу.

И скоро не осталось ничего, кроме обрывков слов, разбросанных у нее между ног и вокруг. Слова. Зачем им вообще надо существовать? Без них ничего этого бы не было. Без слов фюрер — пустое место. И не было бы хромящих узников, нужды в утешении или в словесных фокусах, от которых нам становится лучше.

Что хорошего в словах?

Это она сказала уже вслух — освещенной оранжевым комнате.

— Что хорошего в словах?

Книжная воришка поднялась и тщательно шагнула к библиотечной двери. Дверь возразила тихо и несмело. Просторный коридор был пропитан деревянной пустотой.

— Фрау Герман?

Вопрос вернулся к ней и попробовал еще раз метнуться к входной двери. Но пролетел лишь до полпути, бессильно плюхнувшись на пару толстых половиц.

— Фрау Герман?

Ее зов приветствовала только тишина, и у Лизель возник соблазн найти кухню — для Руди. Она удержалась. Было бы неправильно красть еду у женщины, которая оставила ей словарь за оконным стеклом. К тому же Лизель только что уничтожила одну из ее книг — страницу за страницей, главу за главой. И так наделала довольно вреда.

Лизель вернулась в библиотеку и выдвинула ящик. Села за стол.

* * * ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО * * *

*Дорогая фрау Герман,
как видите, я опять побывала в вашей библиотеке, и я изорвала одну из ваших книг. Это оттого, что я сильно разозлилась и испугалась и захотела убить слова. Я воровала у вас, а теперь испортила вашу вещь. Простите меня. Чтобы наказать себя, я, наверное, перестану к вам приходить. Хотя наказание ли это вообще? Я люблю вашу комнату и ненавижу ее, за то, что она полна слов.*

Вы были моим другом, даже когда я обижала вас, даже когда становилась несносной (слово, которое я нашла в вашем словаре), и теперь я, наверное, оставлю вас в покое.

Простите за все.

И еще раз — спасибо.

Лизель Мемингер

Лизель оставила записку на столе и в последний раз простилась с комнатой, трижды обойдя ее по кругу и ведя пальцами по заглавиям. Насколько она ненавидела их, настолько же не могла перед ними устоять. Хлопья изорванной бумаги были разбросаны вокруг книги под названием «Правила Томми Хоффмана». Из окна потянуло сквозняком, и несколько обрывков взлетели и упали.

Свет по-прежнему был оранжевым, но уже не таким блестящим, как прежде. В последний раз она схватилась рукой за деревянную оконную раму, последний скачок проваливающегося желудка и последняя вспышка боли в подошвах, когда Лизель приземлилась.

К тому времени, как девочка спустилась с холма и перешла реку, оранжевый свет исчез. Небо промакивали тучи.

На Химмель-штрассе на Лизель упали первые капли дождя. Я больше не увижу Ильзу Герман, думала девочка, но книжная воришка лучше умела читать и уничтожать книги, чем выдвигать предположения.

*** * * ЧЕРЕЗ ТРИ ДНЯ * * ***

В дверь номера 33 постучалась женщина и теперь ждет ответа.

Лизель странно было увидеть ее без халата. На ней было летнее платье — желтое с красной отделкой. На платье — карман, украшенный цветочком. И никаких свастик. Черные туфли. Раньше Лизель никогда не замечала, какие голени у жены бургомистра. У Ильзы Герман были фарфоровые ноги.

— Фрау Герман, простите меня — за то, что я наделала в прошлый раз в библиотеке.

Женщина остановила ее. Сунула руку в сумочку и вынула небольшую черную книжицу. Внутри у нее была не история, а разлинованные страницы.

— Я подумала, что, если ты не собираешься больше читать мои книги, может, тебе захочется вместо этого написать свою. Твое письмо, оно... — Она двумя руками подала книжку Лизель. — Ты определенно можешь писать. Ты пишешь хорошо. — Книжка была тяжелая, со словно бы плетеной, как у «Пожатия плеч», обложкой. — И прошу тебя, — посоветовала ей Лиза Герман. — Не наказывай себя, как ты написала. Не бери с меня пример, Лизель.

Девочка открыла книжку и потрогала бумагу.

— Danke schön, фрау Герман. Хотите, я сварю вам кофе? Заходите. Я дома одна. Мама у соседки, фрау Хольцапфель.

— Войдем через дверь или через окно?

Лизель подозревала, что это была самая широкая улыбка, которую Ильза Герман позволила себе за долгие годы.

— Наверное, через дверь. Так проще.

Они сидели на кухне.

Кофейные кружки, хлеб с джемом. Они старательно беседовали, и Лизель слышала, как

Ильза Герман сглатывает, но почему-то никакого смущения не было. И даже приятно видеть, как женщина мягко дует на кофе, чтобы остудить.

— Если я когда-нибудь что-нибудь буду писать и доведу до конца, — сказала Лизель, — я вам покажу.

— Было бы славно.

Жена бургомистра ушла, и Лизель смотрела, как она уходит по Химмель-штрассе. Желтое платье, черные туфли, фарфоровые ноги.

У калитки Руди спросил:

— Это та, про кого я подумал?

— Ага.

— Шутишь?

— Она мне кое-что подарила.

Как оказалось, в тот день Ильза Герман подарила Лизель Мемингер не только книгу. Она подарила ей повод сидеть в подвале — ее любимом месте: сначала из-за Папы, потом из-за Макса. Подарила причину записывать собственные слова и помнить, что они к тому же ее оживили.

«Не наказывай себя», — снова слышала девочка ее голос, но будет и наказание, и боль, но будет и счастье. Вот что значит — писать.

Ночью, когда Мама и Папа уснули, Лизель прокралась в подвал и засветила керосиновую лампу. Первый час она только смотрела на карандаш и бумагу. Велела себе вспоминать и по привычке не отводила глаз.

— Schreibe, — приказывала она себе. — Пиши.

Через два с лишним часа Лизель Мемингер начала писать, еще не зная, что из этого выйдет. Откуда ей было знать, что кто-то подберет ее историю и будет повсюду носить с собой?

Никто на это не рассчитывает.

Никто такого не планирует.

Лизель сидела на маленькой банке от краски, из большой устроила стол — и вот наконец уперлась кончиком карандаша в первую страницу. И в середине вывела так:

*** * * «КНИЖНЫЙ ВОР» * * ***

маленькая повесть

Лизель Мемингер

ГРУДНЫЕ КЛЕТКИ САМОЛЕТОВ

Рука у нее заныла уже к третьей странице.

Слова такие тяжелые, думала она, но к исходу ночи сумела заполнить одиннадцать страниц.

*** * * СТРАНИЦА 1 * * ***

Я стараюсь не вспоминать об этом, но понимаю, что все началось с поезда, снега и приступа кашля у моего брата. В тот день я украла свою первую книгу. Это было руководство по рытью могил, и я украла его по пути на Химмель-штрассе...

Там она и заснула, на постели из свернутых холстин, а листки книжки загибались по краям на большой банке от краски. Утром над ней стояла Мама, и ее хлористые глаза вопрошали.

— Лизель, — спросила Мама, — какого рожна ты здесь делаешь?
— Я пишу, Мама.
— Езус, Мария и Йозеф. — Мама затопала вверх по ступеням. — Быть наверху через пять минут, а то ведро. Verstehst?
— Поняла.

Лизель спускалась в подвал каждую ночь. Книжку она держала при себе все время. Она писала часами, стремясь за ночь описать десять страниц своей жизни. Приходилось о многом думать, столько всего нужно не забыть. Терпение, говорила она себе, заполненных страниц становилось больше, а хватка письма — крепче.

Иногда она писала о том, что происходит в подвале, когда она пишет. Вот она только закончила эпизод, где Папа дал ей по щеке на ступенях церкви и где они вместе репетировали «хайльгитлер». Подняв глаза, Лизель посмотрела, как Ганс Хуберман убирает в футляр аккордеон. Он только что полчаса играл, пока она писала.

*** * * СТРАНИЦА 42 * * ***

Сегодня вечером со мной сидел Папа.

Он принес аккордеон и сел рядом с тем местом, где обычно сидел Макс. Я часто смотрю на его пальцы и лицо, когда он играет.

Аккордеон дышит. А у Папы линии на щеках. Они как будто нарисованные, и почему-то, когда я их вижу, мне хочется плакать. И не от грусти и не от гордости. Мне просто нравится, как они двигаются и меняются. Иногда я думаю, что Папа — сам аккордеон.

Когда он смотрит на меня, улыбается и дышит, я слышу ноты.

На одиннадцатую ночь писания Мюнхен снова бомбили. Лизель дописала до страницы 102 и уснула в подвале. Она не услышала ни кукушки, ни сирен, и когда Папа спустился за ней, она спала и во сне сжимала свою книгу.

— Идем, Лизель.

Она взяла «Книжного вора» и все остальные свои книги, и они зашли за фрау Хольцапфель.

*** * * СТРАНИЦА 175 * * ***

По реке Ампер плыла книга.

Мальчик прыгнул в воду, догнал ее и схватил правой рукой. И усмехнулся.

Он стоял по пояс в ледяной декабриной воде.

— Ну, как насчет поцелуя, свинюха? — сказал он.

К следующему налету, 2 октября, она закончила. В книжке осталось лишь несколько десятков чистых страниц, и книжная воришка уже начала перечитывать то, что написала. Книга была разделена на десять частей, и каждой Лизель дала имя какой-нибудь книги или истории и в каждой рассказала о том, как она повлияла на ее жизнь.

Я часто думаю, до какой страницы она дошла, когда через пять ночей я прошел по Химмель-штрассе в дожде из незакрученного крана. Мне интересно, о чем она читала, когда первая бомба выпала из грудной клетки самолета.

Лично мне нравится представлять, что она бросила взгляд на стену, на Максово канатоходческое облако, капающее солнце и шагающие к нему фигуры. Потом она смотрит на мучительные попытки своих малярных прописей. Я вижу, как в подвал спускается фюрер, связанные боксерские перчатки небрежно висят у него на шее. И книжная воришка читает, перечитывает опять и опять свою последнюю фразу, много часов подряд.

*** * * «КНИЖНЫЙ ВОР» — ПОСЛЕДНЯЯ СТРОЧКА * * ***

Я ненавидела слова и любила их, и надеюсь, что составила их правильно.

А мир снаружи свистел. Дождь замарался.

КОНЕЦ СВЕТА (Часть II)

Теперь уже почти все слова выцвели. Черная книжка рассыпается под бременем моих путешествий. Вот еще почему я рассказываю эту историю. Что мы говорили недавно? Повторите что-нибудь сколько нужно, и никогда не забудете. И еще я могу рассказать вам, что было, когда слова книжной воришки остановились и как я вообще узнал всю ее историю. Вот как.

Представьте, что вы идете в темноте по Химмель-штрассе. Волосы намокают, а давление воздуха вот-вот резко скакнет. Первая бомба попадает в многоквартирный дом Томми Мюллера. Его лицо невинно дергается во сне, и я опускаюсь на колени у его кровати. Потом его сестра. Босые ноги Кристины торчат из-под одеяла. Они совпадают с очерченными следами в уличных классиках. Мизинчики. Их мать спит в паре шагов. В ее пепельнице торчат четыре раздавленные сигареты, а потолок, над которым нет крыши, красен, как раскаленная плита. Химмель-штрассе горит.

Завыли сирены.

— *Уже* слишком поздно, — прошептал я, — для этих учений. — Потому что их обманули, и обманули дважды. Сначала союзники имитировали налет на Мюнхен, чтобы ударить по Штутгарту. Но потом десять самолетов остались. Ну да, сигнал тревоги дали. В Молькинге он раздался одновременно со взрывами.

*** * * ПЕРЕКЛИЧКА УЛИЦ * * ***

Мюнхен, Элленберг, Йоханеон, Химмель.

Главная улица + еще три в бедной части города.

За несколько минут все они исчезли.

Кирху срубили под корень.

В том месте, где Макс Ванденбург устоял на ногах, уничтожили землю.

В доме 31 по Химмель-штрассе фрау Хольцапфель как будто дожидалась меня, сидя на кухне. Перед ней — разбитая чашка, и в последний момент бодрствования у старухи было такое лицо, будто она спрашивала, где меня, черт возьми, так долго носило.

Фрау Диллер, напротив, крепко спала. Ее пуленепробиваемые очки разбились у кровати. Лавку стерло с лица земли, прилавок приземлился по ту сторону улицы, а портрет Гитлера в рамке слетел со стены и рухнул на пол. Этого фюрера как следует приложили, его избили в кашу, смешав с осколком стекла. Выходя, я наступил на него.

У Фидлеров все было славно организовано: все в кроватях, все укрыты. Пффифкус замотался до носа.

У Штайнеров я провел пальцами по ровно причесанным волосам Барбары, встретил серьезный взгляд серьезного лица спящего Курта и одного за другим перецеловал на сон грядущий маленьких.

Потом Руди.

Ох Христос распятый, Руди...

Он лежал в кровати с одной из сестер. Должно быть, она лягнула его или оттеснила, захватив большую часть кровати, потому что он лежал на самом краю, обнимая сестренку

одной рукой. Мальчик спал. Свеча его волос подпалила постель, и я забрал и его, и Беттину, пока их души еще были под одеялом. По крайней мере, они умерли быстро и холодно им не было. Паренек из самолета, вспомнил я. С плюшевым мишкой. А где утешение для Руди? Где тот, кто хоть как-то возместит украденную жизнь? Кто утешит его в тот миг, когда коврик жизни выдернули у него из-под спящих ног?

Никого.

Там только я.

А из меня не особо хороший утешитель, особенно когда руки такие холодные, а постель теплая. Я мягко нес его по разбитой улице, один глаз у меня был соленым, а сердце — тяжелым, гибельным. Для Руди я постарался чуть больше. Я на мгновение заглянул к нему в душу и увидел выкрасившегося черным мальчика, который выкрикивает имя Джесси Оуэнза, пробегая сквозь воображаемую финишную ленту. Я увидел его по бедра в ледяной воде, в погоне за книгой, и увидел мальчика, который, лежа в кровати, представляет, какой вкус может быть у поцелуя прекрасной соседки. Он сделал мне кое-что, этот мальчик. Всякий раз делает. Это единственный вред от него. Он наступает мне на сердце. Он заставляет меня плакать.

Наконец, Хуберманы.

Ганс.

Папа.

Он и в кровати был рослым, а сквозь его веки мне было видно серебро. Его душа села. Она встречала меня. Эти души так всегда — лучшие души. Поднимаются мне навстречу и говорят: «Я знаю, кто ты такой, и я готов. Конечно, я не хочу уходить, но пойду». Такие души всегда легкие, потому что по большей части их уже пригасили. По большей части они уже нашли путь в другие края. Эту отправили с дыханием аккордеона, странным вкусом шампанского летом, с искусством держать слово. Ганс покойно лежал у меня на руках. Я чувствовал зуд в его легких — покурить напоследок — и мощную тягу к подвалу, к девочке, которая была его дочерью и писала в подвале книгу, которую Ганс надеялся однажды прочесть.

Лизель.

Его душа прошептала это имя, пока я ее нес. Но в том доме не было никакой Лизель. Во всяком случае, для меня.

Для меня была только Роза, и да — мне кажется, я вправду забрал ее на середине всхрапа: у нее был открыт рот, а бумажные розовые губы еще шевелились. Не сомневаюсь, если бы она меня увидела, то назвала бы свинухом, но я бы не оскорбился. Прочитав «Книжного вора», я узнал, что она всех так называла. Свинух. Свинюха. Особенно тех, кого любила. Ее резиновые волосы были распущены. Терлись о подушку, а комод ее тела вздымался и опадал с каждым ударом сердца. Не думайте, у этой женщины *было* сердце. Большое — больше, чем можно предположить. В нем много чего было, сложенного на незримых полках в километры высотой. Не забудьте, это была она — женщина с аккордеоном, пристегнутым к груди той долгой ночью, расплосованной луной. Она без единого вопроса на свете стала кормилицей еврея его первой ночью в Молькинге. И это она просунула руку в самое глубокое нутро матраса, чтобы отдать книгу рисунков взрослеющей девочке.

*** * * ПОСЛЕДНЯЯ УДАЧА * * ***

Я переходил с улицы на улицу и вернулся в начало Химмель-штрассе за одним мужчиной по фамилии Шульц.

Ему было невмочь в рухнувшем доме, и вот, когда я нес его душу по Химмель-штрассе, я заметил группу из ЛСЕ, они галдели и смеялись.

Там была небольшая ложбина горной цепи из битого камня.

Горячее небо было красным и размешивалось. Начали завихряться прожилки перца, а мне стало любопытно. Да, да, я помню, что говорил вам вначале. Обычно мое любопытство подводит меня под какие-нибудь ужасающие человеческие вопли, но в этот раз, должен сказать, хоть у меня и оборвалось сердце, я рад, что там был.

Когда ее выволокли наружу, она и верно завывла и завопила о Гансе Хубермане. Ополченцы пытались удержать ее в своих припорошенных руках, но книжной воришке удалось вырваться. В отчаянии людям, кажется, часто удается такое.

Она не понимала, куда бежит, потому что Химмель-штрассе больше не было. Все кругом новое и концесветное. Почему небо красное? Как может падать снег? И почему снежинки обжигают руки?

Лизель перешла на шаткую ходьбу и сосредоточилась на том, что впереди.

Где лавка фрау Диллер? — думала она. Где...

Она брела недолго, и тут человек, который ее нашел, взял ее под руку и заговорил без остановки.

— Ты сейчас в шоке, девочка. Это просто шок, с тобой все будет хорошо.

— Что случилось? — спросила Лизель. — Это еще Химмель-штрассе?

— Да. — У человека были огорченные глаза. Чего он не повидал за последние годы? — Это Химмель-штрассе. Вас разбомбили, девочка. Es tut mir leid, Schatzi. Прости, детка.

Губы девочки брели дальше, хотя ее тело оставалось неподвижным. Она забыла свои вопли по Гансу Хуберману. Это случилось много лет назад — так бывает под бомбежкой. Она сказала:

— Надо забрать папу и маму. Надо вывести Макса из подвала. Если его там нет, значит, он в коридоре, смотрит в окно. Он так делает иногда при налете — ему же нечасто приходится видеть небо. Мне надо рассказать ему, что за погода на улице. Ой, он нипочем не поверит...

В этот миг ее тело переломилось, и ополченец поймал ее и посадил на землю.

— Мы ее выведем через минуту, — сказал он своему сержанту. Книжная воришка посмотрела, что это такое тяжелое и жесткое у нее в руке.

Книга.

Слова.

Пальцы разбиты в кровь, как в день ее появления.

Ополченец помог ей встать и повел прочь. Горела деревянная ложка. Мимо прошел человек с разломанным футляром, внутри виднелся аккордеон. Лизель увидела его белые зубы и черные ноты между ними. Они улыбнулись ей и спустили на нее осознание реальности. Нас разбомбили, подумала она и обернулась к мужчине, который ее вел.

— Это аккордеон моего Папы. — И снова. — Это Папин аккордеон.

— Не беспокойся, детка, бояться нечего, пойдем чуть подальше.

Но Лизель не пошла.

Она поглядела, куда человек уносит аккордеон, и двинулась за ним. Красное небо еще сыпало свой красивый пепел, а Лизель остановила высокого ополченца и сказала:

— Если вы не против, я заберу его — это Папин. — Она мягко взяла аккордеон из рук человека и понесла. Примерно в этот момент она увидела первое тело.

Футляр выскользнул из ее руки. Звук как взрыв.

Разбросав ноги, фрау Хольцапфель лежала на земле.

*** * * СЛЕДУЮЩИЕ ДЕСЯТЬ СЕКУНД ИЗ ЖИЗНИ ЛИЗЕЛЬ МЕМИНГЕР * * ***

Она развернулась на месте и стала смотреть вдоль разрушенного канала, которым стала Химмель-штрассе. Вдалеке двое мужчин несли тело, и она бросилась за ними.

Увидев остальных, Лизель закашлялась. Краем уха услышала, как один человек сказал остальным, что на клене нашли тело, разорванное на куски.

Потрясенные пижамы, изодранные лица. Сначала она узнала его волосы.

Руди?

Теперь она сказала не только беззвучно.

— Руди?

Он лежал на земле: лимонные волосы, закрытые глаза — и книжная воришка бросилась к нему и упала. Выронив черную книжку.

— Руди, — всхлипывала она, — проснись... — Она схватила его за рубашку и едва-едва, не веря, встряхнула. — Руди, проснись. — А небо все разогревалось и сыпало пеплом, а Лизель держала Руди Штайнера спереди за рубашку. — Руди, прошу тебя. — Слезы сражались с ее лицом. — Руди, ну пожалуйста, проснись, проснись, черт возьми, я люблю тебя. Ну, Руди, ну, Джесси Оуэнз, не знаешь, что ли, я люблю тебя, проснись, проснись, проснись...

Но ничему не было до нее дела.

Битый камень громоздился выше. Бетонные холмы с красными шапками. Прекрасная девочка, истоптанная слезами, трясет мертвеца.

— Ну, ты, Джесси Оуэнз...

Но мальчик не проснулся.

Не в силах поверить, Лизель зарылась головой ему в грудь. Она держала его обмякшее тело, не давая ему осесть, пока не пришлось вернуть его на искалеченную землю. Лизель опускала его осторожно.

Медленно. Медленно.

— Господи, Руди...

Лизель склонилась и посмотрела в его безжизненное лицо и поцеловала своего лучшего друга Руди Штайнера в губы, мягко и верно. На вкус он был пыльный и сладкий. Вкус сожаления в тени деревьев и в мерцании коллекции костюмов анархиста. Она целовала Руди долго и мягко, а когда оторвалась от его губ, еще раз коснулась их пальцами. Руки у нее тряслись, губы наполнились, и она еще раз склонилась, на сей раз — не владея собой, и не рассчитала движение. Их зубы стукнулись в уничтоженном мире Химмель-штрассе.

Она не сказала ему «прощай». Не смогла и, пробыв около Руди еще несколько минут, с трудом оторвалась от земли. Всегда удивляюсь, на что способны люди, особенно когда по их лицам текут потоки, и они шатаясь и кашляя, идут вперед, ищут и находят.

* * * СЛЕДУЮЩАЯ НАХОДКА * * *

Тела Мама и Папы, оба увязшие в щебеночной простыне Химмель-штрассе.

Лизель не побежала, не подошла и вообще не двинулась дальше. Ее глаза драили людей и замерли, туманясь, когда она заметила высокого мужчину и приземистую, как комод, женщину. Это моя Мама. Это мой Папа. Слова прицепились к ней.

— Они не шевелятся, — тихо сказала девочка. — Они не шевелятся.

Может, если бы она простояла, не двигаясь, достаточно долго, то первыми бы пошевелились *они*, но сколько бы Лизель ни стояла, Мама с Папой не двигались. В тот момент я заметил, что девочка — босая. Довольно дико замечать подобные детали в такой момент. Может, я старался избежать ее лица, потому что книжная воришка и впрямь была необратимо разгровлена.

Она сделала шаг и не хотела делать следующего, но все же пошла дальше. Медленно подошла к Папе с Мамой и села между ними. Взяла Маму за руку и стала разговаривать с ней.

— Помнишь, как я сюда приехала, Мама? Я цеплялась за калитку и плакала. Помнишь,

что ты сказала тогда людям на улице? — Голос Лизель дрогнул. — Ты сказала: чего вылупились, засранцы? — Лизель погладила Мамино запястье. — Мама, я знаю, что ты... Так здорово, когда ты пришла в школу и сказала, что Макс пришел в себя. А ты знаешь, что я видела тебя с Папиным аккордеоном? — Лизель крепче сжала коченеющую руку. — Я подобралась и смотрела, а ты была такая чудесная. Черт возьми, ты была такая чудесная, Мама.

*** * * ДОЛГИЕ МГНОВЕНИЯ ИЗБЕГАНИЯ * * ***
Папа. Она не хотела и не могла посмотреть на Папу.
Пока нет. Не сейчас.

Папа был человек с серебряными глазами, а не с мертвыми.
Папа был аккордеоном!
Но его мехи совсем опустели.
Ничто не вливалось, в них и ничего не вылетало.

Лизель начала раскачиваться взад-вперед. Пронзительная, тихая, смазанная нота застряла где-то у нее во рту, и наконец девочка смогла обернуться.
К Папе.

Теперь я не мог удержаться. Я подошел, чтобы лучше ее рассмотреть, и с того мгновения, когда я вновь увидел ее лицо, я понял: вот кого она любила больше всего. Взглядом она гладила этого человека по лицу. По складке на щеке. Он сидел с ней в ванной и учил сворачивать самокрутки. Он дал хлеба мертвецу на Мюнхен-штрассе и просил девочку читать в бомбоубежище. Может, если бы он этого не сделал, она не стала бы писать в подвале.

Папа — аккордеонист — и Химмель-штрассе.

Одно не могло быть без другого, потому что для Лизель и то и другое — дом. Да, вот чем был Ганс Хуберман для Лизель Мемингер.

Она обернулась и сказала ополченцу.

— Прошу вас, — сказала она, — Папин аккордеон. Можете принести его мне?

После нескольких минут замешательства пожилой человек принес Лизель съеденный футляр, и девочка раскрыла его. Вынула раненый инструмент и положила рядом с Папой.

— На, Папа.

И могу заверить вас — потому что сам наблюдал это много лет спустя, видение самой книжной воришки: на коленях рядом с Гансом она увидела, как он поднялся и заиграл на аккордеоне. Встал на ноги и накинул ремень инструмента на плечи в альпах разрушенных домов, серебряные глаза доброты, даже самокрутка болтается на губе. Даже сфальшивил разок и трогательно хохотнул, заметив. Мехи дышали, и высокий человек еще раз, последний, играл для Лизель Мемингер, а небо медленно снимали с плиты.

Не бросай играть, Папа.

Папа остановился.

Уронил аккордеон, и его серебряные глаза снова поржавели. Теперь оставалось только тело — на земле, — и Лизель приподняла Папу и обняла его. И заплакала через плечо Ганса Хубермана.

— До свидания, Папа, ты спас меня. Ты научил меня читать. Никто не умеет играть, как ты. Я никогда не буду пить шампанское. Никто не умеет играть, как ты.

Ее объятия держали Ганса. Она целовала его плечо — взглянуть еще раз ему в лицо она не могла, — а потом опустила его обратно.

Книжная воришка плакала, пока ее нежно уводили прочь.

Позже вспомнили про аккордеон, но никто не заметил книжку.

Было много работы, и вместе с собранием других материалов на «Книжного вора» несколько раз наступили и в конце концов его подняли и, не взглянув, бросили в грузовик с мусором. За миг до того, как грузовик тронулся, я быстро вскарабкался в кузов и подхватил книгу рукой...

Повезло, что я там оказался.

Хотя кого я хочу одурачить? В большинстве мест я хотя бы раз да побывал, а в 1943-м я был чуть ли не везде.

ЭПИЛОГ
ПОСЛЕДНЯЯ КРАСКА
с участием:
смерти и лизель — нескольких деревянных слезинок — макса — и
посредника

СМЕРТЬ И ЛИЗЕЛЬ

После всего этого прошло много лет, но у меня до сих пор полно работы. Могу точно сказать вам, мир — это фабрика. Солнце размещивает ее, люди ею управляют. А я остаюсь. Я уношу их прочь.

Что же до остатка этой истории, я не собираюсь ходить вокруг да около — я устал, ужасно устал, и я вам все расскажу, как могу, напрямую.

*** * * ПОСЛЕДНИЙ ФАКТ * * ***

Должен сказать вам, что книжная воришка умерла только вчера.

Лизель Мемингер дожила до весьма преклонных лет вдали от Молькинга и погибшей Химмель-штрассе.

Она умерла в пригороде Сиднея. Номер дома был сорок пять — тот же, что у Фидлеров в убежище, — и небо было наилучшего предвечернего синего цвета. Как и душа ее Папы, ее душа села мне навстречу.

В последних своих видениях она смотрела на троих своих детей, на внуков, мужа и еще длинный список жизней, сплетенных с ее собственной. Среди них, зажженные, как лампы, были Ганс и Роза Хуберманы, ее брат и мальчик, чьи волосы навсегда остались цвета лимонов.

* * *

Но там было еще несколько картин.

Идемте со мной, я расскажу вам историю.

Я вам кое-что покажу.

ДЕРЕВО ПОД ВЕЧЕР

Когда Химмель-штрассе расчистили, Лизель Мемингер некуда было идти. «Девочку с аккордеоном», как ее назвали, отвели в полицию, где никак не могли придумать, что с ней делать.

Она сидела на очень жестком стуле. Сквозь дыру в футляре на нее смотрел аккордеон.

Три часа прошло в полицейском участке, пока там не появились бургомистр и женщина с пушистыми волосами.

— Все говорят, что у вас тут девочка, — сказала дама, — которая выжила на

Химмель-штрассе.

Полицейский ткнул пальцем.

Ильза Герман предложила донести инструмент, но Лизель крепко сжимала ручку футляра, спускаясь с крыльца полиции. В нескольких кварталах дальше по Мюнхен-штрассе четкая линия отделяла разбомбленных от удачливых.

Бургомистр вел машину.

Ильза сидела с девочкой сзади.

Девочка дала ей взять себя за руку, которую положила на футляр аккордеона, сидевшего между ними.

Ничего не говорить было бы легко, но у Лизель случилась ровно обратная реакция на опустошение. Сидя в великолепной ничьей комнате бургомистерского дома, она говорила и говорила — сама с собой — до глубокой ночи. Почти не ела. Единственное, чего она не делала совсем, — не мылась.

Четыре дня она носила останки Химмель-штрассе по коврам и половицам дома № 8 по Гранде-штрассе. Она много спала и не видела снов, и почти всякий раз ей было жаль просыпаться. Когда она спала, все исчезало.

Ко дню похорон она так и не помылась, и Ильза Герман вежливо спросила, не хочет ли она это сделать. До того она лишь показала ей ванную и дала полотенце.

Люди, пришедшие на похороны Ганса и Розы Хуберманов, судачили о девочке, одетой в опрятное платье и слой уличной грязи Химмель-штрассе. Еще пронесся слух, что в тот же день позже она в одежде зашла в реку Ампер и сказала что-то очень странное.

Про поцелуй.

И про какую-то свинюху.

Сколько раз ей придется говорить «прощай»?

После этого были дни и месяцы и много войны. В моменты самого тяжкого горя она вспоминала свои книги — особенно те, что были сделаны для нее, и ту, которая спасла ей жизнь. Однажды утром, заново потрясенная, она даже отправилась на Химмель-штрассе поискать их, но там ничего не осталось. От того, что случилось, нельзя оправиться. Это займет десятки лет; это займет долгую жизнь.

По семье Штайнеров было две службы. Первая — сразу на похоронах. Вторая — когда домой добрался Алекс Штайнер, получивший после бомбежки отпуск.

Когда известие нашло его, Алекса будто обстругали.

— Христос распятый, — говорил он, — если бы я только отдал Руди в ту школу.

Спасешь кого-то.

И губишь его.

Откуда ему было знать?

Единственное он знал точно: он все бы сделал, лишь бы оказаться в ту ночь на Химмель-штрассе, чтобы выжил не он, а Руди.

Он сказал это Лизель на крыльце дома № 8 по Гранде-штрассе, куда помчался, узнав, что она спаслась.

В тот день на крыльце Алекс Штайнер был распиленным надвое.

Лизель рассказала ему, что поцеловала Руди в губы. Она смущалась, но решила, что Алексу хотелось бы это знать. Лились деревянные слезы по дубовой улыбке. Небо, которое я увидел в глазах Лизель Мемингер, было серым и глянцевым. Серебряный день.

МАКС

Когда война закончилась и Гитлер отдал себя в мои руки, Алекс Штайнер вернулся к работе в мастерской. Денег это не приносило, но на несколько часов каждый день он занимал себя, и Лизель нередко приходила ему помогать. Они провели вместе немало дней, и часто ходили в освобожденный Дахау, но американцы всякий раз их прогоняли.

Наконец в октябре 1945 года в мастерскую вошел человек с болотными глазами, перьями волос и чисто выбритым лицом. Он подошел к прилавку.

— Здесь работает девушка по имени Лизель Мемингер?

— Да, она там, в задней комнате, — ответил Алекс. Он надеялся, что догадался верно, но хотел удостовериться. — Могу я поинтересоваться, кто ее спрашивает?

Лизель вышла.

Они обнялись, расплакались и рухнули на пол.

ПОСРЕДНИК

Да, я много всего повидал в этом мире. Я присутствую при величайших катастрофах и служу величайшим злодеям.

Но бывают и другие мгновения.

Есть множество историй (как я вам говорил раньше — горсть, не больше), на которые я позволяю себе отвлекаться во время работы, как на краски. Я собираю их в самых несчастных и ненастных местах и, делая свою работу, стараюсь их вспоминать. «Книжный вор» — одна из таких историй.

Когда я прибыл в Сидней и забрал Лизель Мемингер, мне наконец удалось сделать то, чего я долго ждал. Я поставил ее на землю, и мы прошли по Анзак-авеню, мимо футбольного поля, и я вынул из кармана запыленную черную книжицу.

Старуха изумилась. Взяла книжку в руку и сказала:

— Неужели та самая?

Я кивнул.

С великим трепетом она раскрыла «Книжного вора» и перевернула несколько страниц.

— Невероятно... — Хотя буквы выцвели, она смогла прочесть свои слова. Пальцы ее души трогали рассказ, написанный так давно в подвале на Химмель-штрассе.

Она села на бордюры, я сел рядом.

— Вы ее читали? — спросила она, только на меня не смотрела. Ее глаза были прикованы к словам.

Я кивнул.

— Много раз.

— Она вам понятна?

И тут повисла большая пауза.

Мимо туда и сюда ехали машины. За рулем сидели Гитлеры и Хуберманы, Максы и убийцы, Диллеры и Штайнеры...

Я хотел многое сказать книжной воришке о красоте и зверстве. Но что тут скажешь такого, чего она и так не знала? Я хотел объяснить, что постоянно переоцениваю и недооцениваю род человеческий — и редко просто *оцениваю*. Я хотел спросить ее, как одно и то же может быть таким гнусным и таким великолепным, а слова об этом — такими убийственными и блистательными.

Ничего этого, однако, я не выпустил из уст.

Смог я только одно — обернуться к Лизель Мемингер и сообщить ей единственную правду, которую я по правде знаю. Я сказал это книжной воришке и говорю сейчас вам.

***** ПОСЛЕДНЕЕ ЗАМЕЧАНИЕ ВАШЕГО РАССКАЗЧИКА *****

Меня обуревают люди.

Благодарности

Я хочу начать с благодарностей Анне Макфарлейн (которая столь же добра, сколь эрудирована) и Эрин Кларк (за ее дальновидность, доброту и ценный совет, который всегда найдется у нее в нужную минуту). Особая благодарность также полагается Брай Тунниклифф, за то что терпела меня и верила, что я уложусь в срок с редактированием.

Я многим обязан милости и таланту Труди Уайт. Для меня честь, что на этих страницах есть ее рисунки.

Огромное спасибо Мелиссе Нелсон — за то, что трудная работа выглядела легкой. Это не осталось незамеченным.

Этой книги бы не было и без таких людей, как Кейт Патерсон, Никки Кристер, Джо Джарра, Аньез Линдоп, Джейн Новак, Фиона Инглис и Кэтрин Дрейтон. Благодарю вас, за то что вы уделяли этой истории и мне свое драгоценное время. Я ценю это больше, чем способен выразить.

Также благодарю Еврейский музей Сиднея, Австралийский военный мемориал, Дорис Зайдер и Еврейский музей Мюнхена, Андреуса Хойслера из Мюнхенского городского архива и Ребекку Билер (за сведения о сезонных привычках яблонь).

Я признателен Доминике Зузак, Кинге Ковач и Эндрю Дженсону за все ободряющие слова и стойкость.

Наконец, особой благодарности заслуживают Лиза и Хельмут Зузаки — за истории, которым мы не решались верить, за смех, и за то, что показали мне другую сторону.